# История величия и падения Цезаря Бирото

# Оноре де Бальзак

# *владельца парфюмерной лавки,*

# *помощника мэра второго округа г. Парижа,*

# *кавалера ордена Почетного легиона и пр.*

Г-ну Альфонсу де Ламартину

его почитатель де Бальзак.

## I

## ЦЕЗАРЬ В АПОГЕЕ ВЕЛИЧИЯ

В зимние ночи суета на улице Сент-Оноре замирает совсем ненадолго, — едва кончится разъезд карет после спектаклей и балов, начинается движение зеленщиков к Центральному рынку. В ту пору, когда стихает великая симфония парижских шумов, около часа ночи, жена г-на Цезаря Бирото, владельца парфюмерной лавки у Вандомской площади, внезапно пробудилась от страшного сна. Жена парфюмера видела себя сразу в двух лицах: она предстала сама пред собой в лохмотьях; иссохшей, морщинистой рукой она пыталась приоткрыть дверь собственной лавки, где находилась одновременно и на пороге, и на своем обычном месте — за конторкой; она у себя самой просила милостыню, слышала свой голос и в дверях и у кассы. Г-жа Бирото решила разбудить мужа, но рука ее нащупала лишь пустоту. Тогда она вся похолодела от страха, не в силах была повернуть головы, шея у нее одеревенела, перехватило дыхание и пропал голос; она замерла, пригвожденная к своему ложу за отдернутыми занавесями алькова, глаза ее расширились и неподвижно уставились в одну точку, волосы на голове зашевелились, в ушах звенело, сердце сжималось и часто билось, она обливалась холодным потом.

Страх — явление столь сильное и болезненно действующее на организм, что все способности человека внезапно достигают либо крайнего напряжения, либо приходят в полный упадок. Физиологов долгое время смущал этот феномен, он опровергал их теории и опрокидывал их догадки; хотя страх — это всего лишь электрический разряд в организме, он, как всякое электрическое явление, принимает формы странные и причудливые. Объяснение это станет общепринятым, когда ученые постигнут огромную роль электричества в человеческой психике.

Госпожа Бирото испытала жестокий толчок, одно из тех душевных потрясений, которые какой-то непонятной силой ослабляют или напрягают волю и как бы просветляют ум. За очень краткий промежуток времени, если измерять его по часам, но неизмеримо огромный по количеству мгновенных впечатлений, бедная женщина обрела поразительную остроту мысли и столько передумала и вспомнила, сколько в обычном состоянии не могла бы успеть и за целый день. Содержание ее мучительного и безмолвного монолога можно передать в нескольких нелепых, противоречивых, бессвязных словах:

— Зачем понадобилось Бирото встать ночью? Не объелся ли он телятины? Не худо ли ему? Нет, он разбудил бы меня, если бы занемог. Девятнадцать лет, как мы спим вместе в этой кровати, в этом доме, и ни разу он, бедняжка, не вставал с постели, не предупредив меня! Он не ночевал дома, только когда дежурил в кордегардии. Да ложился ли он спать сегодня? Ну конечно. Господи, до чего ж я глупа!

Она оглядела постель и заметила ночной колпак мужа, сохранивший почти коническую форму головы.

— Значит, он умер! Покончил с собой! Почему? — спрашивала она себя. — Вот уж два года, как его назначили помощником мэра, и с тех пор он сам не свой. Избрать его в муниципалитет, — да куда это годится, право! Торговля идет хорошо: он подарил мне шаль. Но, быть может, его дела и не так уж хороши? Ну, я бы уж об этом знала. Хотя, поди-ка узнай, что у мужчин на уме? Да и у женщин тоже! Ну, это еще не беда. Но разве мы сегодня не наторговали на пять тысяч франков? А потом, помощник мэра не может наложить на себя руки, ему-то хорошо известно, что это противозаконно. Так где же он?

Она не в силах была ни повернуть головы, ни протянуть руки к шнурку колокольчика, чтобы разбудить кухарку, трех приказчиков или рассыльного при лавке. Под влиянием кошмара, мучившего ее и после пробуждения, она даже не вспомнила о дочери, мирно спавшей в соседней комнате, дверь в которую находилась как раз возле ее кровати. Наконец она крикнула: «Бирото!» Никакого ответа. Ей показалось, что она позвала мужа, на самом деле она лишь мысленно произнесла его имя.

— Неужели у него есть любовница? Нет, — возразила она сама себе, — он слишком глуп и к тому же слишком любит меня. Не говорил ли он госпоже Роген, что никогда не изменял мне, даже в мыслях. Этот человек — сама честность, сошедшая на землю. Если кто и заслуживает рай, так это он. Ну, в чем может он каяться своему исповеднику? В сущих пустяках. Хоть он и роялист (а почему — только богу известно), он не больно-то выставляет напоказ свою набожность. Бедный котик, уже в восемь часов он крадется потихоньку к обедне, словно в увеселительное заведение. Он боится бога ради самого бога и даже не думает об аде. Ему ли иметь любовницу, когда он почти не отходит от меня; даже надоел. Я дороже ему всего на свете, он бережет меня как зеницу ока. За девятнадцать лет ни разу голоса не повысил, разговаривая со мной. Даже дочь у него на втором месте. Да ведь Цезарина-то здесь... Цезарина! Цезарина! Не было еще у Бирото таких намерений, которые он скрыл бы от меня. Правду он говорил, когда приходил в «Маленький матрос» и уверял, что со временем я его узнаю и оценю. И вдруг исчез!.. Просто невероятно!

Она с усилием повернула голову и окинула беглым взглядом комнату, полную в этот час причудливых ночных теней; изображая их, писатель познает муки слова, и лишь кисть художника-жанриста может их воссоздать. Какими словами передать ужасные зигзаги пляшущих силуэтов, фантастические очертания раздуваемых ветром гардин, игру трепетных отсветов ночника на складках красного коленкора, огненные блики на бронзовой розетке оконных занавесей, сверкающая середина которой напоминает глаз вора; платье, похожее на коленопреклоненное привидение, — словом, все странности, терзающие воображение в те минуты, когда оно отдается во власть душевных страданий и усугубляет их.

Госпоже Бирото почудился яркий свет в соседней комнате, и она тотчас подумала: «Пожар!» — но тут ее внимание привлек красный фуляровый платок, который она приняла за лужу крови, и грабители целиком заняли ее мысли; больше того, в расстановке мебели она усмотрела следы недавней борьбы. Когда она вспомнила, какие деньги лежат в кассе, ее охватил священный трепет, вытеснивший леденящий ужас кошмара; совершенно потеряв голову, в одной сорочке, она бросилась на помощь мужу, который, решила она, борется с убийцами.

— Бирото, Бирото! — закричала она наконец голосом, полным тревоги.

Она нашла парфюмера в соседней комнате со складным метром в руке: он что-то измерял; его бумажный зеленый в коричневую крапинку халат распахнулся, от холода покраснели ноги, но Бирото до того был увлечен своим делом, что ничего не чувствовал. Наконец он оглянулся и спросил: «Что случилось, Констанс?» Лицо его, растерянное лицо человека, вдруг оторвавшегося от сложных вычислений, было удивительно глупо, и г-жа Бирото расхохоталась.

— Господи! — воскликнула она. — Ну и чудак же ты, Цезарь! Почему ты не предупредил меня, что встаешь? Я чуть не умерла со страху, не знала, что и подумать. Что ты здесь делаешь, на сквозняке? Того и гляди, простудишься. Слышишь, Бирото?

Иду, женушка, иду, — сказал парфюмер, возвращаясь в спальню.

— Грейся и рассказывай, что за блажь пришла тебе в голову, — продолжала г-жа Бирото, выгребая из-под золы еще тлеющие головешки и усердно раздувая огонь. — Я совсем замерзла. Ну, не глупо ли было вскочить с постели в одной сорочке? Но мне почудилось, что тебя убивают.

Парфюмер поставил подсвечник на камин, запахнул халат и машинально подал жене ее фланелевую юбку.

— Возьми, душенька, оденься. Двадцать два на восемнадцать, — продолжал он прерванный монолог, — да у нас получится великолепная гостиная.

— Что с тобой, Бирото? В своем ли ты уме? Ты бредишь?

— Нет, жена, я подсчитываю.

— Подождал бы лучше до утра со своими глупостями, — воскликнула она, завязывая юбку под ночной кофтой, и, приоткрыв дверь, заглянула в комнату дочери. — Цезарина спит, — прибавила г-жа Бирото, — она нас не услышит. Ну, не томи меня, Бирото. Что случилось?

— Мы дадим бал.

— Бал! Мы? Да ты и впрямь бредишь, дружок.

— Нет, я в здравом уме, милочка. Понимаешь ли, надо жить так, как обязывает наше положение в обществе. Правительство отличило меня, я принадлежу к правительству, мы должны проникнуться его духом и содействовать его намерениям, всячески их поддерживая. Герцог де Ришелье только что добился прекращения оккупации Франции иноземными войсками, и господин де ла Биллардиер считает, что должностные лица, так сказать представители города Парижа, должны почесть за долг ознаменовать освобождение страны, каждый в сфере своего влияния. Проявим же истинный патриотизм, и пусть сгорят со стыда все эти проклятые интриганы, все эти так называемые либералы! Или ты полагаешь, что я не люблю родины? Я покажу либералам, моим врагам, что любить короля — значит любить Францию!

— Бедный мой Бирото, так, по-твоему, у тебя есть враги?

— Да, жена, да, у нас есть враги. И половина наших друзей в квартале — наши враги. Все они твердят в один голос: «Бирото везет, Бирото — ничтожество, а вот смотрите — он уже помощник мэра, все ему удается». Ну что ж, их ждет еще удар! Знай, я тебе первой говорю — я кавалер ордена Почетного легиона: король вчера подписал указ.

— Ах, тогда нам и вправду надо дать бал, друг мой, — согласилась взволнованная г-жа Бирото. — Но за какие заслуги тебе пожаловали орден?

— Когда господин де ла Биллардиер сообщил мне вчера эту новость, — продолжал смущенный Бирото, — я тоже спросил себя: за какие заслуги? Но, размышляя по дороге домой, я решил, что достоин награды, и одобрил правительство. Прежде всего, ведь я роялист, в вандемьере я был ранен у церкви Святого Роха[[1]](#footnote-1), а это немалое дело — сражаться в такие дни за короля. Потом, как говорят среди купечества, я неплохо справлялся со своими обязанностями в коммерческом суде. Наконец, ныне — я помощник мэра, а король пожаловал четыре ордена муниципалитету города Парижа. Выбирая помощников мэра, достойных награды, префект внес меня в список первым. Король ведь должен меня знать: благодаря старику Рагону я поставляю ему пудру, которую он благоволит употреблять, мы одни знаем рецепт пудры покойной королевы, нашей августейшей страдалицы! А уж мэр-то меня поддерживает. Чего ты хочешь? Ежели король награждает меня орденом без ходатайства с моей стороны, сдается мне, я не могу отказаться. Это было бы непочтительно по отношению к его величеству. Разве я хотел стать помощником мэра? Итак, жена, раз уж дует попутный ветер, как говорит в веселую минуту твой дядя Пильеро, то, я полагаю, мы должны быть на высоте. Если я могу быть полезен правительству, то готов стать, чем господь прикажет: супрефектом — так супрефектом, если уж таково мое предназначение. Ты глубоко ошибаешься, жена, полагая, что истинный гражданин может счесть выполненным свой долг перед родиной, если он двадцать лет кряду продает парфюмерные товары заинтересованным в них покупателям. Если государство требует от нас наших познаний, мы обязаны принести их на алтарь отечества, как обязаны уплачивать налог и на движимое имущество, и на двери, и окна, и прочее. Неужели тебе всю жизнь хочется оставаться за конторкой? Слава богу, насиделась ты в лавке достаточно. Бал будет нашим с тобой праздником. Конец розничной торговле, хватит. Я сожгу нашу вывеску «Королева роз» и вместо «Цезарь Бирото, парфюмер, преемник Рагона» просто напишу большими золотыми буквами: «Парфюмерные товары». На антресолях устроим контору, кассу и уютный кабинет для тебя. Под склад для товаров отведем комнату за лавкой, теперешнюю столовую и кухню. Мы снимем весь второй этаж соседнего дома, пробьем туда дверь. Лестницу же перенесем так, чтобы свободно переходить из одного дома в другой. Получится большая, шикарно отделанная квартира! Я заново обставлю твою комнату, устрою тебе будуар, и Цезарине отведем хорошенькую комнатку. Кассирша, которую мы наймем, старший приказчик и твоя горничная (да, сударыня, у вас будет горничная!) поселятся на третьем этаже. На четвертом — будет кухня, комната для кухарки и рассыльного. На пятом этаже устроим склад для бутылок, хрусталя и фарфора. Упаковочную — на чердак! Прохожие не увидят больше, как работницы наклеивают этикетки, готовят пакетики, сортируют флаконы, закупоривают пузырьки. Что было еще терпимо на улице Сен-Дени, для улицы Сент-Оноре — уже плохой тон. Наш магазин должен напоминать салон. Скажи-ка, разве одни мы, парфюмеры, находимся в чести? Разве среди офицеров национальной гвардии нет торговцев уксусом или горчицей, к которым благосклонен двор? Возьмем их за образец, расширим нашу торговлю и одновременно войдем в высшее общество.

— Постой, Бирото, знаешь, что мне пришло в голову, пока я тебя слушала? Ты, видно, сам не знаешь, чего захотел! Вспомни, что я говорила, когда тебя собирались назначить мэром: «Спокойствие дороже всего! Тебе так же пристало быть на виду у всех, — сказала я тогда, — как моей руке стать крылом ветряной мельницы. Высокое положение тебя погубит!» Ты не послушал меня, вот и пришла наша гибель. Чтобы приобрести политический вес, нужны деньги, а много ли у нас денег? Зачем понадобилось тебе сжигать вывеску, которая стоила шестьсот франков, и отказываться от «Королевы роз» — твоей истинной славы? Оставь честолюбие другим. Не суй руку в огонь — обожжешься, разве не верно? А в наши дни и вовсе сгорают в политике. Завелась у нас сотня тысяч франков? Хочешь увеличить состояние? Хорошо, поступи, как в 1793 году: курс государственной ренты сейчас семьдесят два франка, вот и приобрети ренту. Будешь получать десять тысяч франков дохода и нашим делам не повредишь. Воспользуйся случаем, выдай дочь замуж, продай фирму, и уедем к тебе на родину. Ведь уже пятнадцать лет ты только и твердишь что о покупке «Трезорьера» — такое чудесное именьице в окрестностях Шинона: тут тебе и леса, и луга, и виноградники, и две мызы, и доходу оно дает тысячу экю; нам обоим усадьба нравится, и мы можем купить ее за шестьдесят тысяч франков... А вам, сударь, вдруг взбрело на ум занять место в правительственных кругах. Не забывай, мы всего лишь парфюмеры. Если бы шестнадцать лет тому назад, когда ты еще не изобрел ни «Двойного крема султанши», ни «Жидкого кармина», тебе сказали бы: «У вас будет достаточно средств, чтобы купить «Трезорьер», да ты с ума сошел бы от радости. Теперь же, когда ты в состоянии приобрести это имение, — а тебе ведь так хотелось купить его, ты ведь рта не мог раскрыть, чтобы не заговорить о нем, — теперь ты собираешься истратить на глупости деньги, заработанные нами в поте лица, — я вправе сказать *нами*, я-то всегда сидела за конторкой, словно собачонка на привязи. Чем пускаться в сомнительные спекуляции, не лучше ли жить месяцев восемь в году в Шиноне, а в столице иметь пристанище у дочери, которую мы выдадим замуж за парижского нотариуса. Выжди повышения курса государственных бумаг, тогда ты сможешь дать дочери ренту в восемь тысяч франков, и нам останется еще две тысячи; на средства же, вырученные от продажи фирмы, купим «Трезорьер». Перевезем туда, милый котик, нашу обстановку, она ведь тоже денег стоит, и заживем что твои князья. А в Париже нужно не меньше миллиона, чтобы занять видное положение.

— Я так и знал, что ты это скажешь, жена, — заметил Цезарь Бирото. — Все же я не настолько глуп (хотя ты и считаешь меня круглым дураком), чтобы не подумать обо всем. Слушай же внимательно. Александр Кротта самый подходящий для нас зять, куда уж лучше! И к нему перейдет контора Рогена. Но неужели ты думаешь, что он удовлетворится приданым в сто тысяч франков, а мы можем дать такую сумму только при условии, что продадим все свое имущество и затратим эти средства на устройство дочери. Конечно, я готов так сделать, лучше мне до конца дней своих есть черствый хлеб, но пусть уж наша дочь, как ты сама сказала, будет женой парижского нотариуса и счастливой, как королева. Пойми же, сто тысяч франков или восемь тысяч франков ренты — сущие пустяки, на такие деньги не купишь конторы Рогена. Маленький Ксандро, как мы его называем, подобно всем нашим знакомым, считает нас куда богаче, чем мы есть на самом деле. Если его отец, этот толстый фермер, старый скаред, не продаст своих земель за сто тысяч франков, Ксандро не быть нотариусом, ибо контора Рогена стоит четыреста, а то и пятьсот тысяч франков. Если Кротта не заплатит половины суммы наличными, как он выпутается? За Цезариной мы должны дать двести тысяч франков приданого, да и я сам хочу уйти на покой обеспеченным парижским буржуа, имея пятнадцать тысяч франков ренты. А если я тебе докажу ясно как день, что все это возможно, прикусишь ли ты язычок?

— Ну, раз ты нашел золотые россыпи в Перу...

— Да, милочка, да, — ответил радостно взволнованный, сияющий Бирото, обнимая жену за талию и легонько похлопывая ее рукой. — Я не хотел заговаривать с тобой об этом деле, пока не довел его до конца, но, право, завтра все уже будет в порядке. Так вот, Роген предложил мне надежную спекуляцию; он и сам принимает в ней участие вместе с Рагоном, с дядей Пильеро и еще двумя клиентами. Мы покупаем в районе церкви Мадлен участки земли, которые, по расчетам Рогена, достанутся нам за четверть той цены, какой они достигнут через три года — к сроку окончания аренды, когда мы станем их полноправными владельцами. Каждому из шести пайщиков дается обусловленная доля. Я вкладываю триста тысяч франков и получу три восьмых всей земли. Если кому-нибудь из нас понадобятся деньги, Роген их достанет под залог нашей части. Но, знаешь, своя рука — владыка, свой глаз — алмаз, и я решил стать владельцем половинной доли, вместе с Пильеро и стариком Рагоном, а записана она будет на мое имя. Роген будет находиться в доле с неким Шарлем Клапароном, моим совладельцем, который, так же как и я, выдаст обязательства своим компаньонам. Документы на приобретенные земельные участки оформляются частным порядком до тех пор, пока мы не станем полными хозяевами всей земли. Роген рассмотрит контракты, подлежащие реализации, ибо еще наверняка неизвестно, удастся ли нам освободиться от регистрации участков и переложить эту обязанность на тех, кто станет покупать у нас землю по частям... Но это слишком долго тебе объяснять. После оплаты земли нам останется лишь сидеть сложа руки, а через три года у нас будет миллион. Цезарине исполнится двадцать лет, мы продадим нашу фирму и с божьей помощью скромно вступим на путь величия.

— Отлично, но где ты возьмешь триста тысяч франков? — спросила г-жа Бирото.

— Ты ничего не смыслишь в делах, кошечка. Я внесу сто тысяч франков, которые лежат у Рогена, сорок тысяч получу под залог дома и сада в предместье Тампль, где находится наша фабрика, а кроме того, двадцать тысяч франков лежат у меня в портфеле, — итого сто шестьдесят тысяч франков. Остается найти еще сто сорок тысяч; на эту сумму я подпишу векселя приказу банкира Шарля Клапарона, он внесет их стоимость за вычетом учетного процента. Вот триста тысяч франков и уплачены, — долг пойдет впрок, коль заплатишь в срок. Когда наступит срок векселям, мы погасим их из наших доходов. Если же не удастся рассчитаться, Роген достанет мне денег из пяти процентов под залог моих земельных участков. Но мы обойдемся без займа; я открыл средство для ращения волос — «Комагенное масло». Ливингстон уже установил в подвале гидравлический пресс — будем добывать масло из орехов, — под сильным давлением сразу выжмем из них все масло. Рассчитываю за год заработать не меньше ста тысяч. Я уже обдумываю объявление. Начнем его так: «Долой парики!» — и произведем фурор. А ты и не замечала, что я страдаю бессонницей. Вот уж три месяца, как успех «Макассарского масла» не дает мне покоя. Я хочу пустить ко дну это «Макассарское».

— Так вот над какими планами ты уже два месяца ломаешь себе голову и даже словечком о них не обмолвишься! Прекрасные планы! Недаром я видела себя во сне нищенкой, на пороге собственной лавки: это небесное предзнаменование. Скоро мы дотла разоримся и все глаза себе выплачем. Нет, пока я жива, не бывать этому, слышишь, Цезарь?! За всем этим скрываются какие-то темные дела, о которых ты и не догадываешься; ты человек такой честный и порядочный, что не можешь заподозрить кого-либо в плутнях. С какой радости обещают тебе миллионы? Ты рискуешь всем состоянием, берешь обязательства не по средствам, а вдруг твое «Масло» не пойдет, не достанешь денег, нельзя будет реализовать стоимость земли, — как ты тогда оплатишь векселя? Может, ореховыми скорлупками? Ты стремишься к более высокому положению в обществе, отказываешься торговать под своим именем, хочешь уничтожить вывеску «Королева роз» и в то же время готов низко кланяться, лебезить перед публикой, выставлять напоказ имя Цезаря Бирото на всех столбах, заборах, на всех огороженных для построек местах.

— Вовсе не так! Я открою отделение магазина под вывеской Попино где-нибудь в районе Ломбардской улицы и поручу его маленькому Ансельму. Тем самым я отблагодарю чету Рагонов, пристроив их племянника к делу, которое его обеспечит. Бедных стариков Рагонов, видно, здорово потрепало за последнее время...

— Поверь мне, все эти люди подбираются к твоим деньгам.

— Да какие же «эти люди», моя прелесть? Не твой ли дядя Пильеро, который души в нас не чает и обедает у нас каждое воскресенье? Или добряк Рагон, наш предшественник? У него за плечами сорокалетняя безупречная деятельность, он наш всегдашний партнер по бостону! Или, может быть, Роген? Да ведь он почтенный человек пятидесяти семи лет и уже четверть века состоит парижским нотариусом. А парижский нотариус — это, сказал бы я, самый цвет общества, если бы только все порядочные люди не были достойны одинаковой чести. В случае нужды мне помогут компаньоны! Так где же заговор, дружочек? Давай поговорим по душам! Честное слово, у меня накипело на сердце. Ты всегда была пуглива, как кошка! Едва только в лавке у нас набиралось на два су товаров, как ты начинала видеть в каждом покупателе вора... Приходится на коленях умолять: позволь обогатить тебя! Ты парижанка, а честолюбия в тебе ни на грош. Без твоих вечных страхов я был бы счастливейшим человеком в мире! Послушай я тебя, мы никогда бы не пустили в продажу ни «Крема султанши», ни «Жидкого кармина». Лавка всегда кормила нас, но эти два открытия и наши мыла дали нам сто шестьдесят тысяч франков чистоганом. Без моей изобретательности, — ведь что ни говори, а я талантливый парфюмер, мы оставались бы мелкими розничными торговцами, еле-еле сводили бы концы с концами, и никогда не бывать бы мне именитым купцом, не баллотироваться в члены коммерческого суда, не заседать в суде, не стать помощником мэра. Знаешь, кем бы я был? Лавочником, как дядюшка Рагон, не в обиду ему будь сказано, так как я уважаю его лавку, этой лавке мы обязаны нашим благосостоянием! Поторговав лет сорок парфюмерией, мы, подобно Рагону, имели бы три тысячи франков дохода; и при нынешней дороговизне, когда цены возросли вдвое, мы перебивались бы кое-как, не лучше стариков Рагонов. Чем дальше, тем у меня сильнее болит душа за них. Надо разобраться в их делах; завтра же хорошенько расспрошу обо всем Попино. Ты отравляешь счастье тревогой, все боишься, не утеряешь ли завтра то, чем обладаешь сегодня. Следуй я твоим советам, не было бы у меня ни кредита, ни ордена Почетного легиона, ни политической карьеры впереди. Да, покачивай головой сколько угодно... Если наше дело выгорит, я еще стану депутатом от Парижа. Недаром зовут меня Цезарь, все мне удается. Нет, это просто непостижимо, — чужие люди ценят мой ум, а дома жена, единственный человек, ради счастья которого я из кожи вон лезу, считает меня глупцом!

Слова эти, прерываемые красноречивыми паузами и вылетавшие словно пули, как у всякого, кто, обвиняя, оправдывается, выражали такую глубокую, безграничную привязанность, что г-жа Бирото была в душе тронута; однако, по женскому обычаю, она воспользовалась любовью мужа, чтобы взять над ним верх.

— Вот что, Бирото, — возразила она, — если ты меня любишь, позволь мне быть счастливой на свой лад. Ни ты, ни я не получили светского воспитания, мы не умеем ни разговаривать, ни держать себя в обществе; подумай, где уж нам преуспевать в высших кругах? А как мне хорошо будет в «Трезорьере»! Я всегда любила животных и птиц и с радостью стану возиться с цыплятами и хозяйством. Давай продадим фирму, выдадим Цезарину замуж, и брось ты свое «имогенное масло». На зиму мы будем приезжать к зятю в Париж, заживем счастливо, спокойно, никакие перемены ни в политике, ни в торговле нас не будут тревожить. К чему тебе душить других? Разве нам не хватает нашего состояния? Или, став миллионером, ты будешь по два раза в день обедать, заведешь себе еще вторую жену? Бери пример с дяди Пильеро, он благоразумно довольствуется своим небольшим состоянием, и жизнь его заполнена добрыми делами. Разве нуждается он в роскошной квартире? А я уверена, что ты решил заказать новую обстановку, я видела у нас в лавке Брашона, не за парфюмерией же он приходил.

— Верно, душенька, угадала, — я заказал для тебя обстановку; завтра мы начнем переделывать квартиру под руководством архитектора, рекомендованного мне господином де ла Биллардиером.

— Господи, сжалься над нами! — воскликнула г-жа Бирото.

— Ну рассуди сама, душенька. Неужели в тридцать семь лет такая привлекательная женщина, как ты, должна похоронить себя в Шиноне? Да и мне самому всего тридцать девять. Передо мной открывается блестящий путь, не пропускать же такой случай! Действуя осмотрительно, я положу начало солидной фирме, уважаемой парижским купечеством, сделаюсь основателем торгового дома Бирото и стану не менее чтимым, чем Келлеры, Демаре, Рогены, Кошены, Гильомы, Леба, Нусингены, Саяры, Попино, Матифа, а ведь ими гордятся или гордились целые районы столицы. Полно! Это верное дело, золотое дно!

— Верное!

— Да, верное. Вот уже два месяца, как я его обмозговываю. Будто бы между прочим, осведомляюсь о постройках в ратуше у архитекторов, у подрядчиков. Господин Грендо, молодой архитектор, который будет переделывать наш дом, в отчаянии, что за отсутствием средств не может принять участие в нашей спекуляции.

— Он рассчитывает, что начнут строиться, вот и подзадоривает вас, чтобы потом ощипать.

— Ну, таких людей, как Пильеро, Шарль Клапарон и Роген, не проведешь! Пойми ты, — верный успех, как с «Кремом султанши».

— Но, дружок, зачем понадобилось Рогену пускаться в спекуляции, когда он оплатил стоимость конторы и сколотил себе состояние? Не раз видела я его озабоченного, что твой министр, идет — глаз не подымает; дурной это знак — Роген что-то таит. И лицо у него вот уже лет пять как у старого развратника. Кто поручится, что он не улизнет, захватив ваши денежки? Такие дела случались. Знаем ли мы его как следует? Пусть он пятнадцать лет считался нашим приятелем, а я за него не поручусь. Послушай, у него зловонный насморк, он не живет с женой, должно быть, содержит любовниц, а те его разоряют; иначе почему ему быть таким озабоченным? Утром, одеваясь, я сквозь занавеси вижу из окна, как он возвращается пешком домой. Откуда? — никто не знает. Похоже, что у него есть вторая семья и что у него и жены свои особые траты. Так ли должен вести себя нотариус? Если у Рогенов пятьдесят тысяч франков доходу, а проедают они шестьдесят тысяч, то через двадцать лет они проживут все свое состояние, и Роген будет гол как сокол; но, привыкнув блистать в свете, он безжалостно обчистит своих друзей, ведь своя рубашка ближе к телу. Он водится с этим проходимцем дю Тийе, нашим бывшим приказчиком; я не вижу ничего хорошего в этой дружбе. Если Роген не знает цену дю Тийе, значит, он слеп, а если раскусил его, почему так носится с ним? Ты скажешь, его жена любит дю Тийе; что ж, я не жду ничего хорошего от человека, который терпит, что жена порочит его имя. А потом, что за простофили теперешние владельцы участков, — отдают за сто су то, что стоит сто франков. Если ты встретишь ребенка, не знающего стоимости луидора, разве ты умолчишь о ней? Не в обиду будь тебе сказано, ваша затея смахивает на жульничество.

— Господи! До чего женщины бывают порой забавны и как они все на свете путают! Если бы Роген не принимал участия в деле, ты твердила бы: «Смотри, Цезарь, смотри. Роген остался в стороне, не сомнительное ли это предприятие?» Когда же он входит в дело и тем самым гарантирует его успех, ты говоришь...

— Но при чем тут какой-то Клапарон?

— Да ведь нотариус не имеет права под своим именем участвовать в спекуляции.

— Зачем же он поступает противозаконно? Что ты скажешь на это, законник?

— Дай мне договорить. Роген участвует в покупке участков, а ты мне заявляешь — нестоящее это дело! Разумно ли это? Ты еще прибавляешь: «Это противозаконно». Но Роген примет и явное участие, если понадобится. Ты заявляешь: «Он богат!» Но ведь то же самое могут сказать и обо мне? Что бы я ответил Рагону и Пильеро, если бы они спросили меня: «К чему вы затеяли это дело, когда у вас и так денег хоть отбавляй?»

— Купец — это совсем иное, чем нотариус, — возразила г-жа Бирото.

— Словом, совесть моя совершенно спокойна, — продолжал Цезарь. — Люди продают землю по необходимости; мы обкрадываем их не больше, чем тех, у кого покупаем облигации ренты не за сто, а за семьдесят пять франков. Сегодня мы приобретаем земли по одной цене, через два года она возрастет так же, как повышается курс ренты. Знайте, Констанс-Барб-Жозефина Пильеро, вы никогда не уличите Цезаря Бирото в поступке, противоречащем чести, закону, совести или порядочности. Человека, стоявшего во главе фирмы восемнадцать лет, подозревают в нечестности, и где же? в его собственной семье!

— Полно, успокойся, Цезарь! Я твоя жена, прожила с тобой столько лет, я хорошо знаю и понимаю тебя. В конце концов здесь ты хозяин. Наше состояние — дело твоих рук. Оно твое, распоряжайся им. Хоть доведи ты нас — меня и дочь — до крайней нищеты, мы и тогда не сделаем тебе ни малейшего упрека. Но послушай, когда ты придумал «Крем султанши» и «Жидкий кармин», чем ты рисковал? — пятью, шестью тысячами франков, и только. Сегодня же ты ставишь на карту все свое состояние, ты играешь не один, а с партнерами, которые могут перехитрить тебя. Задавай балы, переделывай квартиру, истрать десять тысяч франков — это бесполезно, но не разорительно. Но против твоих спекуляций землей я решительно возражаю. Ты парфюмер, так и оставайся парфюмером, не к чему тебе становиться перекупщиком земельных участков. У нас, женщин, всегда бывают верные предчувствия. Я предупредила тебя, а дальше поступай как знаешь. Ты был членом коммерческого суда, ты знаешь законы, ты всегда удачно вел свои дела. А я что ж... я должна слушаться тебя, Цезарь. Но я не успокоюсь, пока наше состояние не будет обеспечено и пока мы не выдадим Цезарину замуж за хорошего человека. Дай бог, чтобы сон мой не оказался пророческим!

Такая покорность раздосадовала Бирото, и он прибегнул к невинной хитрости, обычной для него в подобных обстоятельствах.

— Послушай, Констанс, я еще не дал слово, но все уже налажено.

— О Цезарь, все уже сказано; не будем больше к этому возвращаться. Честь дороже богатства. Ложись спать, дружок, дрова уже прогорели. Поговорим в постели, если хочешь. Ах, этот зловещий сон! Господи! Видеть во сне самое себя! Нет, это ужасно!.. Мы с Цезариной будем служить молебны за успех твоего дела.

— Конечно, господняя помощь не повредит, — важно изрек Бирото, — но знаешь ли, жена, ореховое масло — тоже сила. Я пришел к новому своему открытию так же случайно, как и к «Двойному крему султанши»: тогда меня осенило, когда я перелистывал книгу, а теперь — когда рассматривал гравюру «Геро и Леандр». Помнишь, там женщина льет масло на голову своего возлюбленного? Разве это не мило? Нет ничего вернее предприятий, которые играют на тщеславии, самолюбии, желании нравиться. Эти чувства никогда не умирают.

— Увы! я это прекрасно вижу.

— В известном возрасте мужчина пойдет на все, чтобы восстановить потерянную шевелюру. Парикмахеры говорили мне, что сейчас у них покупают не только «Макассарское масло», но всевозможные снадобья для окраски и ращения волос. После заключения мира мужчины еще больше увиваются за красивыми женщинами, а дамы лысых не любят, хе-хе, — верно, дружочек? Итак, спрос на этот товар объясняется политическим положением. Мое средство от выпадения волос будут покупать, как хлеб, тем более что оно несомненно получит одобрение Академии наук. Добрейший господин Воклен, надеюсь, поможет мне и на этот раз. Завтра я отправлюсь к нему за советом и преподнесу ему гравюру, которую я наконец нашел для него после двухлетних поисков в Германии. Он как раз занимается анализом волос. Я знаю об этом от Шифревиля — его компаньона по фабрике химических продуктов. Если изыскания Воклена подтвердят мою догадку, на наше масло набросятся и мужчины, и женщины. Еще раз тебе говорю, открытие мое — целое состояние. Господи, да я из-за него сон потерял. Ах, счастье наше, что у маленького Попино превосходные волосы! Нам бы еще нанять кассиршу с косами до пят, да пусть она говорит, — не в обиду будь сказано ни господу, ни ближнему нашему, — что ей помогло «комагенное масло» (это будет именно масло), и тогда седовласые старцы набросятся на него, как осы на мед. А что ты скажешь, голубушка, о бале? Я не злой человек, но я не прочь увидеть среди гостей этого пройдоху дю Тийе, который кичится своим богатством и всегда избегает меня на бирже. Он знает, что мне известны кое-какие его некрасивые делишки. Пожалуй, я был слишком добр к нему. Как странно, женушка, что всегда бываешь наказан за добрые дела, — на этом свете, понятно. Я был для него, словно отец родной, ты даже не представляешь, сколько я для него сделал.

— Меня мороз по коже подирает от одного разговора о нем. Если бы ты знал, чем он собирался отплатить тебе за добро, ты не скрывал бы, что он украл в твоей кассе три тысячи франков. Я ведь догадалась, как ты уладил дело. Право, если бы ты отдал его в руки полиции, ты оказал бы добрым людям немалую услугу.

— Как же он собирался мне отплатить?

— Не стоит вспоминать. Если ты способен выслушать меня сегодня, я дам тебе добрый совет, Бирото: не водись ты с этим дю Тийе.

— Не странно ли будет отвернуться от человека, который служил у меня приказчиком и именно под мое поручительство получил двадцать тысяч франков, чтобы начать собственное дело? Нет уж, будем творить добро ради добра. И ведь дю Тийе мог исправиться...

— Придется нам, верно, все перевернуть вверх дном.

— Как так перевернуть все вверх дном? Нет, мы все разыграем как по нотам. Ты, видно, уже забыла, что я тебе говорил о лестнице и найме помещения в соседнем доме, — я уж договорился с торговцем зонтиками, Кейроном. Завтра вместе с ним я пойду к господину Молине, владельцу дома. Да, дел у меня завтра побольше, чем у министра...

— Ты мне голову вскружил своими планами, — ответила Констанс, — просто ум за разум заходит. И я уже совсем сплю.

— Доброе утро, — ответил муж. — Слышишь, Констанс, я говорю тебе «доброе утро», так как на дворе уже светло. Смотри-ка, уже заснула дорогая детка! Спи спокойно, ты у нас еще будешь богачкой, или я потеряю право называться Цезарем.

Через несколько минут Констанс и Цезарь мирно похрапывали.

Беглый взгляд, брошенный на прошлое этой супружеской четы, подтвердит впечатление, которое сложилось у читателей от дружеского препирательства между героями описанной сцены. Рисуя купеческие нравы, наш очерк объяснит еще, в силу какого необычайного стечения обстоятельств Цезарь Бирото стал владельцем парфюмерной лавки и офицером национальной гвардии, а затем сделался помощником мэра и кавалером ордена Почетного легиона. Всесторонне рассмотрев его характер и причины его возвышения, нетрудно будет понять, что в торговом мире потрясения, которые преодолевают люди сильные, для людей слабых и недалеких оказываются непоправимыми катастрофами. Сами события ничего еще не решают. Их последствия зависят исключительно от людей; несчастье — ступень к возвышению гения, очистительная купель — для христианина, клад — для ловкого человека, бездна — для слабого.

Жак Бирото, фермер-арендатор из окрестностей Шинона, женился на горничной помещицы, у которой он вскапывал виноградники. У Бирото было три сына, жена умерла при рождении третьего ребенка, и муж не намного ее пережил. Помещица сердечно относилась к горничной: она воспитала старшего сына фермера — Франсуа вместе со своими детьми, а затем определила его в семинарию. В годы революции Франсуа Бирото скрывался и вел бродячую жизнь неприсягнувших священников, которых преследовали и гильотинировали за малейшую провинность. Ко времени начала этой истории он был викарием Турского собора и только раз выезжал из города, чтобы повидаться с братом Цезарем. Парижская сутолока до того ошеломила почтенного священника, что он не решался выйти из комнаты; он называл кабриолеты «полукаретами» и всему удивлялся. Погостив с неделю, он вернулся в Тур, дав себе слово больше никогда не приезжать в столицу.

Второй сын виноградаря, Жан Бирото, вступил в армию и во время первых войн революции быстро дослужился до чина капитана. В сражении у Требии[[2]](#footnote-2) Макдональд вызвал добровольцев для захвата одной из батарей, капитан Жан Бирото пошел в атаку со своей ротой и был убит. Рок как будто преследовал всех Бирото — они становились жертвой либо людей, либо событий, на каком бы поприще ни подвизались.

Самый младший из Бирото — герой нашей истории. В четырнадцать лет, научившись читать, писать и считать, он покинул родной край и отправился пешком на поиски счастья в Париж, с луидором в кармане. Рекомендация турского аптекаря помогла ему поступить рассыльным в парфюмерную лавку супругов Рагон. Все имущество Цезаря состояло тогда из пары башмаков с подковками, штанов и синих чулок, жилета в цветочках, крестьянской куртки, трех рубах из грубого, прочного холста и дубинки. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у певчего, но он отличался крепким сложением уроженца Турени, и если им часто владела лень, свойственная его землякам, то ее преодолевало желание сколотить состояние; ему не хватало ума и образования, зато он отличался природной честностью и чувствительностью, унаследованными от матери — женщины с «золотым сердцем», по выражению туренцев. Цезарь получал у хозяина харчи, шесть франков жалованья в месяц и спал на дрянной койке на чердаке, по соседству с кухаркой; приказчики показывали ему, как упаковывать товары, посылали с поручениями, заставляли подметать лавку и улицу и, приучая его к работе, как водится в лавках, непрерывно подшучивали над ним, без чего, как известно, не обходится обучение. Супруги Рагон обращались с ним, как с собачонкой. Никто не считался с усталостью ученика, хотя к вечеру, после беготни, ноги у него отчаянно ныли и ломило поясницу. Жестокое правило «каждый за себя» — эта евангельская заповедь больших городов — привело к тому, что жизнь в Париже показалась Цезарю очень тяжелой. По вечерам он плакал, вспоминая Турень, где крестьянин работает в меру своих сил, где каменщик, не торопясь, возводит стены, где отдых мудро сочетается с работой; но, засыпая, он не успевал даже помыслить о бегстве, так как с утра снова носился по городу с поручениями, повинуясь хозяевам инстинктивно, как сторожевой пес. Если иной раз у него вырывались жалобы, старший приказчик говорил ему, весело ухмыляясь:

— Да, паренек, не все выглядит розовым у «Королевы роз», и жаворонки не падают в рот жареными: надо сначала побегать за ними, словить, а потом еще суметь их приготовить.

Кухарка, толстая пикардийка, забирала себе лучшие куски и обращалась к Цезарю только для того, чтобы поругать Рагонов, у которых ничем не разживешься. Как-то в воскресенье, к концу первого месяца службы Цезаря, эта девушка, которую оставили стеречь дом, разговорилась с ним. Когда Урсула вымылась и принарядилась, она показалась очаровательной бедному малому, который, не будь этого случая, споткнулся бы о первый камень на своем пути. Как все существа, лишенные ласки, он полюбил первую приветливо взглянувшую на него женщину. Кухарка взяла Цезаря под свое покровительство, и между ними возникла тайная связь, над которой безжалостно потешались приказчики. Два года спустя кухарка, к счастью, бросила Цезаря ради своего земляка, скрывавшегося от воинской повинности в Париже, двадцатилетнего пикардийца, обладавшего несколькими арпанами земли, — Урсула женила его на себе.

В продолжение этих двух лет кухарка на совесть кормила своего маленького Цезаря; она разъяснила ему кое-какие тайны парижской жизни, показав неприкрашенную изнанку ее, и, терзаемая ревностью, внушила ему глубокое отвращение к злачным местам, опасности которых были ей, видимо, небезызвестны. В 1792 году ноги Цезаря свыклись уже с мостовыми, плечи — с ящиками, а ум, как он говорил, с парижским «враньем». Когда Урсула покинула его, Цезарь быстро утешился, ибо она не отвечала его смутному представлению о настоящем чувстве. Развратная и сварливая, хитрая и нечистая на руку, эгоистка, любительница выпить, она оскорбляла неиспорченную душу Бирото и не сулила ему ничего хорошего в будущем. Нередко бедный малый с горечью думал о том, что связан самыми крепкими для наивных сердец узами с немилым ему существом. К тому времени, когда он стал хозяином своего сердца, ему исполнилось шестнадцать лет. Урсула и шутки приказчиков развили его ум, он стал присматриваться к торговле; простоватый с виду, юноша оказался смышленым: он наблюдал за покупателями, в свободное от работы время расспрашивал о товарах, запоминал их различия и особенности, и в один прекрасный день выяснилось, что он знает сорта товаров и цены лучше, чем их знают новички-приказчики; с этого времени Рагоны иногда поручали ему работу приказчика.

В день, когда массовый набор II года Республики[[3]](#footnote-3) обезлюдил лавку гражданина Рагона, Цезарь Бирото стал вторым приказчиком; воспользовавшись обстоятельствами, он добился пятидесяти франков жалованья в месяц и права сидеть за столом у Рагонов, что доставляло ему несказанную радость. Второй приказчик «Королевы роз», уже сколотивший капиталец в шестьсот франков, получил комнату, в которой мог наконец удобно разложить в шкафу и в комоде приобретенное им платье и белье.

В десятый день декады, принарядившись по образу и подобию всех молодых людей того времени, щеголявших, согласно моде, грубыми манерами, этот тихий и скромный крестьянский парень выглядел их ровней, переступая тем самым барьер, еще в недавние времена отделявший приказчиков от буржуазии. Летом 1794 года Рагоны, зная честность Цезаря, сделали его кассиром. Внушительная гражданка Рагон стала сама следить за бельем своего приказчика; хозяева сблизились с ним.

Осенью 1794 года Цезарь, прикопивший уже сотню золотых, обменял их на шесть тысяч франков ассигнациями, купил ренту по тридцать франков, оплатил ее накануне обесценения бумажных денег и с невыразимым чувством спрятал свое приобретение. С этого дня он стал с тайным волнением следить за курсом ценных бумаг и за ходом государственных дел, с трепетом прислушиваясь к толкам о неудачах или успехах, которыми был столь богат этот период истории Франции. Господин Рагон, бывший парфюмер ее величества королевы Марии-Антуанетты, в эти тяжелые дни открылся Цезарю Бирото в своей привязанности к павшим тиранам. Признание это оказало сильное влияние на жизнь Цезаря. Семейные разговоры по вечерам, когда лавка была уже закрыта, дневная выручка подсчитана, а на улице воцарялась тишина, взвинчивали и возбуждали молодого туренца; он стал роялистом. Небылицы о добродетельных поступках Людовика XVI, превозносившие королеву анекдоты, рассказываемые Рагонами, подогревали воображение Цезаря. Устрашающая судьба двух коронованных особ, чьи головы скатились под ножом гильотины в нескольких шагах от лавки Рагона, волновала его чувствительное сердце и наполняла ненавистью к правительственной системе, равнодушно допустившей пролитие невинной крови. Коммерческие соображения убедили его в губительном влиянии на торговлю режима «максимума»[[4]](#footnote-4) и политических бурь, всегда враждебных деловой жизни. Как истый парфюмер, он к тому же возненавидел революцию, которая ввела короткую стрижку «под императора Тита» и вывела из употребления пудру. Вера в то, что королевская власть может обеспечить стране спокойствие, необходимое для успешного ведения дел, превратила его в ярого роялиста. Когда г-н Рагон убедился, что Бирото настроен вполне благонамеренно, он сделал его старшим приказчиком и посвятил в секреты лавки «Королевы роз», — некоторые ее посетители являлись самыми активными, самыми ревностными агентами Бурбонов и пользовались лавкой, чтобы поддерживать переписку между Парижем и западной частью страны. Возбужденный встречами с такими людьми, как Жорж де ла Биллардиер, Монторан, Бован, Лонги, Манда, Бернье, дю Геник и Фонтэн, Цезарь с юношеским пылом принял участие в заговоре 13 вандемьера, объединившем роялистов и террористов в их борьбе против угасавшего Конвента.

Цезарь удостоился чести сражаться против Наполеона на ступенях церкви св. Роха и был ранен в самом начале схватки. Каждый помнит, как завершилась эта попытка мятежа. Если адъютант Барраса вышел тогда из безвестности, то Бирото безвестность спасла. Несколько друзей принесли воинственного старшего приказчика в лавку «Королевы роз», и там, скрываясь на чердаке, к счастью всеми забытый, он оставался на попечении г-жи Рагон. То была единственная вспышка воинской доблести Цезаря Бирото. Поправляясь, он в течение месяца немало размышлял о том, что нелепо сочетать политику с парфюмерией. Оставаясь в душе роялистом, он твердо решил быть впредь только парфюмером-роялистом, никогда больше не впутываться ни в какие заговоры и с тех пор целиком отдался торговле.

После 18 брюмера Рагоны, отчаявшись в победе короля, решили бросить торговлю и зажить как порядочные буржуа, не вмешиваясь больше в политику. Желая вернуть вложенные в дело деньги, они подыскивали человека, не столько честолюбивого и ловкого, сколько честного и здравомыслящего; Рагон предложил свою лавку старшему приказчику. Бирото, двадцатилетний владелец государственной тысячефранковой ренты, сначала колебался. Он мечтал поселиться в окрестностях Шинона, когда рента его возрастет до полутора тысяч франков, а первый консул, укрепившись в Тюильри, обеспечит уплату государственного долга. Стоит ли менять независимое положение на ненадежные коммерческие доходы? Бирото и в голову не могло прийти, что благодаря предприимчивости, свойственной молодости, он станет впоследствии обладателем значительного капитала. Цезарь собирался жениться в Турени на девушке с приданым, равным его собственному состоянию, приобрести небольшое именьице «Трезорьер», которое его соблазняло с юных лет; он мечтал постепенно расширить его и довести доход с земли до тысячи экю: тогда он сможет наслаждаться там счастливой жизнью никому не известного человека. Он хотел было уже отказаться от лавки, когда любовь внезапно изменила его намерения, удесятерив его честолюбие.

После измены Урсулы Цезарь жил затворником, ибо боялся опасностей, какими грозит в Париже любовь, и к тому же у него было по горло работы. Страсти, лишенные пищи, превращаются в неодолимую потребность. Для людей среднего класса мысль о женитьбе становится навязчивой идеей: брак для них единственный способ завоевать женщину и завладеть ею. Так было и с Цезарем Бирото. В лавке «Королева роз» все держалось на старшем приказчике: у него не оставалось ни минуты на развлечения. При такой жизни потребности особенно властно дают о себе знать, и встреча с первой же хорошенькой девушкой, на которую какой-нибудь легкомысленный приказчик едва ли обратил бы внимание, должна была произвести сильнейшее впечатление на скромного, целомудренного Цезаря. В один чудесный июньский день, переходя через мост Марии на остров Сен-Луи, он обратил внимание на молодую девушку, стоявшую в дверях магазина на углу набережной Анжу. Констанс Пильеро была старшей продавщицей в магазине новинок «Маленький матрос»; то был первый из магазинов, которых столько открылось впоследствии в Париже под более или менее живописными вывесками, с развевающимися флажками; в их витринах шали переброшены словно качели, галстуки образуют подобие карточных домиков, и взор привлекают тысячи других соблазнов торговли — надписи: «цены без запроса», объявления, афишки, оптические фокусы и световые эффекты, доведенные до такого совершенства, что витрины магазинов превращаются в настоящие коммерческие поэмы. Дешевые цены на все так называемые новинки, продававшиеся в «Маленьком матросе», способствовали его необычайной популярности в районе Парижа, наименее благоприятном и для популярности, и для торговли. Старшая продавщица магазина славилась тогда своей красотой не меньше, чем позднее — Прекрасная буфетчица в кафе «Тысяча колонн» и множество других несчастных созданий, которые притягивали к окнам модных мастерских, кафе и магазинов больше молодых и старых физиономий, чем найдется булыжников в мостовых Парижа. Старший приказчик «Королевы роз», проживавший между церковью св. Роха и улицей Сурдьер, ушел с головой в парфюмерию и даже не подозревал о существовании «Маленького матроса», ибо мелкие торговцы Парижа слабо связаны друг с другом. Цезарь был столь сильно пленен красотою Констанс, что стремительно влетел в магазин «Маленький матрос», чтобы купить полдюжины полотняных сорочек; он долго приценивался, заставлял показывать все новые штуки полотна, словно англичанка, увлекшаяся покупками (shopping). Старшая продавщица соблаговолила заняться Цезарем, заметив по некоторым приметам, известным всем женщинам, что он пришел не столько ради товаров, сколько ради нее самой. Он назвал свое имя и адрес продавщице, но та сохранила полную невозмутимость перед восторженным покупателем. Бедному приказчику незачем было блистать перед Урсулой, чтобы снискать ее расположение; он остался наивным, как барашек: любовь сделала его еще глупее; он не решался слова сказать и был к тому же слишком ослеплен, чтобы заметить безразличие, сменившее улыбку этой сирены торговли.

В течение недели каждый вечер он простаивал на часах перед «Маленьким матросом», выжидая взгляда красотки, как собака выжидает кость у порога кухни; нечувствительный к насмешкам, которые отпускали на его счет приказчики и продавщицы, он смиренно уступал дорогу покупателям и прохожим, внимательно приглядывался ко всяким переменам в магазине. Через несколько дней он снова посетил рай, где пребывал его ангел, посетил не столько для того, чтобы купить носовые платки, сколько затем, чтобы высказать осенившую его счастливую идею:

— Если угодно, сударыня, я могу вам доставлять парфюмерные товары, — сказал он, расплачиваясь.

Констанс Пильеро ежедневно выслушивала блестящие предложения, но никто никогда не заговаривал с ней о браке; и хотя ее сердце было столь же непорочно, сколь белоснежно ее чело, она соблаговолила принять ухаживания Цезаря только после полугодовых его обходных маневров, когда он доказал ей свою неутомимую любовь; но и тогда она ничего не обещала: осторожность, вызванная бесконечным множеством поклонников — виноторговцев-оптовиков, богатых содержателей кофеен и многих других, которые заглядывались на нее. Влюбленный нашел себе поддержку в опекуне Констанс, г-не Клоде-Жозефе Пильеро, в те годы торговце скобяными товарами на набережной Ла-Феррай; Цезарь разыскал его, прибегнув к тайному шпионажу, на какой способна лишь истинная любовь. Краткость этого повествования заставляет нас обойти молчанием радости невинной любви в Париже, не рассказывать о роскошествах приказчиков: о дынях из оранжерей, об изысканных обедах у Венюа, за которыми следовали поездки в театр, и о воскресных загородных прогулках в фиакре. Цезарь хотя и не был красавцем, все же не мог вспугнуть любовь. Парижская жизнь и пребывание в полутемной лавке притушили его яркий деревенский румянец. Его густые черные волосы, крепкая, как у нормандской лошади, шея, большие руки и ноги, открытое и честное выражение лица — все располагало в его пользу. Дядюшка Пильеро, заботившийся о счастье дочери своего брата, навел справки и одобрил намерения туренца. В 1800 году, в прекрасном месяце мае, мадмуазель Пильеро согласилась выйти замуж за Цезаря Бирото, который едва не лишился чувств от радости в ту минуту, когда, под липой в Со, Констанс-Барб-Жозефина приняла его предложение.

— Дитя мое, — сказал Пильеро, — у тебя будет хороший муж: честный малый и сердце золотое; он чист, как кристалл, и благонравен, как младенец Иисус, — словом, венец творения.

Констанс бесповоротно отказалась от блестящих планов на будущее, которые она некогда строила, как все продавщицы магазинов, — она решила быть просто честной женщиной, хорошей матерью и хозяйкой и повела жизнь, согласную с благочестивой программой среднего класса. Эта роль к тому же значительно больше подходила к ее понятиям, чем опасное тщеславие, которое воспламеняет воображение многих юных парижанок. Констанс, женщина не очень далекая, была типичной мещанкой, работящей и немного ворчливой, считающей своим долгом сначала отказываться от того, чего ей хочется, и очень обижающейся, когда ее ловят на слове, простирающей свою беспокойную деятельность и на кухню, и на кассу, и на самые серьезные дела, и на починку белья; она бранится любя, постигает лишь самые простые мысли, мелкую разменную монету ума, обо всем рассуждает, всего боится, все высчитывает и всегда тревожится за будущее. Ее холодная, чистая красота, трогательный вид, свежесть помешали Бирото разглядеть ее недостатки, которые искупались к тому же деликатной щепетильностью, свойственной женщинам, пристрастием к порядку, редкостным трудолюбием и талантами продавщицы. Констанс было восемнадцать лет, у нее имелось одиннадцать тысяч франков. Цезарь, который под влиянием любви стал крайне честолюбив, купил фирму «Королева роз» и перевел лавку в красивый дом близ Вандомской площади. Ему шел всего лишь двадцать второй год, он женился на хорошенькой женщине, которую обожал, ему принадлежала лавка, три четверти стоимости которой он уже выплатил; он должен был видеть и действительно видел будущее в розовом свете, особенно когда оглядывался на пройденный путь. Роген, нотариус Рагонов, составитель брачного контракта Бирото, дал начинающему парфюмеру мудрый совет — повременить с уплатой последнего взноса за лавку и не трогать приданого жены.

— Приберегите деньги, чтобы вложить их в какое-нибудь выгодное предприятие, мой мальчик, — сказал он ему.

Бирото посмотрел на нотариуса с восхищением; с тех пор он стал советоваться с ним обо всем и сделался его другом. Как Рагон и Пильеро, он весьма высоко ставил звание нотариуса и всецело полагался на Рогена, не позволяя себе ни малейшего подозрения. Последовав совету нотариуса, Цезарь сохранил одиннадцать тысяч франков жены, столь нужные ему для торгового дела; он ни за что не променял бы своего положения на положение первого консула Наполеона Бонапарта, каким оно ни казалось ему блестящим. Вначале Бирото держали только одну кухарку и снимали на антресолях, расположенных над лавкой, нечто вроде чулана, впрочем, довольно мило отделанного обойщиком; здесь молодожены начали свой бесконечный медовый месяц. Сидя за кассой, г-жа Бирото была истинной чародейкой. Ее прославленная красота оказала огромное влияние на торговлю; щеголи Империи только и говорили что о «прекрасной госпоже Бирото». Если Цезаря и обвиняли в роялизме, то все же отдавали должное его честности; если кое-кто из соседних купцов и завидовал его счастью, то все признавали его заслуженным. Рана, полученная Цезарем на ступенях церкви св. Роха, создала ему репутацию храбреца и человека, причастного к политической деятельности, хотя воинская доблесть была столь же мало присуща его сердцу, как политические идеи — его голове. Вот почему буржуа его округа избрали его капитаном национальной гвардии, но избрание это не утвердил Наполеон, который, как воображал Бирото, не забыл их встречи в вандемьере. Так Цезарь без труда приобрел репутацию человека преследуемого; это вызвало интерес к нему в кругах оппозиции и придало ему известный вес.

Вот как сложилась жизнь этой четы, неизменно счастливой в семейных делах и знакомой с тревогами лишь в делах торговых.

В первый же год Цезарь Бирото посвятил жену в тайны розничной торговли парфюмерией, и Констанс в совершенстве ими овладела; казалось, бог создал ее и ниспослал на землю, для того чтобы привлекать покупателей. Однако подведенный в конце года баланс ужаснул честолюбивого парфюмера: с учетом всех расходов он лишь за двадцать лет еле-еле мог бы сколотить относительно скромный капитал в сто тысяч франков, который считал необходимым для своего благосостояния. Тогда он решил добиться богатства быстрее и для этого прежде всего присоединить к розничной торговле промышленное предприятие. Вопреки желанию жены, он арендовал участок земли и помещение в предместье Тампль и повесил на воротах бросавшуюся в глаза вывеску: «Фабрика Цезаря Бирото». Он переманил из Грасса рабочего, с которым на половинных началах приступил к изготовлению некоторых сортов мыла, эссенций и одеколона. Дело это просуществовало всего полгода и принесло только убытки, которые пали на одного Цезаря. Стремясь не поддаваться унынию, Бирото решил во что бы то ни стало добиться успеха, только бы не слушать упреков жены; позднее он признался ей, что в те тяжелые дни у него голова шла кругом, и подчас только религиозные убеждения удерживали его от того, чтобы не броситься в Сену.

Обескураженный неудачами, он возвращался однажды домой к обеду и брел по бульварам (заметим, что гуляющий парижанин — чаще удрученный человек, чем бездельник). Среди книг по шести су, лежавших у букиниста в корзине прямо на земле, взор его привлекла пожелтевшая от пыли обложка, на которой он прочел: «Абдекер, или искусство сохранять красоту». Он взял эту мнимо арабскую книгу, нечто вроде романа, написанного медиком прошлого столетия, и случайно раскрыл ее на странице, посвященной парфюмерии. Тут же, прислонившись к дереву, он перелистал книжку и прочитал одно из примечаний, в котором автор объяснял различные свойства кожного покрова и указывал, что тот или иной крем или мыло производят нередко действие, противоположное ожидаемому, ибо усиливают окраску кожи, когда ее надо ослабить, и ослабляют ее, когда надо усилить. Бирото купил книжку, усмотрев в ней залог богатства. Однако, мало доверяя своим познаниям, он отправился к знаменитому химику Воклену[[5]](#footnote-5) и простодушно спросил его, как изготовить универсальное косметическое средство, полезное для любой человеческой кожи. Настоящие ученые, воистину великие люди, никогда не пользующиеся при жизни славой, которую они заслуживают своими важными, непонятыми их современниками работами, почти всегда бывают внимательны и снисходительны к людям недалеким. Воклен взял под свое покровительство парфюмера, сообщил ему рецепт крема, придающего белизну рукам, и позволил Цезарю выдать его за свое изобретение. Бирото назвал это косметическое средство «Двойной крем султанши». Затем он присоединил к крему для рук туалетную воду, которую назвал «Жидкий кармин». В своей торговле Цезарь воспользовался опытом магазина «Маленький матрос» и первый среди парфюмеров не поскупился на дорогие объявления, проспекты, афиши, которые, пожалуй, несправедливо называют шарлатанством.

«Крем султанши» и «Жидкий кармин» стали известны галантному и торговому миру благодаря разноцветным объявлениям со словами: «Одобрено Академией!» Формула эта, примененная впервые, возымела магическое действие. Не только Франция, но и весь континент был расцвечен желтыми, красными, синими афишами владельца «Королевы роз», который изготовлял, продавал и поставлял по доступным ценам парфюмерные товары. В ту эпоху все бредили Востоком, и назвать косметическое средство «Кремом султанши», догадаться о волшебной силе этих слов в стране, где каждый мужчина мечтает стать султаном, а женщина — султаншей, было вдохновением, которое могло осенить как заурядного человека, так и человека большого ума; но публика всегда считается только с достигнутыми результатами. Бирото прослыл в торговом мире человеком выдающимся; он сам составил проспект, забавная фразеология которого была одной из причин его успеха; во Франции подсмеиваются лишь над теми вещами и людьми, которыми интересуются, а неудачниками не интересуется никто. Хотя Бирото сочинял свой проспект с полной серьезностью и не прикидывался дурачком, ему приписали способность притворяться, когда нужно, глупцом. Нам не без труда удалось разыскать экземпляр этого знаменитого проспекта в торговом доме Попино и К° «Аптекарские и парфюмерные товары», на Ломбардской улице. Курьезный этот документ относится к числу тех, которые в более высокой области историками именуются *источниками*. Вот он:

*«Двойной крем султанши»*

*и «Жидкий кармин»*

*Цезаря Бирото,*

*чудесное открытие.*

*Одобрено Французской Академией.*

Издавна в Европе и мужчины и женщины мечтали о пасте для рук и туалетной воде для лица, которые давали бы в области косметики более блестящие результаты, чем одеколон. Посвятив долгие бдения изучению различных свойств кожного покрова у лиц обоего пола, которые вполне понятно придают исключительно большое значение мягкости, эластичности, блеску и бархатистости кожи, достопочтенный господин Бирото, парфюмер, хорошо известный в Париже и за границей, изобрел вышепоименованные крем и туалетную воду, тотчас же по справедливости названные избранной публикой столицы *чудесными*. И действительно, наш крем и туалетная вода изумительно воздействуют на кожу и не вызывают преждевременных морщин — неизбежного последствия снадобий, изготовленных невежественными и жадными людьми и опрометчиво употребляемых всеми до сего дня. Наше открытие исходит из различия темпераментов, подразделяемых на две большие группы, на что указывает самый цвет крема и туалетной воды: розовый — для людей лимфатической конституции и белый — для людей с сангвиническим темпераментом.

Крем назван «Кремом султанши», ибо такой состав некогда был уже изготовлен для сераля одним арабским врачом. Он одобрен Академией на основе доклада нашего знаменитого химика Воклена, как и туалетная вода, приготовленная по тому же принципу.

Этот драгоценный крем распространяет дивное благоухание, сводит самые упорные веснушки, придает белизну любой коже и уничтожает потливость рук, на которую равно жалуются и женщины и мужчины.

«Жидкий кармин» уничтожает прыщи, которые время от времени внезапно появляются на лице и нередко препятствуют дамам выезжать в свет; он освежает и оживляет цвет лица, открывая или закрывая поры, как того требует темперамент, и столь известен уже как средство, предохраняющее кожу от разрушительного действия времени, что многие дамы из благодарности назвали его «Другом красоты».

Одеколон — всего лишь обыкновенные духи, не обладающие никакими полезными свойствами, тогда как «Двойной крем султанши» и «Жидкий кармин» — благотворные средства, которые воздействуют безвредно и превосходно на внутренние свойства кожных покровов; благовонный, прелестный аромат нашего крема и туалетной воды радует сердце и возбуждает ум; эти средства поражают своими качествами и своей простотой; словом, для женщин — это новые чары, а для мужчин — новое средство нравиться. Ежедневное употребление туалетной воды устраняет воспаление кожи после бритья, предохраняет губы от трещин и поддерживает их алый цвет; при длительном ее употреблении исчезают веснушки и восстанавливается свежесть лица. Подобные результаты, несомненно, свидетельствуют о правильном кровообращении в организме, что способствует излечению лиц, подверженных мучительным мигреням. Наконец, «Жидкий кармин» при постоянном употреблении его женщинами предупреждает накожные болезни и, не стесняя дыхания тканей, придает им постоянную бархатистость.

Письма с оплатой почтовых расходов адресовать господину Цезарю Бирото, преемнику Рагона, бывшего парфюмера королевы Марии-Антуанетты, владельцу лавки «Королева роз», — Париж, улица Сент-Оноре, близ Вандомской площади.

Цена крема — три франка, цена флакона туалетной воды — шесть франков.

Во избежание подделок господин Цезарь Бирото предупреждает публику, что крем завернут в бумагу с его подписью, а на флаконах имеется клеймо».

Успехом крема и туалетной воды Цезарь был обязан своей жене, о чем он и не догадывался, — именно Констанс посоветовала ему разослать «Жидкий кармин» и «Крем султанши» всем парфюмерам Франции и за границу, предлагая им скидку в тридцать процентов, если они согласятся закупать этот товар большими партиями. Крем и туалетная вода действительно были лучше других косметических средств и, кроме того, соблазняли невежд рассуждением о темпераментах; прельстившись барышом, пятьсот парфюмеров Франции ежегодно покупали у Бирото свыше трехсот гроссов баночек крема и флаконов туалетной воды каждый, и такой спрос, несмотря на незначительный процент прибыли, принес Цезарю огромный доход. Бирото смог купить несколько домишек и землю в предместье Тампль, выстроил там фабрику и великолепно отделал свою лавку «Королева роз»; его семья узнала скромные радости достатка, и жена его теперь не так уж боялась за завтрашний день.

В 1810 году г-жа Бирото, предвидя повышение квартирной платы, посоветовала мужу стать главным квартиронанимателем в доме, где они снимали лавку и антресоли, и переселиться во второй этаж. Бирото не пожалел средств на обстановку; некое счастливое обстоятельство заставило Констанс закрыть глаза на безумную его расточительность: парфюмер был избран членом коммерческого суда. Его честность, известная всем щепетильность и всеобщее уважение доставили ему это почетное звание, и с этого дня он попал в число именитых купцов города Парижа. Стремясь увеличить свои познания, он вставал в пять часов утра, читал юридические сборники и книги, трактующие коммерческие споры и тяжбы. Присущее ему чувство справедливости, его прямота и благожелательность, качества столь важные при разборе тяжб, сделали его одним из самых уважаемых судей. Даже недостатки Цезаря и те способствовали его славе. Считая себя по знаниям ниже других, он охотно подчинялся решениям своих коллег, им льстило внимание, с каким он прислушивался к их суждениям; одни добивались молчаливого одобрения этого человека, прослывшего глубокомысленным за свое умение слушать; другие, очарованные скромностью и мягкостью Бирото, всячески хвалили его. Тяжущиеся превозносили его доброжелательность и миролюбие, часто обращались к нему при решении спорных вопросов, и тогда здравый смысл подсказывал ему мудрый выход. Подвизаясь в суде, Цезарь научился уснащать свою речь общими местами, пересыпать ее сентенциями, суждениями, щеголять красивыми фразами, казавшимися людям поверхностным истинным красноречием. Он нравился большинству посредственных людей, вечно озабоченных делами, поглощенных мелочами повседневной жизни. Цезарь столько времени терял в суде, что жена убедила его наконец отказаться от этих слишком накладных почестей. В 1813 году благодаря постоянному согласию семья Бирото узрела после долгих серых будней начало эры благоденствия, которое ничто, казалось, не должно было нарушить. Круг друзей Бирото составляли их предшественники супруги Рагон, дядя Пильеро, нотариус Роген, Матифа, аптекари-москательщики с Ломбардской улицы, поставщики лавки «Королева роз», Жозеф Леба, торговец сукнами, преемник Гильома, владельца лавки под вывеской «Кошка, играющая в мяч», и одно из светил улицы Сен-Дени, судья Попино — брат г-жи Рагон, Шифревиль — совладелец фирмы «Протес и Шифревиль», Кошен — чиновник казначейства и участник фирмы Матифа, его супруга, аббат Лоро, духовник и исповедник всех этих благочестивых буржуа, и еще кое-кто. Хотя Бирото слыл роялистом, общественное мнение было к нему благосклонно, его считали страшно богатым, а между тем его свободный капитал не превышал ста тысяч франков. Блестящий порядок в делах, аккуратность, привычка ни у кого не занимать денег, не прибегать к векселям, принимая в то же время в уплату за товары обеспеченные векселя лиц, которым он мог быть полезен, создали ему огромный кредит. К тому же он действительно нажил немало денег, но постройка фабрики и производство товаров поглотили много средств. Да и проживали они тысяч двадцать в год. Немало стоило и воспитание Цезарины, единственной дочери, боготворимой отцом и матерью. Ни муж, ни жена не скупились, когда надо было чем-либо порадовать дочь, с которой они хотели бы никогда не расставаться. Представьте себе только, как радовался этот разбогатевший крестьянин, слушая, как очаровательная Цезарина играла на пианино сонату Штейбельта или пела чувствительный романс; как восхищался он, когда видел, как грамотно она пишет по-французски, или когда она читала ему вслух произведения Расина-отца или его сына, поясняя их красоты, рисовала пейзаж или делала набросок сепией! Что за счастье вновь обретать жизнь в столь прекрасном, столь чистом цветке, еще не оторвавшемся от материнского стебля, в этом ангеле, чье очарование лишь раскрывалось, за чьими первыми шагами родители следили с такой страстной любовью, чьей красотой восторгались! Она — его единственная дочь, не способная презирать отца, смеяться над недочетами его образования, настолько она деликатная барышня.

Еще до переселения в Париж Цезарь умел читать, писать и считать, но на этом и закончилось его образование, торговля помешала ему расширить кругозор и приобрести знания, не связанные с парфюмерией. Постоянно соприкасаясь с людьми, которым не было никакого дела до литературы и науки и которые ничего не знали, кроме своей коммерции, не имея времени заняться чтением и самообразованием, парфюмер стал узким практиком. Он незаметно усвоил язык, заблуждения и ходячие мнения парижского буржуа, который, так сказать, понаслышке восхищается Мольером, Вольтером и Руссо, покупает, но не читает их сочинения и твердо уверен, что надо говорить «платьевой шкаф», ибо женщины прячут туда платья, а не «платяной», так как плата тут ни при чем. Он полагал, что Потье[[6]](#footnote-6), Тальма[[7]](#footnote-7), мадмуазель Марс[[8]](#footnote-8) были архимиллионерами и жили совсем по-особенному, что они — не чета простым смертным: великий трагик ест сырое мясо, а мадмуазель Марс иногда приказывает поджаривать ей жемчуга, подражая одной знаменитой египетской актрисе. У императора к жилету подшиты кожаные карманы, чтобы он мог пригоршнями доставать оттуда табак; по лестнице Версальской оранжереи он пускал коня вскачь. Писатели и художники всегда умирают на больничной койке — результат оригинальничанья; мало того — все они безбожники, их и на порог пускать нельзя. Жозеф Леба с ужасом рассказывал о браке своей свояченицы Августины с художником Сомервье. Астрономы якобы питаются пауками. Эти перлы понимания французского языка, драматического искусства, политики, литературы, науки показывают уровень развития парижского буржуа. Поэт, проходя по Ломбардской улице и почувствовав в воздухе аромат духов, размечтается об Азии. Запах индийского нарда порождает в его восторженном воображении образы танцовщиц в караван-сарае. Пораженный яркостью кошенили, он постигает поэмы браминов, их верования и кастовые обычаи. Увидев неотделанную слоновую кость, он взбирается на спину слона и там в паланкине под муслиновой занавеской ласкает красавиц, как Лахорский раджа. Но мелкий торговец не знает, откуда поступают и как создаются товары, с которыми он имеет дело. Парфюмер Бирото ничего не смыслил ни в естественной истории, ни в химии. Он преклонялся перед Вокленом, как перед великим талантом, считая его необыкновенным человеком, сам же он мало чем отличался от удалившегося на покой бакалейщика, с хитрой усмешкой разрешившего спор о доставке чая: «Чай доставляется двояким путем — либо караванами, либо через Гавр». Послушать Бирото, так алоэ и опиум можно было найти только на Ломбардской улице. Так называемая константинопольская розовая вода, как и немецкий одеколон, изготовлялись в Париже. Географические их названия — сплошные враки, чтобы угодить французам, которые не жалуют отечественных изделий. Ради успеха своего открытия французский купец принужден выдавать его за английское, так же как английский аптекарь должен свое изобретение приписывать Франции. Тем не менее Цезаря нельзя было назвать ни глупцом, ни тупицей; честность и доброта, накладывая отпечаток на его поступки, делали их достойными уважения, ибо благородные поступки примиряют с каким угодно невежеством. Постоянный успех придал ему самоуверенность, а в Париже самоуверенность считается признаком и свидетельством силы. Поняв хорошо Цезаря за первые три года замужества, жена его пребывала в вечном страхе; в этом брачном союзе она олицетворяла собою прозорливость, сомнение, оппозицию, опасения, тогда как Цезарь был сама смелость, честолюбие, деятельность, причем ему неизменно сопутствовала удача. В действительности же купец был трусоват, а жена его обладала мужеством и терпением. Итак, человек робкий, посредственный, без образования, без собственных мыслей, без знаний, без характера, человек, который, казалось, не мог бы преуспеть на неустойчивом коммерческом поприще, добился того, что благодаря своей выдержке, чувству справедливости, истинно христианской душевной доброте и любви к единственной женщине, которой он обладал, прослыл выдающимся, смелым и решительным дельцом. Публика судит только по практическим результатам. Кроме Пильеро и судьи Попино, остальные представители этого круга знали Цезаря только поверхностно и ничего не могли о нем сказать. Два-три десятка приятелей, которые, собираясь вместе, изрекали одни и те же нелепости и повторяли затасканные общие места, считали себя на голову выше окружающей их среды. Женщины старались перещеголять друг друга зваными обедами и нарядами; и все как будто считали себя обязанными презрительно отзываться о своих мужьях. Только у госпожи Бирото хватало здравого смысла говорить в обществе о муже с почтением и уважением: она видела в нем человека, который, несмотря на свою скрытую от посторонних глаз бездарность, приобрел состояние и всеобщее уважение, распространявшееся и на нее. Правда, она иногда спрашивала себя, каков же свет, если все люди, которые слывут выдающимися, похожи на ее мужа. Такое поведение Констанс немало способствовало уважению к Бирото, — ведь в нашей стране женщины склонны развенчивать мужей и жаловаться на них.

Первые дни 1814 года, роковые для императорской Франции, ознаменовались в доме Бирото двумя событиями, мало примечательными во всякой другой семье, но по характеру своему способными запечатлеться в столь простых душах, как Цезарь и его жена, которые, оглядываясь на прошлое, видели в нем только тихие радости.

Они наняли старшим приказчиком молодого человека двадцати двух лет, по имени Фердинанд дю Тийе. Этот молодчик, бросивший службу в одной парфюмерной фирме, где ему отказали в участии в барышах, считался своего рода гением торговли; дю Тийе приложил немало труда, чтобы попасть в лавку «Королева роз», о владельцах, порядках и внутреннем укладе которой он успел разузнать все, что хотел. Бирото устроил его у себя, положил ему жалованье в тысячу франков в год и собирался сделать его впоследствии своим преемником. Фердинанд дю Тийе сыграл столь значительную роль в жизни этой семьи, что необходимо сказать о нем несколько слов. Первоначально он звался просто Фердинанд, без фамилии. Это обстоятельство оказалось для него великим благом в те времена, когда Наполеон в поисках солдат интересовался всеми семьями и фамилиями. Тем не менее и Фердинанд, плод чьей-то жестокой и сладострастной прихоти, тоже где-то родился и вырос. Вот некоторые сведения о его гражданском состоянии. В 1793 году бедная девушка из Тийе, небольшой деревушки, расположенной около Андели, родила как-то ночью ребенка в саду викария местной церкви и, постучав в ставень, утопилась. Добрый священник подобрал младенца, окрестил его именем святого, упоминаемого под этим днем в святцах, вскормил и воспитал его как сына. Священник умер в 1804 году, не оставив наследства, достаточного для завершения начатого им воспитания ребенка. Попав в Париж, Фердинанд вел там жизнь флибустьера, которого случай мог привести и к виселице и к богатству, к карьере адвоката или солдата, купца или лакея. Вынужденный жить как настоящий Фигаро, он сделался коммивояжером, потом — приказчиком в парфюмерной лавке, когда вернулся в Париж, исколесив всю Францию, изучив свет и твердо решив добиться во что бы то ни стало успеха. В 1813 году он счел необходимым официально установить свой возраст и определить гражданское состояние, потребовав в Анделийском суде передачи выписки об акте крещения из церкви в мэрию, и добился внесения в акт поправки, выразившейся в записи его под именем дю Тийе, на том основании, что он был найден в этой деревне. Без отца и без матери, не имея иного опекуна, кроме императорского прокурора, один в целом свете, не обязанный никому давать отчет, он питал в душе лютую ненависть к обществу и смотрел на него как на злую мачеху; он всегда руководствовался личной выгодой и считал все пути к обогащению пригодными. Этот нормандец, наделенный от природы опасными склонностями, соединял стремление к успеху с неискоренимыми пороками, в которых обычно упрекают его земляков. За его вкрадчивыми манерами скрывался сутяга, самый невероятный крючкотвор; дерзко оспаривая чужие права, он не уступал ничего своего и брал противника измором, побеждая его своей непреклонной волей. Главной его особенностью была характерная черта Скапенов старинной комедии: он отличался неистощимой изобретательностью и с поразительной ловкостью обходил закон, тяготея ко всему, что плохо лежит и чем стоит завладеть. Словом, он шел по стопам аббата Террея, оправдывал свои темные дела бедностью, как тот — государственной необходимостью, и рассчитывал стать впоследствии честным человеком. Наделенный неукротимой энергией и бесстрашием солдата, он умел кого угодно склонить к хорошему или дурному поступку и оправдывал свои домогательства теорией личной выгоды; он глубоко презирал людей, считая всех продажными, нимало не стеснялся в выборе средств, находя их все для себя дозволенными, и так упорно добивался успеха и денег, как силы, упраздняющей необходимость морали, что рано или поздно должен был достичь своих целей. Подобный человек, лавируя между каторгой и миллионным состоянием, не мог не быть мстительным, безудержным, быстрым в своих решениях, но скрытным, как новый Кромвель, который пожелал бы обезглавить самую честность. Свой истинный нрав он прятал под личиной насмешливости и легкомыслия. Этот приказчик парфюмерной лавки не знал предела своему честолюбию и, с ненавистью созерцая общество, думал: «Я покорю тебя!» Он дал себе слово не жениться раньше сорока лет и сдержал зарок. Внешне Фердинанд был высокий и стройный молодой человек; вкрадчивые манеры позволяли ему легко приспособиться к любому обществу. Его худощавое лицо сначала нравилось, но, приглядевшись, вы подмечали в нем странное выражение, словно отпечаток душевного разлада, внутренней борьбы или тайных угрызений совести. На нежной коже нормандца играл слишком яркий румянец. Глаза его разного цвета, с металлическим блеском, перебегали с предмета на предмет и загорались зловещим огнем, впиваясь в намеченную жертву. Голос его звучал глухо, как у долго говорившего человека; тонкие губы были красиво очерчены, но острый нос и выпуклый лоб выдавали простое происхождение. Иссиня-черные, словно крашеные волосы обличали в нем социального метиса, обязанного своим умом, распутнику-вельможе, низменностью натуры — соблазненной крестьянке, знаниями — незавершенному образованию, а пороками — своей беспризорности. С изумлением узнал Бирото, что приказчик его отправляется в гости в элегантном костюме, возвращается поздно и бывает на балах у банкиров и нотариусов. Такие замашки не понравились Цезарю: по его понятиям, приказчики должны были изучать торговые книги фирмы и все свое время посвящать делу. Парфюмера неприятно поразили и некоторые другие мелочи: он побранил дю Тийе за пристрастие к слишком тонкому белью, за визитные карточки, на которых было напечатано «Ф. дю Тийе», что, по мнению парфюмера, пристало лишь людям светским. Следует сказать, что Фердинанд втерся к этому Оргону с намерениями Тартюфа[[9]](#footnote-9): он стал ухаживать за женой Цезаря, попытался ее соблазнить; так же как и Констанс, но только гораздо быстрее, приказчик раскусил своего хозяина. Как ни был дю Тийе сдержан и скрытен, как ни взвешивал свои слова, но он несколько неосторожно высказал г-же Бирото свой взгляд на жизнь и людей и перепугал робкую женщину, такую же благочестивую, как и сам Бирото, почитавшую преступлением малейший ущерб, причиняемый ближнему. Несмотря на такт, свойственный г-же Бирото, дю Тийе догадался, что она его презирает. Констанс, которой приказчик написал несколько любовных писем, вскоре заметила перемену в его поведении: он стал крайне развязным, желая создать впечатление интимной близости с ней. Не открывая мужу своих тайных соображений, она посоветовала ему расстаться с Фердинандом. Бирото согласился с женой. Приказчика решено было рассчитать. За три дня до увольнения, в субботний вечер, Бирото производил ежемесячную проверку кассы и обнаружил недостачу в три тысячи франков. Он был удручен не столько пропажей денег, сколько подозрениями, которые тяготели теперь над тремя приказчиками, кухаркой, рассыльным и рабочими, пользовавшимися его доверием. Кого подозревать? Г-жа Бирото не отходила от конторки. Приказчик, который вел кассовые книги, — Попино, племянник г-на Рагона, девятнадцатилетний юноша, жил в доме и был воплощенной честностью. Его записи, не сходившиеся с кассовой наличностью, обнаруживали недостачу и указывали, что кража была совершена после подведения баланса. Супруги решили промолчать и последить за служащими. На другой день, в воскресенье, Бирото принимали гостей. Семьи, входившие в этот замкнутый круг, часто бывали друг у друга. Играя в буйот, нотариус Роген положил на сукно несколько старых луидоров, и г-жа Бирото узнала в них те самые монеты, которые она получила несколько дней тому назад от недавно вышедшей замуж г-жи д'Эспар.

— Вы никак вытрясли себе в карман кружку для бедных, — заметил, смеясь, парфюмер.

Роген ответил, что выиграл эти деньги в доме одного банкира у дю Тийе, и тот, не краснея, подтвердил слова нотариуса. Парфюмер побагровел. Когда гости разошлись и Фердинанд собрался идти спать, Бирото увел его в лавку под предлогом делового разговора.

— Дю Тийе, — сказал добряк, — у нас в кассе не хватает трех тысяч франков; у меня нет оснований подозревать кого-либо; история со старыми луидорами говорит против вас, и я не могу не сказать вам об этом. Предлагаю вам не ложиться спать до тех пор, пока мы не найдем ошибки, ибо это может быть только ошибкой. Вы ведь могли взять деньги из кассы в счет вашего жалованья.

Дю Тийе подтвердил, что он действительно взял луидоры. Парфюмер заглянул в конторские книги, счет приказчика еще не был закрыт.

— Я торопился и забыл попросить Попино, чтобы он записал эту сумму, — сказал Фердинанд.

— Конечно, — сказал Бирото, потрясенный наглым спокойствием нормандца, прекрасно понимавшего честных людей, к которым он поступил, чтобы сколотить себе капитал.

Парфюмер и приказчик всю ночь провели за проверкой, которая, как и предполагал почтенный коммерсант, ничего не дала. Расхаживая взад и вперед, Цезарь незаметно сунул в дальний угол кассы три тысячефранковых билета; затем, притворившись усталым, сделал вид, что заснул, и даже захрапел. Дю Тийе, торжествуя, разбудил его и с наигранной радостью заявил, что выяснил ошибку. На другой день Бирото при всех разбранил жену и Попино за их небрежность. Через две недели Фердинанд дю Тийе устроился у биржевого маклера. Парфюмерная торговля не для него, говорил он, он намерен изучить банковское дело. Расставшись с Бирото, дю Тийе отзывался о жене парфюмера так, словно тот рассчитал его из ревности. Через несколько месяцев дю Тийе пожаловал к своему бывшему хозяину и попросил у него поручительство на сумму в двадцать тысяч франков, необходимых ему, чтобы внести залог для участия в деле, которое открывало перед ним путь к богатству. Заметив недоумение Бирото, пораженного подобной наглостью, дю Тийе нахмурил брови и спросил парфюмера, не отказывает ли он ему в доверии. Матифа и два других купца, зашедшие к Бирото по делу, заметили негодование парфюмера, хотя он сдержал гнев в их присутствии. Дю Тийе, быть может, исправился, подумал Бирото, его проступок был, возможно, вызван тяжелым положением любовницы или карточным проигрышем, публичное его осуждение лицом уважаемым может толкнуть на пагубный путь преступлений такого молодого еще человека, а ведь он, кажется, вступил на стезю раскаяния. И этот ангельски чистый человек, взяв перо, подписал поручительство на векселях дю Тийе, сказав, что с радостью оказывает эту небольшую услугу юноше, который был ему очень полезен. Кровь бросилась ему в лицо, когда он произносил эту заведомую ложь. Дю Тийе не выдержал его взгляда и бесспорно в эту минуту поклялся в смертельной ненависти к Бирото, какую духи тьмы питают к ангелам света. Дю Тийе искусно балансировал на натянутом канате финансовых спекуляций и выглядел щеголем и богачом, прежде чем стал богатым на самом деле. Он приобрел кабриолет и совсем перестал ходить пешком; он вращался в тех высоких сферах, где подвизаются современные Тюркаре[[10]](#footnote-10), где люди сочетают развлечение с делами и фойе оперы превращают в отделение биржи. Благодаря г-же Роген, с которой он познакомился у Бирото, Фердинанд дю Тийе довольно быстро проник в высшие финансовые круги. К этому времени он уже достиг отнюдь не призрачного благосостояния. Установив хорошие отношения с банкирским домом Нусингена, куда его ввел Роген, он быстро сблизился с братьями Келлер, представителями высших банковских сфер. Никто не знал, где доставал этот молодчик огромные капиталы, которыми ворочал, но его успехи все приписывали уму и честности.

Реставрация сделала Цезаря заметным человеком, и вихрь политических событий стер в его памяти эти два события его домашней жизни. Роялистские убеждения, которых он продолжал внешне придерживаться, хотя и сильно охладел к ним после ранения, воспоминание о его преданности в дни вандемьера обеспечили ему монаршую милость, тем более что сам он ничего не просил. Он был поставлен во главе батальона национальной гвардии, хотя не способен был повторить даже самой простой команды. В 1815 году Наполеон, неизменный враг Бирото, вновь сместил его. В период Ста дней[[11]](#footnote-11) Бирото стал жупелом для всех либералов его квартала; ибо только с 1815 года начался политический раскол среди купечества, до того времени единодушного в стремлении к спокойствию, необходимому для процветания торговли. Во время второй реставрации королевское правительство сочло нужным обновить муниципалитет. Префект хотел назначить Бирото мэром. Под влиянием жены парфюмер согласился лишь на менее ответственный пост помощника мэра. Подобная скромность сильно увеличила всеобщее уважение к нему и вместе с тем снискала ему дружбу мэра, г-на Фламе де ла Биллардиера. Бирото, который видел его в «Королеве роз» еще в те времена, когда лавка служила местом встречи для роялистов-заговорщиков, сам указал на него префекту округа Сены, который советовался с ним о кандидатах. Супруги Бирото неизменно бывали приглашены на все званые обеды у мэра. Наконец, г-жа Бирото частенько собирала пожертвования в церкви св. Роха наряду с представительницами высшего общества. Ла Биллардиер горячо поддержал кандидатуру Бирото, когда обсуждался вопрос о награждении членов муниципалитета орденами, — он ссылался на рану, полученную Цезарем на ступенях церкви св. Роха, на его приверженность Бурбонам и на уважение, каким он пользовался. Правительство, рассчитывая щедрой раздачей крестов Почетного легиона не только умалить значение этого наполеоновского института, но и умножить число своих приверженцев, привлечь на сторону Бурбонов представителей торговли, искусства и науки, включило Бирото в первый же список награжденных. Такой почет вполне соответствовал блеску, окружавшему имя Бирото в квартале, и вознес его на такую высоту, на которой не мог не возомнить о себе человек, знавший доселе одни лишь удачи. Новость о награде, сообщенная ему мэром, явилась последним толчком, побудившим Бирото пуститься в предприятие, о котором он рассказал жене, — ему хотелось поскорее распрощаться с парфюмерной торговлей и приобщиться к крупной буржуазии Парижа.

Цезарю в ту пору было сорок лет. Неустанные хлопоты, связанные с фабрикой, вызвали преждевременные морщины на его лице и слегка посеребрили длинные густые волосы, сохранявшие лоснящуюся полосу от шляпы. Лоб его, на который спускалось пять вьющихся прядей волос, говорил о простом укладе его жизни. Его густые брови никого не пугали, ибо открытый взгляд чистых голубых глаз гармонировал с челом честного человека. Толстый с низкой переносицей нос придавал лицу удивленное выражение, как у парижских зевак. Губы были мясистые, а большой тяжелый подбородок круто срезан. Широкое румяное лицо и расположением морщин, и всеми своими крупными чертами выражало простодушную хитрость крестьянина. Сильное тело, крепкое сложение, широкая спина, огромные ступни ног — все выдавало в нем крестьянина, осевшего в Париже. Большие волосатые руки, утолщенные суставы огрубелых пальцев, квадратные ногти убедительно свидетельствовали о его происхождении, не говоря уже о других чертах его облика. На губах его играла приветливая улыбка, какая появляется у купцов при виде покупателя, но эта «коммерческая» улыбка была вместе с тем выражением внутреннего довольства и отражала спокойное состояние души его. Недоверчивость Цезаря не распространялась за пределы торговых операций, хитрость покидала его по выходе с биржи или после того, как он закрывал свои конторские книги. Подозрительность была для него тем же, что и фирменные печатные бланки счетов, — необходимостью, вызванной самим характером торговли. Лицо его дышало комической самоуверенностью; сочетание самодовольства и добродушия придавало ему некоторое своеобразие и уменьшало сходство с плоской физиономией парижского буржуа. Не будь у Цезаря Бирото наивного восхищения собственной персоной и самоуверенности, он, пожалуй, внушал бы уж слишком большое уважение к себе; смешные черты приближали его к простым смертным. Обычно, разговаривая, он закладывал руки за спину. Когда он полагал, что был особенно любезен или изрек что-либо остроумное, он незаметно, в два приема, подымался на носки, а затем тяжело падал на пятки, как бы для подтверждения своих слов. В разгаре спора он иногда вдруг круто поворачивался, делал несколько шагов, словно в поисках возражений, затем вновь резко подступал к своему противнику. Он никогда никого не прерывал и нередко становился жертвой столь щепетильного соблюдения приличий, ибо другие наперебой сыпали словами, а бедняга не мог и рта раскрыть. В результате большого коммерческого опыта Бирото усвоил определенные привычки, которые кое-кто считал сумасбродными. Если какой-либо вексель не был ему оплачен, он отсылал его к судебному приставу и вспоминал о нем лишь тогда, когда полагалось получить по нему деньги, проценты и издержки; при этом он поручал судебному приставу преследовать должника лишь до признания того несостоятельным; в последнем случае Бирото прекращал всякое судебное преследование, не являлся на собрания кредиторов, но документы сохранял. Это правило и непримиримое презрение к банкротам он усвоил у г-на Рагона, который за время своей торговой деятельности пришел к выводу, что тяжбы поглощают слишком много времени, и считал поэтому, что скудный и ненадежный дивиденд, доставляемый конкурсом, не стоит сил, затраченных на беготню и разоблачение недобросовестного должника.

— Ежели банкрот — честный человек и выйдет из затруднительного положения, он сам вам заплатит, — говаривал г-н Рагон. — Ну, а ежели он остался без всяких средств и без вины пострадал, зачем его еще мучить? Ежели он мошенник, вы все равно ничего от него не получите. Ваша твердость, став известной, создаст вам славу человека непреклонного, и тогда, понимая невозможность добиться с вами какого-либо соглашения, должник постарается заплатить вам при первой возможности.

Цезарь являлся на деловое свидание точно в назначенное время, но ждал не больше десяти минут, после чего уходил, и ничто не могло заставить его отступить от этого правила: своей аккуратностью он приучил к аккуратности всех, кто имел с ним дело. Костюм, который он носил, соответствовал его привычкам и наружности. Ничто не могло бы заставить его отказаться от галстуков из белого муслина, концы которых, вышитые женою или дочерью, он выпускал на грудь. Белый пикейный жилет, застегнутый на все пуговицы, низко спускался на его внушительное брюшко: Цезарь начинал полнеть. Он носил синие панталоны, черные шелковые чулки и башмаки с бантами; банты эти часто развязывались. Чрезмерно просторный зеленовато-оливковый сюртук и шляпа с большими полями придавали ему сходство с квакером. Принаряжаясь к воскресному вечеру, он надевал короткие шелковые панталоны, башмаки с золотыми пряжками и неизменный жилет, из-за отогнутых бортов которого виднелось плоеное жабо. Наряд этот дополнял фрак коричневого сукна с длинными и широкими фалдами. До 1819 года часы он носил на двух цепочках, располагая их одну над другой, но выпускал на жилет вторую только в парадных случаях. Таков был Цезарь Бирото, человек достойный, но которому таинственные силы, предопределяющие судьбу людскую, отказали в способности проникать во взаимосвязь политики с жизнью, лишили возможности подняться над общественным уровнем среднего класса; Цезарь шел по проторенной дорожке: он заимствовал у других свои взгляды и почитал их за неоспоримые истины. Невежественный, но добрый, неумный, но глубоко религиозный, он обладал неиспорченной душой. Сердце его согревало одно-единственное чувство, свет и сила его жизни — всепоглощающая любовь к жене и дочери, которой объяснялись и его жажда возвыситься, и тот ограниченный запас знаний, который ему удалось приобрести.

Госпожа Бирото, которой в ту пору было тридцать семь лет, так походила на Венеру Милосскую, что все знакомые признавали ее изображением прекрасную статую, присланную герцогом де Ривьером. Но через несколько месяцев горести так быстро иссушили ее сверкающую белизной кожу, так безжалостно углубили и обвели чернью синеватые тени под ее прекрасными зелеными глазами, что она стала походить на старую мадонну; ибо даже в несчастье она сохранила кроткую чистоту души, ясный, хотя и скорбный взгляд, и даже тогда нельзя было не признать, что она хороша собой, а сдержанные манеры ее полны достоинства. На балу, задуманном Цезарем, ей суждено было в последний раз блеснуть своей красотой, замеченной всеми присутствовавшими.

Всякое существование имеет свой апогей — такой период, когда воздействующие причины и вытекающие из них следствия вполне соответствуют друг другу. Это — полдень жизни, когда живые силы находятся в полном равновесии и проявляются во всем своем блеске, и расцвет этот свойствен не только органическим существам, но также городам, нациям, идеям, учреждениям, торговле, предприятиям, которые, подобно благородным фамилиям и династиям, возникают, возвышаются и приходят в упадок. Как объяснить неизменность этого закона возвышения и падения — основы всего, что происходит на земле? Ведь даже сама смерть в годы моровой язвы то достигает значительного подъема, то ослабевает, то ополчается с новой силой, то опять затихает. Земной шар, быть может, не что иное, как ракета, светящаяся немного дольше других. История, повествуя о причинах величия и падения всего существовавшего на земле, могла бы предупредить человека о пределе его стремлений; но ни завоеватели, ни актеры, ни женщины, ни писатели не внемлют ее спасительному гласу.

Цезарь Бирото, которому следовало бы знать, что он достиг апогея благополучия, принял остановку в своем возвышении за отправную точку дальнейшего движения. К тому же он был полный невежда в этих вопросах, ибо ни народы, ни монархи не пытались запечатлеть неизгладимыми письменами причины крушений, которыми изобилует история и бесчисленные примеры которых являют многие династии и торговые дома. Почему не воздвигнут новые пирамиды, чтобы всем и каждому постоянно напоминать о том принципе, который должен служить основой и политики народов, и поведения отдельных лиц: *«Когда производимое действие не находится более в прямой зависимости от своей причины и не соответствует ей, начинается разрушение»*. И все же такие памятники существуют повсюду: это предания и камни, которые говорят нам о прошлом и увековечивают прихоти неумолимой судьбы, чья рука разрушает наши мечты и доказывает нам, что самые великие события сводятся к одной мысли. Троя и Наполеон — лишь поэмы. Пусть же эта повесть станет поэмой превратностей буржуазной жизни, над которыми никто никогда и не задумывался, ибо они казались слишком ничтожными, тогда как в действительности они огромны: здесь речь идет не об одном человеке, а о целом сонме страдальцев.

Засыпая, Цезарь побаивался, что жена утром обрушится на него с новыми настойчивыми возражениями, и мысленно приказал себе встать на заре, чтобы все решить. На рассвете, когда Констанс еще спала, он тихонько выскользнул из спальни, быстро оделся и спустился в лавку как раз в ту минуту, когда рассыльный снимал с окон перенумерованные доски ставен. Убедившись, что приказчиков еще нет, Бирото остался ждать их в лавке, наблюдая, как рассыльный Раге справляется со своими обязанностями, хорошо знакомыми и самому Цезарю! Несмотря на холод, погода стояла чудесная.

— Попино! — крикнул Бирото спускавшемуся по лестнице приказчику. — Попроси Селестена спуститься в лавку, а сам оденься: мы пойдем с тобой в Тюильри, мне надо потолковать с тобой кой о чем.

Ансельм Попино являл собою поразительную противоположность Фердинанду дю Тийе; счастливый случай, внушающий веру в провидение, привел его в дом Цезаря, где ему пришлось играть столь значительную роль, что следует набросать его портрет. Г-жа Рагон была урожденная Попино. У нее было два брата. Младший из них состоял в ту пору заместителем судьи в суде первой инстанции департамента Сены. Старший брат торговал шерстью, разорился и умер, оставив на попечение Рагонов и бездетного брата-судьи своего единственного сына; мать мальчика умерла от родов. Г-жа Рагон, чтобы пристроить племянника к делу, определила Ансельма в парфюмерную лавку, надеясь со временем увидеть его преемником Бирото. Ансельм Попино был небольшого роста и хром, — недостаток, которым случай наделил лорда Байрона, Вальтера Скотта и Талейрана, как бы желая этим подбодрить страдающих от своей хромоты людей. Его румяное лицо было усеяно веснушками, как у всех людей с рыжими волосами, но чистая линия лба, глаза цвета серого агата с темными прожилками, красивый рот, белизна кожи, стыдливая грация юности, застенчивость, порожденная физическим недостатком, вызывали симпатию и желание помочь ему: ведь слабые пользуются всеобщей любовью. Попино возбуждал к себе участие. Маленький Попино, как все его называли, происходил из глубоко религиозной семьи; родные его отличались высокой нравственностью, вели скромную жизнь и творили много добрых дел. Не удивительно, что юноша, воспитанный дядей-судьей, соединял в себе все достоинства, украшающие молодость: умный, сердечный, несколько робкий, но пылкий в душе, кроткий, как ягненок, но усердный в работе, преданный, сдержанный, — он обладал всеми добродетелями первых христиан.

Услышав приглашение прогуляться в Тюильри — самое диковинное предложение для столь раннего часа и в устах уважаемого им патрона, — Попино решил, что хозяин хочет поговорить с ним об его устройстве; приказчик сразу же подумал о Цезарине, истинной королеве роз, живой вывеске торгового дома: он был влюблен в нее с того самого дня, когда поступил на службу к Бирото — двумя месяцами раньше дю Тийе. Поднимаясь по лестнице, он вынужден был остановиться: дыхание спирало в груди, сердце билось слишком сильно; вскоре он вновь спустился в лавку, в сопровождении старшего приказчика Селестена. Не говоря ни слова, Ансельм с хозяином направились в Тюильри. Попино в ту пору шел двадцать второй год, в его возрасте Бирото был уже женат, поэтому Ансельм не видел никаких помех для своего брака с Цезариной, хотя состояние парфюмера и красота его дочери являлись огромными препятствиями для столь честолюбивого плана; но любовь окрыляет надеждой, и чем любовь безрассуднее, тем охотнее верят в ее торжество: чем недоступнее была любимая, тем сильнее разгоралось чувство Ансельма. Счастливый юноша, в годы, когда стирались грани между различными слоями общества, когда все носили ничем не отличимые друг от друга шляпы, он измышлял какие-то преграды между дочерью парфюмера и собой, отпрыском старинной парижской фамилии! Все же, несмотря на сомнения и тревоги, он был счастлив: каждый день он обедал за одним столом с Цезариной. Ансельм так горячо принимал к сердцу все интересы фирмы, с таким рвением брался за любое дело, что служба не доставляла ему никаких огорчений, он делал все во имя Цезарины и никогда не знал усталости. Двадцатилетнему юноше свойственна самоотверженная любовь.

— Из него выйдет настоящий купец, он пробьется, — говорил Цезарь г-же Рагон, расхваливая Ансельма за хлопоты по фабрике, за понимание тонкостей парфюмерного дела, за рвение в работе в те дни, когда готовили товары к отправке и хромой Попино, засучив рукава по локоть, один упаковывал и забивал больше ящиков, чем все остальные приказчики.

Явные притязания на руку Цезарины со стороны Александра Кротта, старшего клерка нотариуса Рогена, сына богатого фермера из Бри, были серьезным препятствием для торжества сироты Попино; но эти трудности не казались еще ему самыми страшными! Ансельм хранил в глубине сердца грустную тайну, которая углубляла пропасть между ним и Цезариной. Состояние Рагонов, на которое он мог рассчитывать, было подорвано; юноше выпало на долю счастье помогать им из своего скудного жалованья. И тем не менее он верил в успех!

Не раз он ловил взгляды, которые Цезарина с гордым видом бросала на него, — в глубине ее глаз он дерзнул прочесть сокровенную мысль, согревавшую его надеждой. Вот почему Ансельм шел теперь, охваченный любовью, трепещущий, молчаливый, взволнованный, каким был бы при подобных обстоятельствах каждый молодой человек, чья жизнь только начинается.

— Попино, — сказал ему почтенный торговец, — твоя тетушка здорова?

— Да, сударь.

— Однако в последнее время она кажется мне чем-то озабоченной. Все ли у вас в порядке? Послушай, дружок, нечего таиться передо мной, ведь мы почти родные, — вот уж двадцать пять лет, как я знаю твоего дядю. Я пришел к нему в лавку прямо из деревни, в грубых башмаках с подковками. Хотя наша деревня и называлась «Трезорьер», все мое состояние заключалось в одном луидоре, который мне подарила крестная, покойная маркиза д'Юкзель, родственница герцога и герцогини де Ленонкур, наших постоянных покупателей. Вот почему каждое воскресенье я молился о здравии ее и всей семьи; до сих пор я посылаю ее племяннице, госпоже де Морсоф, в Турень всякие парфюмерные изделия. Ленонкуры всегда направляют ко мне покупателей, например, господина де Ванденеса, и тот набирает у нас товару на тысячу двести франков в год. Если бы я не был благодарен от чистого сердца, то следовало бы быть благодарным из расчета; но знай, тебе я искренне желаю добра.

— Ах, сударь, позвольте вам сказать, светлая у вас голова!

— Нет, дружок, нет, этого мало. Не стану спорить, голова у меня не хуже, чем у других, но прежде всего я был честен, черт побери! Я всегда вел себя благопристойно, я всегда любил только жену. Любовь — могучий *двигатель*, как удачно выразился вчера в палате господин де Виллель.

— Любовь! — воскликнул Попино. — О, сударь, неужели?..

— Погляди-ка, вон папаша Роген плетется пешком. И что это за дела у старика на площади Людовика Пятнадцатого, в восемь часов утра? — спросил сам себя Цезарь, забыв про Ансельма и про ореховое масло.

Бирото сразу вспомнил страхи своей жены и повернул от Тюильрийского сада навстречу нотариусу. Ансельм шел за хозяином на почтительном расстоянии, не понимая внезапного интереса, проявленного Цезарем по столь, казалось бы, незначительному поводу, но чрезвычайно довольный поощрением, которое он усмотрел в словах Цезаря о башмаках с подковками, о луидоре и о любви.

Роген, высокий и тучный человек, с прыщеватым лицом, с черными волосами, с залысинами на лбу, был когда-то недурен собой; в молодости он был дерзок, напорист и из мелких клерков выбился в нотариусы; но теперь опытный наблюдатель заметил бы искажавший его лицо легкий тик и печать усталости — следствие погони за наслаждениями. Когда человек предается грязным излишествам, ему мудрено избежать следов этой грязи на лице, вот почему самый характер морщин и красные пятна на щеках Рогена отнюдь не облагораживали его наружности. Вместо той чистоты красок, которая освежает лица людей умеренных и придает им здоровый вид, в нем чувствовалась нечистая кровь, подхлестываемая вожделениями, непосильными для его тела. Нос его был уродливо вздернут, как это часто бывает у людей, страдающих воспалением слизистой оболочки, что сказывается на форме носа и изобличает тайный недуг, который некая простодушная королева Франции наивно считала общим несчастьем всех мужчин и, не зная близко ни одного мужчины, кроме короля, так никогда и не поняла своей ошибки. Усиленно нюхая испанский табак, Роген надеялся скрыть свой недуг, но только усилил этим неприятные проявления болезни, ставшие главной причиной его бед.

Не пора ли покончить с лестью по отношению к обществу, с обычаем постоянно изображать людей в ложном свете, умалчивая об истинных причинах их злоключений, столь часто вызываемых болезнями? Доселе бытописатели, пожалуй, слишком мало интересовались разрушительным влиянием телесных недугов на нравственный облик человека, на весь уклад его жизни. Г-жа Бирото верно отгадала тайну Рогенов.

В первую же брачную ночь очаровательная г-жа Роген, единственная дочь банкира Шевреля, почувствовала к несчастному нотариусу неодолимое отвращение и решила немедленно добиться развода. Роген, чрезвычайно дороживший богатством жены — полумиллионным состоянием, не считая видов на наследство, — упросил ее не возбуждать дела о разводе; он предоставил ей полную свободу и принял на себя все нежелательные последствия такого соглашения. Г-жа Роген стала сама себе госпожой и начала обращаться с мужем, как куртизанка со старым любовником. Очень скоро Роген нашел, что жена слишком дорого ему обходится, и, подобно многим парижским мужьям, завел на стороне вторую семью. Сначала он в своих тратах не выходил за пределы благоразумия, и они были невелики.

Первое время Роген был экономен и довольствовался гризетками, дорожившими его покровительством; но вот уже три года его снедала ненасытная страсть, нередко овладевающая мужчинами в возрасте от пятидесяти до шестидесяти лет; страсть нотариуса была вызвана едва ли не самой блистательной куртизанкой того времени, известной в летописях парижской проституции под прозвищем Прекрасной Голландки; вскоре ее затянул этот омут, и она прославилась в нем своей смертью. Некогда красавицу привез из Брюгге в Париж один клиент Рогена; покидая по политическим соображениям столицу, он передал ее в 1815 году нотариусу. Старик купил для своей любовницы небольшой особняк на Елисейских полях, богато его обставил и поддался желанию потакать всем дорого стоившим прихотям этой женщины, расточительность которой поглотила все его состояние.

Угрюмое выражение, сбежавшее с лица Рогена, лишь только он увидел своего клиента, объяснялось загадочными событиями, в которых крылась и тайна чрезмерно быстрого обогащения дю Тийе. Когда старший приказчик парфюмера в одно из воскресений увидел в гостях у Бирото нотариуса и понаблюдал отношения Рогена с женой, он сразу изменил свои первоначальные планы. Дю Тийе поступил к Бирото, не столько желая соблазнить его жену, сколько стремясь жениться на его дочери, что вполне вознаградило бы его за неудовлетворенную страсть к Констанс, но он легко отказался от этого плана, когда убедился, что Цезарь далеко не так богат, как он предполагал. Дю Тийе выследил нотариуса, втерся к нему в доверие, добился знакомства с Прекрасной Голландкой, разобрался в подоплеке ее связи с Рогеном и узнал, что она грозила бросить нотариуса, если тот урежет ее траты. Прекрасная Голландка принадлежала к породе сумасбродных женщин, которые никогда не спрашивают, где и как мужчины добывают деньги, и способны со спокойным сердцем устроить бал на деньги отцеубийцы. Она никогда не задумывалась о завтрашнем дне. Будущее ограничивалось для нее вечером, а конец месяца терялся где-то в вечности, даже если ей предстояло платить по счетам. Дю Тийе, довольный, что нашел необходимый для его планов рычаг, прежде всего добился согласия Прекрасной Голландки любить Рогена за тридцать тысяч франков в год вместо прежних пятидесяти тысяч: сладострастные старики редко забывают о подобной услуге.

Однажды после ужина, обильно вспрыснутого вином, Роген признался дю Тийе в своем финансовом крахе. Недвижимое имущество нотариуса составляло законную ипотеку его жены, и страсть поэтому заставила его растратить деньги клиентов на сумму, превышавшую половину стоимости его конторы. Несчастный Роген решил пустить себе пулю в лоб, после того как куртизанка поглотит все его состояние: вызвав к себе сочувствие общества, он надеялся ослабить ужасное впечатление от своего банкротства. Дю Тийе узрел перед собою быстрый и верный путь к обогащению, блеснувший, словно молния, в пьяном угаре; он успокоил Рогена и отблагодарил его за доверие, посоветовав нотариусу разрядить пистолеты в воздух.

— Рискуя всем, человек вашего положения не должен поступать необдуманно и отдаваться на волю случая. Вам надо действовать решительнее, — сказал дю Тийе.

И он предложил нотариусу сейчас же доверить ему, дю Тийе, крупную сумму для какой-нибудь смелой биржевой операции или для участия в одной из тысяч предпринимавшихся в ту пору спекуляций. В случае удачи они основали бы вместе банкирский дом, деньги вкладчиков пустили бы в оборот, а доходы шли бы на удовлетворение страсти Рогена. Если же счастье обернется против них, Роген не покончит с собой, а скроется за границу, ибо его верный друг, дю Тийе, готов поделиться с ним последним су. То была веревка, брошенная утопающему, и Роген не заметил, что приказчик-парфюмер затягивает петлю вокруг его шеи.

Владея тайной Рогена, дю Тийе с ее помощью подчинил своей власти сразу и жену, и любовницу, и мужа. Предупрежденная об угрозе разорения, о возможности которого она и не подозревала, г-жа Роген приняла ухаживания дю Тийе, который, уверившись в своем близком успехе, покинул лавку парфюмера. Бывшему приказчику без труда удалось уговорить содержанку нотариуса рискнуть некоторой суммой денег, чтобы никогда, даже в случае беды, не прибегать к проституции. Жена Рогена привела в порядок свои денежные дела, быстро собрала небольшой капитал и также вручила его человеку, которому доверял ее муж, ибо нотариус немедленно передал своему сообщнику сто тысяч франков. Сблизившись с г-жой Роген на деловой почве, дю Тийе сумел расположить в свою пользу эту красивую женщину и внушил ей сильнейшую страсть к себе. Все три доверителя уплачивали ему, как водится, определенную часть со своей прибыли, но, не довольствуясь этим, он имел дерзость играть за их счет на бирже, войдя в соглашение с противником, который возвращал ему суммы его мнимых проигрышей, ибо дю Тийе играл сразу и от своего и от чужого имени. Сколотив пятьдесят тысяч франков, он почувствовал уверенность в том, что будет богачом; с характерной для него орлиной зоркостью он стал следить за фазами развития, через которые проходила тогда Франция, играл на понижение во время военной кампании 1814 года и на повышение по возвращении Бурбонов. Спустя два месяца после воцарения Людовика XVIII у г-жи Роген было двести тысяч франков, а у самого дю Тийе триста тысяч. Нотариус, которому молодой человек представлялся ангелом-хранителем, поправил свои дела. Однако Прекрасная Голландка по-прежнему пускала по ветру все деньги Рогена, — она стала жертвой мерзкого паука, высасывавшего из нее все соки, некоего Максима де Трай, бывшего пажа императора. Заключая с куртизанкой какую-то сделку, дю Тийе узнал ее настоящее имя. Ее звали Сарра Гобсек. Пораженный совпадением этой фамилии с фамилией ростовщика, о котором ему немало приходилось слышать, он отправился к старику, провидению молодых дворян, чтобы выяснить, сделает ли тот что-нибудь для своей родственницы. Этот Брут среди ростовщиков был неумолим к своей внучатной племяннице, но дю Тийе обратил на себя его благосклонное внимание как банкир Сарры и лицо, располагающее оборотным капиталом. Натура нормандца и натура ростовщика оказались под стать друг другу. Гобсеку как раз нужен был ловкий молодой человек, чтобы проследить за небольшой финансовой операцией, проводившейся за границей. Некий докладчик государственного совета, застигнутый врасплох возвращением Бурбонов, решил выдвинуться при дворе, а для этого отправиться в Германию и выкупить там долговые обязательства, выданные во время эмиграции принцами королевского дома. Интересуясь лишь политической стороной этой махинации, он соглашался предоставить доход от нее тем, кто ссудит его необходимыми средствами. Гобсек соглашался отпускать средства лишь по мере покупки долговых обязательств и при условии проверки их каким-нибудь толковым своим представителем. Ростовщики никому не доверяют, они всегда требуют обеспечения; в сношениях с ними случай — все: если человек им не нужен, они холодны как лед, но сразу же становятся вкрадчивыми, склонными к благодеяниям, лишь только этого потребуют их интересы. Дю Тийе знал, какую огромную роль играли за кулисами парижской биржи Вербруст и Жигонне, дисконтеры торговых домов с улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, а также Пальмá, банкир из предместья Пуассоньер, почти всегда выступавшие сообща с Гобсеком. Дю Тийе предложил Гобсеку солидный денежный залог, выговорив себе определенный процент в прибылях и получив согласие господ финансистов пустить в оборот капиталы, которые он им предоставит; таким образом он заручился их поддержкой. Дю Тийе сопровождал г-на Клемана Шардена де Люпо в его поездке по Германии, которая длилась в течение Ста дней, и вернулся ко времени второй реставрации, не столько увеличив свое состояние, сколько заложив основы его. Он проник в тайны самых ловких финансовых воротил Парижа, добился дружбы человека, для наблюдений за которым был приставлен, и этот ловкий делец открыл ему пружины и законы высшей политики. Дю Тийе принадлежал к той породе людей, которые все понимают с полуслова, поездка завершила его образование. В Париже Фердинанда встретила верная ему г-жа Роген; бедняга нотариус ожидал его с не меньшим нетерпением, чем она, ибо Прекрасная Голландка снова разорила его дотла. Расспросив Прекрасную Голландку, дю Тийе обнаружил, что ее расходы значительно превышают суммы, потраченные ею на себя. Дю Тийе узнал тогда тайну Сарры Гобсек, старательно от него скрываемую: ее безумную страсть к Максиму де Трай, чьи первые шаги на стезе порока и распутства сразу разоблачили подлинную его сущность: то был один из тех политических проходимцев, без которых не обходится ни одно правительство, страсть к игре сделала его ненасытным. Открытие это объяснило дю Тийе равнодушие Гобсека к своей внучатной племяннице. Обдумав положение дел, банкир дю Тийе — ибо он сделался уже банкиром — стал настоятельно советовать Рогену прикопить себе денег на черный день, втянув наиболее состоятельных своих клиентов в дело, которое могло бы дать ему в руки крупные суммы в случае банкротства при дальнейшей игре на бирже. После игры на «повышение» и «понижение», обогащавшей лишь самого дю Тийе и г-жу Роген, для нотариуса пробил наконец час окончательного разорения. Его преданный друг извлек все возможные для себя выгоды из агонии Рогена. Дю Тийе придумал спекуляцию с участками земли в районе церкви Мадлен. Разумеется, сто тысяч франков, переданные Бирото на хранение Рогену, попали в лапы дю Тийе, который, желая погубить парфюмера, уверил нотариуса, что тот подвергнет себя меньшему риску, если уловит в сети своих ближайших друзей.

— Друг, — заверил он Рогена, — даже в гневе щадит нас.

Мало кому известно в наши дни, как дешево стоила в ту пору земля в районе церкви Мадлен; все же владельцы участков, с которыми предстояло столковаться, не преминули бы воспользоваться случаем набить цену и продать землю выше тогдашней ее стоимости; дю Тийе хотелось извлечь из этого дела выгоду, не неся никаких потерь, связанных с долгосрочной спекуляцией. Иначе говоря, план его состоял в том, чтобы погубить в самом зародыше это предприятие, прибрать его к рукам и тогда уже вдохнуть в него жизнь. При таких обстоятельствах дельцы, подобные Гобсеку, Пальма, Вербрусту и Жигонне, взаимно поддерживают друг друга; но дю Тийе не был настолько близок с этими людьми, чтобы обратиться к ним за содействием; к тому же ему важно было оставаться в тени, чтобы воспользоваться плодами мошенничества, не запятнав себя; ему нужен был помощник — послушное орудие в его руках, человек, которого в коммерческом мире именуют подставным лицом. Его мнимый партнер по биржевой игре показался ему подходящим для этой роли, и дю Тийе посягнул на права господа бога, сотворив нужного ему человека. Из бывшего коммивояжера, без средств, без способностей, за исключением дара молоть всякий вздор на любую тему, но годного на то, чтобы сыграть предлагаемую ему роль, не провалив пьесы, человека, исполненного своеобразной порядочности, то есть готового хранить тайну и дать себя опозорить, лишь бы спасти честь доверителя, — из этого субъекта дю Тийе сделал банкира, основателя и вдохновителя крупных коммерческих предприятий, главу банкирского дома Клапарона. Шарлю Клапарону надлежало стать жертвой биржевых дельцов, если бы махинации дю Тийе потребовали его банкротства, и Клапарон это знал. Но для бедного малого, печально слонявшегося по бульварам и возлагавшего все свои надежды на последние сорок су, которые были у него в кармане, когда с ним повстречался его старый товарищ дю Тийе, небольшие подачки, обещанные ему за каждое выполненное дело, показались настоящим Эльдорадо. Поэтому его приятельское расположение к дю Тийе и преданность ему, усиленные безотчетным чувством признательности за удовлетворение нужд его беспутной и праздной жизни, заставляли Клапарона соглашаться на все. Он продал свою честь, когда увидел, как осмотрительно играет ею дю Тийе, привязался к своему старому товарищу, как пес к хозяину. Клапарон был крайне безобразным псом, но псом верным, всегда готовым кинуться, по примеру Курция, в пропасть. В задуманной спекуляции землей Клапарон должен был представлять половину покупателей участков, подобно тому как Цезарь Бирото был представителем другой половины. Векселя, которые Клапарону предстояло получить от Бирото, должен был учесть один из ростовщиков, чьим именем мог прикрываться дю Тийе, чтобы низвергнуть Бирото в бездну банкротства, после того как Роген похитит его наличный капитал. Члены конкурсного управления будут действовать по указке дю Тийе, который, завладев суммами, внесенными парфюмером, и став негласным его кредитором, намеревался затем пустить участки с торгов и приобрести их за полцены, оплатив их стоимость из денег Рогена и дивидендов от конкурса. Нотариус принял участие в заговоре дю Тийе, рассчитывая урвать себе солидный куш от состояния Бирото и его компаньонов; но человек, которому он доверился, намеревался захватить и действительно захватил себе львиную долю добычи. Роген, лишенный возможности преследовать дю Тийе по суду, удовольствовался обглоданной костью, которую ему бросали из месяца в месяц, когда он укрылся в одном из глухих уголков Швейцарии, где находил себе красоток по сходной цене. Не воображение сочинителя трагических историй, придумывающего сложные интриги, а сама жизнь породила этот чудовищный план. Ненависть без жажды мщения — это семя, гибнущее на гранитной почве; но месть дю Тийе Цезарю Бирото, которую он поклялся довести до конца, была так же естественна, как вражда духов тьмы к ангелам света. Дю Тийе не мог, не подвергая себя серьезной опасности, убить единственного человека в Париже, знавшего, что он совершил кражу; но он мог втоптать его в грязь и тем самым лишить всякого значения его свидетельские показания. Долго зрела в его сердце ненависть, пока наконец расцвела, ибо в Париже даже самые злобные люди не могут уделять много времени своим козням: слишком стремительна и кипуча здесь жизнь, слишком много здесь всяких непредвиденных случайностей; но в то же время эта вечная изменчивость жизни, не давая заранее обдумать какой-либо план, как нельзя лучше способствует затаенным замыслам людей, которые умеют выждать благоприятный момент в бурном течении событий. Когда Роген признался дю Тийе в своем разорении, бывший приказчик увидел, еще смутно, возможность погубить Цезаря, и он не ошибся. В ожидании разлуки со своим кумиром нотариус допивал любовный напиток из разбитой чаши и каждый вечер посещал небольшой особняк на Елисейских полях, возвращаясь оттуда домой лишь на рассвете. Итак, подозрения г-жи Бирото были справедливы. Стоит только кому-либо согласиться на такую роль, какую дю Тийе навязал Рогену, как он обретает таланты великого комедианта, зоркость рыси, проницательность ясновидящего, способность магнетизировать свою жертву; нотариус увидел парфюмера задолго до того, как Бирото обратил на него внимание, и когда Цезарь взглянул на него, Роген уже издали протягивал ему руку.

— Я только что составил завещание одной высокопоставленной особы; человек этот и недели не проживет, — сказал он с самым непринужденным видом. — Но со мною обошлись, как с деревенским лекарем: приехали за мной в карете, а домой я возвращаюсь пешком.

Слова эти рассеяли легкое облако недоверия, которое омрачало чело парфюмера и было замечено Рогеном; потому-то нотариус и не решился первым заговорить о спекуляции земельными участками, тем более что намеревался нанести своей жертве последний удар.

— Сначала завещания, затем брачные контракты, — сказал Бирото, — такова жизнь! Да, кстати, когда наша помолвка с Мадлен? Хе! хе! папаша Роген, — прибавил он, похлопывая нотариуса по животу.

В мужском обществе даже самые добропорядочные буржуа любят казаться игривыми.

— Ну, если не сегодня, то никогда, — с дипломатическим видом сказал нотариус. — Боюсь, как бы дело не получило широкой огласки, два самых богатых моих клиента уже стремятся принять участие в этой спекуляции. Пора наконец или решиться, или вовсе отказаться. После полудня я подготовлю акты. Итак, вам остается раздумывать только до часу дня. Прощайте. Я собираюсь просмотреть сейчас черновик договора, который Ксандро должен был подготовить сегодня ночью.

— Ну, так по рукам, я согласен, — сказал Бирото, догоняя нотариуса. — Даю вам сто тысяч франков, которые я отложил на приданое дочери.

— Идет! — сказал Роген, продолжая свой путь.

Возвращаясь к Попино, Бирото на мгновение ощутил какое-то стеснение в груди, его обдало жаром, зашумело в ушах.

— Что с вами, сударь? — спросил приказчик, заметив, как побледнел его хозяин.

— Ничего, мой милый! Я сейчас порешил одно очень важное дело, тут хоть кого в пот бросит! Это дело и тебя касается. Так вот, я привел тебя сюда, чтобы потолковать на свободе, здесь нас никто не услышит. Значит, твоя тетушка находится в стесненных обстоятельствах? Каким образом она потеряла деньги? Расскажи!

— Видите ли, сударь, дядюшка и тетушка держали свои сбережения у господина Нусингена и поэтому вынуждены были принять в возмещение вклада акции Ворчинских копей, которые не дают пока никаких доходов, ну а в их возрасте трудно жить одними надеждами.

— На какие же средства они живут?

— Они так добры, что разрешили мне помогать им.

— Молодец, молодец, Ансельм! — проговорил парфюмер, у которого навернулись на глаза слезы. — Недаром у меня всегда сердце лежало к тебе! Тебя ждет достойная награда за твое усердие в службе.

Произнося эти слова, парфюмер вырастал как в собственных глазах, так и в глазах Попино. Речь его была проникнута наивной, мещанской напыщенностью, выражавшей его мнимое превосходство.

— Как! Вы догадались о моей любви?..

— К кому? — спросил Бирото.

— К мадмуазель Цезарине.

— Ого, сынок, да ты слишком дерзок! — воскликнул Цезарь. — Смотри, никому не проговорись, я обещаю тебе все забыть, завтра ты все равно покидаешь мой дом. Я не сержусь на тебя, на твоем месте я сам, черт побери, влюбился бы. Она так хороша!

— Ах, сударь! — пробормотал приказчик, обливаясь потом и чувствуя, как сорочка прилипает к его взмокшей спине.

— Видишь ли, сынок, дела этого так просто не решишь: Цезарина сама себе хозяйка, да и у матери свои виды. Поэтому возьми себя в руки, вытри глаза, умерь свои сердечные порывы и никогда больше не заикайся об этом. По мне, ты зять подходящий: племянник Рагонов, почему бы тебе, как и всякому другому, не выбиться в люди? Только тут всяких «но» да «если» не оберешься. И дернула тебя нелегкая заговорить об этом, когда нам нужно дело обсудить! Вот что, садись-ка ты на лавочку и обратись из влюбленного в приказчика. Послушай, Попино, мужественный ли ты человек? — сказал он, вглядываясь в лицо Ансельма. — Хватит ли у тебя смелости бороться с тем, кто сильнее тебя, схватиться с противником грудь с грудью?

— Да, сударь.

— А выдержишь ли ты долгую, опасную борьбу?

— О чем вы говорите?

— О том, как нам утопить «Макассарское масло»! — ответил Бирото, выпрямляясь, словно герой Плутарха. — Не будем обольщаться, враг силен, прекрасно вооружен, грозен. «Макассарское масло» ловко пустили в ход. Задумано превосходно. Квадратные флаконы привлекают внимание своей оригинальной формой. Для моего масла я сначала думал заказать треугольные, но по зрелом размышлении решил, что лучше будут маленькие бутылочки из тонкого стекла, оплетенные тростником; у них будет такой таинственный вид, а покупатель любит все заманчивое.

— Это не дешево обойдется, — заметил Попино. — Нам надо затратить как можно меньше средств, чтобы привлечь розничных торговцев значительной скидкой.

— Правильно, мой милый, что верно, то верно. Не забудь, за «Макассарское масло» будут биться: оно кажется полезным, у него такое завлекательное название. Его выдают за заграничное, а наше, как на горе, отечественного происхождения. Слушай, Попино, хватит ли у тебя сил уничтожить «Макассарское масло»? Правда, ты возьмешь верх над ним по части вывоза за океан: кажется, Макассар действительно находится где-то там в Индии, и, мне думается, естественнее посылать индусам французские изделия, чем отсылать им то, что они нам якобы поставляют. К твоим услугам люди, торгующие с колониями. Но нам надо бороться и за границей, и у нас в провинции! Ведь рекламы уши всем прожужжали о «Макассарском масле»; нечего себя зря обнадеживать, оно всех покорило, всюду проникло, публика его ценит.

— А я его погублю! — воскликнул Попино, и глаза его засверкали.

— Но как? — спросил Бирото. — Ох уж эта мне молодежь! Однако выслушай меня до конца.

Ансельм вытянулся, как солдат, стоящий перед маршалом Франции.

— Попино, я выдумал масло для ращения волос, оно питает кожу на голове и сохраняет цвет волос как у мужчин, так и у женщин. Оно будет пользоваться не меньшим успехом, чем мой крем и туалетная вода, но сам я не хочу заниматься продвижением этого открытия, ибо собираюсь оставить торговлю. Это тебе, сынок, придется распространять мое *«Комагенное масло»* — от латинского слова *кома*, что значит волосы, как объяснил мне господин Алибер, лейб-медик. Это слово встречается в трагедии «Береника», где Расин вывел короля Комагенского, любовника прекрасной королевы, прославившейся своими роскошными волосами; по-видимому, из желания польстить своей возлюбленной этот король назвал так свое королевство. Как проницательны гениальные люди! Ничто не ускользнет от их взоров.

Юный Попино с серьезным видом слушал эту галиматью, очевидно, предназначенную специально для него, как человека образованного.

— Ансельм! Я остановил свой выбор на тебе, решив основать новый торговый дом на Ломбардской улице, — заявил Бирото. — Я буду твоим тайным компаньоном и дам тебе денег на обзаведение. Пусть только пойдет «Комагенное масло», и мы попробуем выпустить ванильную эссенцию и мятный спирт. Словом, мы произведем переворот в аптекарском и парфюмерном деле, станем продавать не натуральные масла, а концентрированные. Ну, молодой честолюбец, доволен ли ты?

Ансельм не мог выговорить ни слова, он был просто подавлен такими милостями, но его полные слез глаза говорили лучше всяких речей. Предложение парфюмера, казалось, было продиктовано отеческой снисходительностью, — Бирото как бы говорил ему: «Добейся богатства и уважения — и ты заслужишь Цезарину!»

— Сударь, — выговорил наконец Попино, приняв взволнованность Бирото за удивление, — я обязательно добьюсь успеха!

— Вот и я был когда-то таким, — воскликнул парфюмер, — я ответил бы точно так же. Если ты и не станешь мне зятем, то богачом обязательно будешь. Но что с тобой, мой милый?

— Позвольте мне надеяться, что, добившись одного, я достигну и другого.

— Я не могу запретить тебе надеяться, дружок, — сказал Бирото, тронутый тоном Ансельма.

— Если так, сударь, могу я сегодня же начать искать помещение для лавки? Ведь надо поскорее приняться за дело.

— Да, дружок. Завтра мы запремся с тобой вдвоем на фабрике. Прежде чем начать поиски на Ломбардской улице, ты зайди к Ливингстону, узнай, можно ли будет завтра пустить в ход мой гидравлический пресс. Сегодня в обед мы отправимся с тобой к знаменитому ученому, добрейшему господину Воклену, и посоветуемся с ним. Он как раз занимается сейчас изучением строения волос, недавно он исследовал свойства их красящего вещества, его происхождение, а также самой ткани волоса. В этом вся суть дела, Попино. Тебе передам я свое открытие, а ты уж постарайся хорошенько им воспользоваться. Прежде чем идти к Ливингстону, забеги к Пьеру Бенару. Друг мой, бескорыстие господина Воклена приносит мне величайшее огорчение: невозможно уговорить его принять хоть какой-нибудь подарок. К счастью, я узнал от Шифревиля, что ему хотелось иметь гравюру «Дрезденской мадонны», работы некоего Мюллера; и вот после двухлетней переписки с Германией Бенар наконец разыскал оттиск этой гравюры на китайской бумаге, без надписи; стоит гравюра полторы тысячи франков. Сегодня наш благодетель должен увидеть ее у себя в передней, когда пойдет нас провожать, ты уж позаботься, чтоб к этому времени к гравюре была готова рама. Так мы с женой напомним ему о себе, ну а о нашей благодарности и говорить не приходится, вот уж шестнадцать лет, как мы за него каждый день бога молим. Никогда в жизни я его не забуду, но знай, Попино: ученые, углубленные в науку, забывают все — жену, друзей, осчастливленных ими людей. Мы, простые смертные, умом не блещем, но сердце у нас горячее. И это утешительно: не всем же быть профессорами. У господ академиков все ушло в ум; их никогда в церкви не увидишь. Господин Воклен день-деньской проводит, запершись у себя в кабинете или в лаборатории; хочется верить, что он вспоминает бога, изучая его творения. Итак, решено: я обеспечу тебя необходимыми средствами для торговли, передам тебе свое открытие, мы будем вести дело на половинных началах, и письменный договор нам не нужен. Лишь бы нам повезло, а мы уж с тобой поладим. Ступай, дружок, я пойду по делам. Послушай-ка, Попино, через три недели я даю большой бал, закажи себе фрак, ты должен появиться на балу уже как коммерсант с весом...

Это последнее проявление доброты так растрогало Попино, что он схватил большую руку Цезаря и поцеловал ее. Влюбленному юноше польстило доверие парфюмера, а влюбленные ни в чем не знают удержу.

«Бедный малый! — сказал себе Бирото, глядя, как Ансельм побежал через Тюильрийский сад. — Вот было бы хорошо, если бы Цезарина его полюбила! Но он хромает, волосы у него как медь, а молодые девушки такие привередницы! Не верится мне, чтобы Цезарина... Да и мать спит и видит выдать ее за нотариуса. С Александром Кротта она жить будет в богатстве; коли деньги есть, все хорошо, а в бедности никакое счастье невозможно. Впрочем, пусть дочь сама решает, лишь бы глупостей не натворила».

Соседом Бирото был небогатый торговец зонтиками и тростями, некто Кейрон, уроженец Лангедока; дела его шли плохо, и Бирото не раз выручал его деньгами. Кейрон с удовольствием уступил бы богатому парфюмеру свои две комнаты на втором этаже, а сам перебрался бы в помещение за лавкой, чтобы поменьше платить домовладельцу.

— Вот что, сосед, — фамильярно сказал Бирото, входя в лавку торговца зонтиками, — жена согласилась расширить нашу квартиру! Если хотите, пойдем сегодня в одиннадцать часов к господину Молине.

— Дорогой господин Бирото, — ответил торговец зонтиками, — я и не заикался об отступных, но сами понимаете, на то мы и купцы, чтобы извлекать из всего выгоду.

— Черт побери! — возразил парфюмер. — Что ж, я деньги лопатой загребаю? И кто его знает, согласится ли еще архитектор, которого я вызвал, выполнить мой проект? Прежде чем заключить сделку, сказал он мне, надо проверить, на одном ли уровне находятся квартиры. Затем необходимо получить у господина Молине разрешение пробить стену для двери, да еще вопрос, общая ли это стена? Кроме того, придется повернуть лестницу и переместить площадку, чтобы можно было прямо переходить из дома в дом. Вот сколько у меня расходов, а разоряться я не намерен.

— Что вы, сударь! — воскликнул южанин. — Скорее солнце с землей поженятся и у них народятся детки-планетки, чем вы разоритесь.

Бирото погладил себе подбородок, приподнялся на носки и грузно опустился на пятки.

— Притом же, — продолжал Кейрон, — я прошу вас только взять у меня кое-какие векселя.

Кейрон подал парфюмеру пачку из шестнадцати векселей на пять тысяч франков.

— А-а! — протянул парфюмер, перелистывая векселя, — все краткосрочные, на два, на три месяца...

— Возьмите их хотя бы из шести процентов, — подобострастно попросил Кейрон.

— Да что я — ростовщик? — укоризненно сказал парфюмер.

— Господи, я ходил, сударь, к вашему бывшему приказчику дю Тийе; он наотрез отказался принять эти векселя. Видно, хотел выведать, за сколько я согласен их уступить.

— Не знаю я что-то этих подписей, — сказал парфюмер.

— Немудрено, это все продавцы вразнос, в нашей торговле немало забавных фамилий!

— Ладно, всех взять не обещаю, но самые краткосрочные возьму.

— Четырехмесячных векселей здесь наберется на тысячу франков. Неужели мне из-за этой тысячи кланяться в ноги кровопийцам, которые высасывают из нас все наши доходы! Сделайте милость, возьмите все. Если бы я мог учесть векселя... Но у меня нет никакого кредита, вот это и губит нас, мелких торговцев.

— Ну, ладно, будь по-вашему, принимаю все векселя. Селестен с вами расплатится. Будьте готовы к одиннадцати часам. А вот и мой архитектор, господин Грендо, — прибавил парфюмер, увидав входившего молодого человека, с которым он познакомился накануне, когда был у г-на де ла Биллардиера. — Вопреки обычаю талантливых людей, вы аккуратны, сударь, — сказал Цезарь с изысканной любезностью коммерсанта. — Если, как выразился один монарх, остроумный человек и великий политик, аккуратность — вежливость королей, то для купца она — клад. Время дорого, время — деньги, особенно для вас, художников. Архитектура, позволю себе сказать, объединяет все виды искусства. Мы поднимемся с вами наверх, минуя лавку, — прибавил он, указывая на дверь своего дома.

Четыре года назад г-н Грендо получил первую премию по архитектуре; он недавно вернулся из Рима, где пробыл три года на казенный счет. В Италии молодой художник думал об искусстве, в Париже — о карьере. Только правительство может отпускать архитектору миллионы, необходимые ему для утверждения своей славы; ведь так естественно по возвращении из Рима возомнить себя Фонтеном или Персье, и всякий честолюбивый архитектор склонен придерживаться правительственного курса; либеральный студент Грендо стал архитектором-роялистом и старался заручиться покровительством влиятельных лиц. Когда художник ведет себя подобным образом, товарищи называют его интриганом. У молодого архитектора был выбор: либо ублажить парфюмера, либо хорошо заработать на нем. Но Бирото — помощник мэра, Бирото — будущий владелец половины земельных участков в районе церкви Мадлен, где рано или поздно непременно вырастут прекрасные здания, был нужным для него человеком. Грендо решил поэтому пожертвовать сегодняшним барышом ради будущих благ. Он терпеливо выслушал планы, предложения, соображения Бирото, одного из тех буржуа, которые являются неизменной мишенью для острот и насмешек презирающих их художников, и почтительно последовал за парфюмером, кивая головой в знак согласия с его замыслами. Когда Цезарь подробно все объяснил, молодой архитектор кратко изложил Бирото его же собственный план.

— Три окна у вас выходят на улицу и одно внутреннее окно — на площадку лестницы. К этим четырем окнам вы добавите еще два из соседнего дома, которые находятся с ними на одном уровне, а лестницу повернете таким образом, чтобы все комнаты со стороны улицы составили один общий этаж.

— Вы отлично поняли меня, — с удивлением сказал парфюмер.

— Чтобы осуществить ваш план, нам придется осветить новую лестницу сверху и устроить каморку привратника в цоколе.

— В цоколе?

— Да, это основание, на котором будет покоиться...

— Понимаю, сударь, понимаю...

— Ну, а по части расположения комнат и их убранства предоставьте мне свободу действий. Я хочу сделать их достойными...

— Достойными! Вы нашли нужное слово, сударь.

— Какой срок даете вы мне для переделки квартиры?

— Три недели.

— Какую сумму вы отпускаете на работы? — спросил Грендо.

— А во что обойдется такой ремонт?

— Архитектор подсчитывает стоимость нового здания с точностью до одного сантима, — ответил молодой человек, — но так как мне не приходилось еще обставлять буржуа... простите, сударь, это выражение вырвалось у меня невольно, — предупреждаю вас, что заранее определить стоимость перестройки или ремонта нельзя. Боюсь, что и через неделю я не смогу представить вам даже черновой сметы расходов. Доверьтесь мне: у вас будет великолепная лестница с верхним светом, красивый парадный подъезд, а в цоколе...

— Опять этот цоколь!

— Не беспокойтесь, я найду место и для каморки привратника. Я с большим старанием и любовью займусь переделкой и убранством вашего жилища. Да, сударь, для меня искусство важнее денег! Кроме того, разве можно выдвинуться, не заставив людей говорить о себе? Я полагаю, лучшее средство — это не идти на темные сделки с подрядчиками, а добиваться прекрасных результатов при незначительных затратах.

— С такими взглядами, молодой человек, — сказал Бирото покровительственным тоном, — вы далеко пойдете!

— Значит, — продолжал Грендо, — с каменщиками, малярами, слесарями, столярами, плотниками вы договариваетесь сами. Я беру на себя только проверку их счетов. Я прошу у вас только две тысячи франков гонорара, и вы не пожалеете затраченных денег. Очистите мне завтра к полудню помещение и предоставьте рабочих.

— Все же сколько приблизительно придется мне затратить денег? — спросил Бирото.

— От десяти до двенадцати тысяч франков, — ответил Грендо. — Но я не считаю обстановки, которую вы, конечно, захотите обновить. Вы дадите мне адрес вашего обойщика, мне нужно вместе с ним подобрать цвета, чтобы ничем не погрешить против хорошего тона.

— Мой поставщик — господин Брашон, улица Сент-Антуан, — с видом владетельного герцога ответил парфюмер.

Архитектор вынул маленькую книжечку, подарок какой-нибудь хорошенькой женщины, и записал адрес.

— Итак, сударь, — сказал Бирото, — я полагаюсь на вас. Повремените немного с началом работ, мне надо договориться об уступке двух комнат в соседнем доме и получить разрешение пробить стену.

— Известите меня запиской сегодня вечером, — попросил архитектор. — Мне придется за ночь составить планы, а мы предпочитаем работать на буржуа, чем на прусского короля, то есть не работать впустую. Пока я измерю высоту комнат, величину окон, простенков...

— Вы должны непременно закончить все к назначенному дню; иначе лучше и не начинать.

— Будьте спокойны! — ответил архитектор. — Работы будут идти днем и ночью; мы применим новые способы просушки стен. Но только смотрите, как бы вас не подвели подрядчики, заранее сторгуйтесь и подпишите с ними письменные обязательства!

— Париж — единственный город в мире, где можешь, словно волшебник, творить чудеса, — сказал Бирото, сопровождая свои слова величественным жестом, достойным какого-нибудь восточного повелителя из «Тысячи и одной ночи». — Надеюсь, вы окажете мне честь присутствовать у нас на балу, сударь. Далеко не все талантливые люди презирают купечество, и вы, несомненно, встретите у меня крупнейшего ученого, академика, господина Воклена; будет и господин де ла Биллардиер, и граф до Фонтэн, и господин Леба, и председатель коммерческого суда; будут представители судейского сословия: граф де Гранвиль из королевского суда, господин Попино, член суда первой инстанции, господин Камюзо из коммерческого суда и его тесть господин Кардо... Возможно, пожалует даже герцог де Ленонкур, первый камергер короля. Я приглашаю друзей для того... чтобы отпраздновать освобождение Франции... и отметить... награждение меня орденом Почетного легиона...

Грендо сделал неопределенный жест.

— Быть может... я заслужил эту награду и... монаршую милость... ведь я был членом коммерческого суда... я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, там я был ранен Наполеоном... Эти заслуги...

В эту минуту Констанс в утреннем туалете вышла из спальни Цезарины, где она одевалась; одного взгляда жены было достаточно, чтобы прервать излияния Бирото, который подыскивал наиболее простые выражения, стараясь с надлежащей скромностью познакомить ближнего своего с собственным величием.

— Вот познакомься, милочка: господин де Грендо, человек молодой, но всеми уважаемый и даровитый. Господин де ла Биллардиер рекомендовал мне его в качестве архитектора, чтобы произвести кое-какие незначительные переделки в нашей квартире.

Цезарь незаметно от жены сделал знак архитектору, приложив палец к губам при слове «незначительные», и архитектор его отлично понял.

— Констанс, господину де Грендо надо измерить площадь и высоту комнат. Предоставь ему эту возможность, дорогая, — сказал Бирото и выскользнул на улицу.

— Дорого все это обойдется? — спросила Констанс архитектора.

— Нет, сударыня, около шести тысяч франков.

— Около! — воскликнула г-жа Бирото. — Сударь, я прошу вас, не начинайте работ без сметы и договора. Я знаю обычай господ подрядчиков: шесть тысяч на деле означает двадцать тысяч. Мы не вправе позволить себе подобное сумасбродство. Мой муж, конечно, хозяин у себя дома, но прошу вас, сударь, дайте ему время подумать.

— Сударыня, господин помощник мэра настоятельно просил меня закончить работы в три недели; если мы запоздаем, вы только напрасно понесете расходы.

— Расходы расходам рознь, — заметила прекрасная парфюмерша.

— Ах, сударыня, неужели вы полагаете, что для архитектора, мечтающего воздвигать памятники, такое уж завидное дело ремонтировать квартиру? Я согласился заняться этим единственно из уважения к господину де ла Биллардиеру, и если вы страшитесь расходов...

Он сделал вид, будто собирается уйти.

— Хорошо, сударь, хорошо, — заторопилась Констанс и, вернувшись в спальню, бросилась на грудь Цезарины.

— Ах, дочка! твой отец, видно, решил разориться. Он пригласил архитектора, — тот носит усы и эспаньолку и собирается воздвигать памятники! Он готов разнести весь дом, чтобы попытаться устроить нам новый Лувр. Цезарю всегда не терпится натворить глупостей; ночью он рассказал мне о своем проекте, а утром уже приводит его в исполнение.

— Полно, мама, пусть папа поступает, как хочет, господь бог ему всегда помогал, — сказала Цезарина, целуя мать; затем она села за пианино, желая показать архитектору, что и дочь парфюмера не чужда искусству.

Когда архитектор вошел в спальню, он был изумлен красотой Цезарины и остановился как вкопанный.

Цезарина вышла из своей комнатки в утреннем капоте, свежая и румяная, как бывает свежа и румяна девушка в восемнадцать лет; стройная и тоненькая, белокурая, с голубыми глазами, она поразила архитектора своей гибкостью, столь мало свойственной парижанкам, нежным цветом лица любимого художниками оттенка, с сетью голубых жилок, пульсирующих под тонким покровом. Хотя она выросла и жила в душной атмосфере парижской лавки, где воздух плохо освежается и куда редко заглядывает солнце, жизнь ее сложилась так, что она цвела здоровьем, как римлянка, выросшая среди природы, на берегу Тибра. Пышные, как у отца, волосы, которые она зачесывала кверху, открывали прелестные линии шеи, на плечи ее спускались локоны, тщательно завитые, как у всех продавщиц, которых желание привлечь внимание заставляет с чисто английской педантичностью относиться ко всем мелочам туалета. Красота этой цветущей девушки не была красотой английской леди или французской герцогини, то была красота цветущей белокурой фламандки с полотен Рубенса. У Цезарины был вздернутый, как у отца, нос, но значительно тоньше выточенный и походивший на истинно французские носы, которые так хорошо изображал Ларжильер. Кожа ее, напоминавшая гладкую и упругую ткань, говорила о девичьей свежести и нерастраченных силах. У нее был прекрасный лоб, как у матери, но отмеченный безмятежной ясностью девушки, не ведающей никаких забот. Голубые глаза с поволокой светились нежной ласковостью счастливой юности. Если счастье лишило ее головку той поэтичности, какой художники наделяют свои создания, придавая им несколько преувеличенную задумчивость, то все же смутное томление, знакомое молодым девушкам, привыкшим всегда жить под материнским крылышком, придавало ей нечто идеальное. Несмотря на свое изящество, Цезарина отличалась крепким сложением, ноги ее выдавали крестьянское происхождение отца, вдобавок у нее были красные, как у мещанок, руки. Чувствовалось, что рано или поздно она располнеет. Наблюдая в лавке за молодыми элегантными женщинами, она в конце концов переняла у них манеру одеваться, поворачивать голову, разговаривать, двигаться, подражая дамам из общества, и она кружила головы всем знакомым молодым людям; приказчикам она казалась необыкновенно изысканной. Попино поклялся себе, что ни на ком не женится, кроме Цезарины. Только эта нежная, полувоздушная блондинка, готовая разрыдаться от малейшего упрека, могла дать ему почувствовать его мужское превосходство. Эта очаровательная девушка возбуждала к себе любовь, не оставляя времени подумать, хватит ли у нее ума, чтобы удержать это чувство; но кому нужен пресловутый парижский ум в среде, где основой счастья является здравый смысл и добродетель? Своим нравственным обликом Цезарина походила на мать, только все в ней было утонченнее благодаря воспитанию; она любила музыку, рисовала карандашом «Мадонну» Рафаэля, читала книги г-жи Коттен и г-жи Риккобони, Бернарден де Сен-Пьера, Фенелона, Расина. Она никогда не сидела за конторкой, разве только за несколько минут до обеда или когда — в исключительных случаях — заменяла мать. Отец и мать, как все новоиспеченные буржуа, делали все, чтобы привить дочери неблагодарность: ставя ее выше себя, они боготворили Цезарину, но, к счастью, девушка обладала мещанскими добродетелями и не злоупотребляла любовью родителей.

Госпожа Бирото следила за архитектором с тревожным и умоляющим видом, с ужасом указывая дочери на причудливые движения складного метра, этой трости архитекторов и подрядчиков, которым Грендо измерял помещение. В ударах этого магического жезла ей мерещились зловещие предзнаменования, ей хотелось бы видеть стены менее высокими, комнаты менее просторными, она не решалась даже расспросить молодого человека о последствиях его колдовства.

— Будьте спокойны, сударыня, я ничего не унесу, — сказал с улыбкой художник.

Цезарина не могла удержаться от смеха.

— Сударь, — взмолилась Констанс, не заметив шутки архитектора, — будьте экономны, мы вас отблагодарим...

Прежде чем направиться к господину Молине, владельцу соседнего дома, Цезарь решил взять в конторе Рогена составленный домашним порядком договор о переуступке помещения, который должен был ему подготовить Александр Кротта. Выходя на улицу, Бирото в окне кабинета Рогена увидел дю Тийе. Хотя связь его бывшего приказчика с женой нотариуса была достаточным объяснением пребывания дю Тийе в этом доме в час, когда там подготовлялись акты на земельные участки, все же Бирото, несмотря на крайнюю свою доверчивость, встревожился. Судя по возбужденному лицу дю Тийе, в кабинете о чем-то спорили.

«Неужели он имеет отношение к этому делу?» — подумал Бирото, поддаваясь свойственной купцу недоверчивости.

Подозрение, как молния, прорезало его мозг. Он обернулся и разглядел в окне г-жу Роген: тогда присутствие банкира перестало казаться ему столь подозрительным.

— А вдруг Констанс все-таки права? — спросил он сам себя. — Нет, что за глупость, прислушиваться к женским бредням! Впрочем, сегодня же поговорю об этом с дядей. От Батавского подворья, где живет Молине, до улицы Бурдонне рукой подать.

Человек недоверчивый, коммерсант, уже имевший дело с мошенниками, был бы спасен; но все прошлое Бирото, его неразвитой ум, лишенный способности схватывать и сопоставлять факты, способности, приводящей одаренного человека к пониманию причин происходящего, погубили его. Принарядившийся торговец зонтиками ожидал парфюмера, и они уже направились было к домовладельцу, когда Виржини, кухарка Бирото, схватила хозяина за рукав.

— Сударь, барыня просит вас не уходить из дому...

— Вот еще, — воскликнул Бирото, — опять женские причуды!

— Пока вы не выпьете чашку кофе, он уже подан.

— Что ж, пожалуй. Сосед, — обратился Бирото к Кейрону, — у меня столько дел в голове, что я забываю о желудке. Не откажите в любезности, идите, не ожидая меня; встретимся у дверей Молине, а еще лучше, подымитесь к нему, объясните наше дело. Мы так сбережем время.

Господин Молине был мелкий рантье, чудак, какие встречаются лишь в Париже, как определенный вид моха-лишайника произрастает лишь в Исландии. Сравнение это тем более уместно, что Молине принадлежал к странным существам, сочетавшим в себе свойства растительного и животного мира, и новый Мерсье отнес бы его к тем тайнобрачным, которые растут, цветут и увядают на карнизах, в трещинах или у подножия стен старинных и зловонных домов, где существа эти по преимуществу и встречаются. На первый взгляд это человекорастение из класса зонтичных, обладавшее синим круглым картузом, венчавшим его голову, раздвоенным стеблем, облеченным в зеленые панталоны, луковичными корнями, запрятанными в мягкие покромчатые туфли, белесоватой и плоской физиономией, не принадлежало к ядовитому виду. В этом чудаковатом субъекте вы признали бы типичного держателя акций, который верит всем слухам, закрепленным типографской краской в периодической печати, и на все имеет один ответ: «Прочтите газету!» Буржуа по природе своей — друг порядка, на словах он склонен идти против правительства, которому тем не менее неизменно послушен; вообще это существо слабое, но иной раз — свирепое; бесчувственный, как судебный пристав, когда дело коснется его имущественных прав, буржуа заботливо кормит семенами курослепа птиц и рыбьими костями — кошку, перестает писать расписку в получении квартирной платы, чтобы насвистать мотив канарейке; недоверчивый, как тюремщик, он все же вкладывает свои деньги в сомнительные предприятия и пытается затем наверстать потерянное мерзкой скупостью. Зловредность подобного гибрида обнаруживалась лишь при тесном соприкосновении с ним: чтобы почувствовать его отвратительную горечь, надо покипеть с ним в одном котле, когда его интересы сталкиваются с интересами других. Как все парижане, Молине испытывал потребность господствовать, он жаждал власти, какою в той или иной мере обладает любой человек, даже привратник, по отношению к большему или меньшему количеству своих жертв; всякий кого-нибудь да тиранит: жену, ребенка, жильца, приказчика, лошадь, собаку или обезьяну, срывая на них злобу от обид, полученных в более высоких сферах, куда каждый стремится. Маленький, нудный старикашка, Молине не имел ни жены, ни детей, ни племянника, ни племянницы; он жестоко помыкал экономкой, но не мог превратить ее в козла отпущения, ибо она всячески избегала общения с ним, тщательно исполняя при этом свои обязанности. Его снедала жажда тирании; ради удовлетворения ее он терпеливо и досконально изучил законы о найме квартир, о смежных стенах, искусно толковал все правила, касающиеся жилых домов, границ участков, различных налогов, уборки улиц и тротуаров, праздничного убранства города, освещения, сточных труб, недопустимости загромождения улиц выступающими на тротуар зданиями и близости смрадных помещений. Его способности, деятельность, весь его ум были направлены на то, чтобы всегда быть готовым отстоять в бою свои права домовладельца; для него это была забава, но такая забава смахивала на манию. Он охотно выступал «против незаконных посягательств на права сограждан», на поводы для жалоб были относительно редки, и эта страсть под конец обратилась против его жильцов. Жилец становился его врагом, его подчиненным, его подданным, его вассалом; он требовал к себе уважения и считал грубияном всякого, кто молча проходил мимо него по лестнице. Молине собственноручно писал счета и отсылал их в полдень, когда наступал срок платежа. Неисправный плательщик получал требование об уплате с указанием предельного срока. Ну, а затем — опись имущества, судебные издержки, вся судейская кавалерия обрушивалась на несчастного со скоростью того приспособления, которое палач называет *механикой*. Молине не допускал ни отсрочек, ни запозданий, сердце его превращалось в камень, едва речь заходила о квартирной плате.

— Я дам вам взаймы, если вы сейчас стеснены в средствах, — заявлял он платежеспособному жильцу, — но внесите в срок квартирную плату, всякое промедление влечет за собой потерю на процентах, которую закон нам не возмещает.

После длительного изучения своенравных прихотей жильцов, которые представлялись ему сплошь сумасбродами, ибо, сменяясь, они обычно разрушали то, что было сделано их предшественниками, словно царствующие династии, Молине даровал жильцам свою собственную хартию и свято ее соблюдал. К слову сказать, старикашка-домовладелец никогда не производил ремонта: печи у него не дымили, лестницы блистали чистотой, потолки оставались белыми, карнизы безупречными, паркеты не прогибались, штукатурка не обваливалась; замки были недавно куплены, все стекла целы, стены не трескались; поломки он замечал, лишь когда жильцы съезжали с квартиры, передача ее домовладельцу происходила в присутствии слесаря, маляра и стекольщика: «Это все народ покладистый, — говорил он, — дорого с вас не возьмут». Впрочем, нанимателю предоставлялось право заново отделывать квартиру; но стоило неосторожному осуществить это право, как Молине начинал день и ночь ломать себе голову, как бы выжить жильца и завладеть отремонтированным помещением: он выслеживал несчастного, подстерегал, пускался во все тяжкие. Он прекрасно разбирался во всех тонкостях парижского законодательства о сдаче помещений в наем. Сутяга и крючкотвор, он писал сладенькие, любезные письма жильцам; но этот стиль, так же как и его приторные, вкрадчивые манеры, скрывали душу Шейлока. Он неизменно требовал платы за полгода вперед, засчитывал ее за последний период найма и изобретал целую систему стеснительных условий. Он проверял, какова обстановка жильца, и прикидывал, может ли она служить залогом. Лишь только появлялся новый жилец, Молине, как сыщик, собирал о нем сведения, ибо он избегал некоторых профессий, малейшие странности жильца его пугали. Когда предстояло заключать договор с квартирантом, он обдумывал его целую неделю, опасаясь что-либо упустить и попасть впросак. Тому, кто не знал его как домовладельца, Жан-Батист Молине казался добрым, услужливым человеком; играя в бостон, он не пилил неумелого партнера; смеялся над тем, над чем смеются все буржуа, болтал о том, о чем все болтают: о возмутительном поведении булочников, обвешивающих покупателей, о попустительстве полиции, о семнадцати геройских депутатах «левой». Молине читал «Здравый смысл священника Мелье[[12]](#footnote-12)» и ходил к обедне, не в силах решить спора между деизмом и христианством, но он никогда не подавал просфоры и всегда возмущался наглыми поборами духовенства. Неутомимый кляузник, он осаждал бесконечными письмами газеты, но те их не печатали и оставляли без ответа. Словом, Молине вел себя, как всякий почтенный буржуа, который торжественно кладет в камин рождественское полено, играет в короли, изощряется в первоапрельских шутках, в хорошую погоду прогуливается по бульварам, охотно глазеет на конькобежцев, а в дни фейерверков уже в два часа спешит, с булкой в кармане, на площадь Людовика XV, чтобы занять местечко получше.

Батавское подворье, где проживал этот старикашка, возникло в результате одной из тех странных спекуляций, которые становятся непонятными, лишь только они завершены. Это здание монастырского типа с арками и внутренними галереями, сложенное из тесаного камня, с жаждущим влаги фонтаном, разевающим львиную пасть не для того, чтобы извергать воду, а выпрашивать ее у прохожих, — это здание бесспорно было придумано для украшения квартала Сен-Дени неким подобием Пале-Рояля. В этом подворье, затхлом, сдавленном со всех сторон высокими домами, жизнь и движение наблюдаются только днем, это — средоточие темных переходов, которые пересекаются здесь и соединяют квартал Центрального рынка с кварталом Сен-Мартен через знаменитую улицу Кенкампуа; в этих закоулках всегда сыро, люди здесь наживают ревматизм; ночью во всем Париже нет места более пустынного, чем эти, сказали бы мы, торговые катакомбы. Здесь немало мелких мастерских, этих промышленных клоак, очень мало батавов и много бакалейщиков. Окна этого дворца торговли выходят во двор, а потому квартирная плата здесь очень низка. Г-н Молине жил в глубине двора; он поселился на седьмом этаже из гигиенических соображений: ведь воздух чист лишь на высоте семидесяти футов над землей. Отсюда этот достойный домовладелец наслаждался чудесным видом Монмартрских мельниц, прогуливаясь по балкону вдоль желобов, где он разводил цветы, невзирая на запрещение парижской полиции устраивать висячие сады в современном Вавилоне. Квартира его состояла из четырех комнат, не считая расположенных над ней дорогих его сердцу «туалетных помещении»: у него хранился от них ключ, они ему принадлежали, он их сам отстроил, все правила были соблюдены. Уже при входе в квартиру неприличная пустота комнат сразу изобличала скупость этого человека: в передней шесть соломенных стульев, печь, облицованная фаянсом, на стенах, оклеенных обоями бутылочного цвета, четыре гравюры, купленные на аукционе; в столовой два буфета, две клетки, полные птиц, стол, накрытый клеенкой, стулья красного дерева, набитые волосом, барометр; застекленная дверь вела к висячим садам; в гостиной дешевенькие занавески потертого зеленого шелка, мебель, выкрашенная в белый цвет и обитая зеленым утрехтским бархатом. В спальне старого холостяка стояла мебель времен Людовика XV, от долгого употребления потерявшая всякий вид и настолько засаленная, что женщина в белом платье не решилась бы сесть, боясь запачкаться. Камин украшали часы с двумя колонками, между ними помещался циферблат, который служил пьедесталом для изображения богини Паллады, потрясающей копьем, — дань мифологии. На полу повсюду стояли миски с объедками для котов, так что некуда было ступить. Над комодом розового дерева висел портрет, сделанный пастелью, — Молине в молодости. На столах валялись книги и какие-то отвратительные зеленые папки; на этажерке красовались чучела чижиков; убранство комнаты довершала кровать, холодная, как ложе кармелитки.

Цезарь Бирото был очарован изысканной вежливостью Молине, который, закутавшись в халат из серого молетона, кипятил молоко на небольшой железной жаровне и осторожно переливал кофейную гущу из маленького глиняного горшочка в кофейник. Оберегая покой домовладельца, торговец зонтиками сам открыл дверь Бирото. Молине преклонялся перед мэрами и их помощниками и называл их «наши муниципальные власти». При виде начальства он встал и остался стоять с фуражкой в руке, пока великий Бирото не сел в кресло.

— Нет, сударь... Да, сударь... Ах! сударь, если бы я знал, что удостоюсь чести лицезреть среди своих пенатов члена муниципалитета города Парижа, поверьте мне, я почел бы за долг самому явиться к вам, хотя я ваш домовладелец или вот-вот им стану...

Бирото жестом попросил старика надеть фуражку.

— Нет, нет, я не покрою головы, пока вы не присядете и сами не наденете шляпы; вы еще простудитесь — в комнате холодновато, скудные доходы не позволяют мне... Будьте здоровы, господин помощник мэра.

Бирото чихнул, доставая приготовленные акты. Он вручил их Молине и, во избежание проволочек, добавил, что нотариус Роген все составил по форме и за его, Бирото, счет.

— Не смею оспаривать осведомленность господина Рогена, имя его издавна пользуется заслуженной известностью среди нотариусов Парижа; но у меня свои привычки, я веду свои дела сам, пристрастие до некоторой степени простительное, и мой нотариус...

— Но наше дело такое простое, — возразил парфюмер, привыкший к быстрым решениям коммерсантов.

— Простое! — воскликнул Молине. — Ничего не бывает просто в делах по найму. Ах! сударь, ваше счастье, что вы не домовладелец! Ежели б вы знали, до чего неблагодарный народ квартиронаниматели и как надо быть с ними начеку! Возьмем такой случай, сударь, — есть у меня жилец...

С четверть часа Молине рассказывал, как г-н Жандрен, рисовальщик, обманывал привратника на улице Сент-Оноре. Г-н Жандрен позволял себе выходки, достойные какого-нибудь Марата, да еще рисовал картинки, оскорбляющие общественное целомудрие, — полиция закрывала на все глаза, потакала ему! Этот Жандрен, человек глубоко безнравственный, приходил домой с женщинами легкого поведения, так что другим жильцам по лестнице и пройти нельзя было: забава, вполне достойная художника, рисующего противоправительственные карикатуры. А почему он пошел на все эти гадости? Да потому, что его попросили вносить квартирную плату ежемесячно пятнадцатого числа. Дело едва не дошло до суда, так как художник ни гроша не платил и сидел в своей пустой квартире. Молине получал анонимные письма, в них не кто иной, как Жандрен, угрожал убить его ночью в закоулках Батавского подворья.

— Да, сударь, — продолжал Молине, — кончилось тем, что мне пришлось обратиться к господину префекту полиции (я воспользовался случаем и сказал ему несколько слов о необходимости изменения законов в этой области), и он разрешил мне носить пистолеты для ограждения моей личной безопасности.

Старикашка встал, чтобы взять пистолеты.

— Вот они, сударь! — воскликнул он.

— Но, сударь, вы можете не опасаться подобных выходок с моей стороны, — сказал, улыбнувшись, Бирото, и во взгляде, брошенном им на Кейрона, явственно читалась презрительная жалость к Молине.

Старик перехватил этот взгляд и был глубоко оскорблен таким отношением со стороны представителя муниципалитета, который обязан защищать своих подопечных. Кому-нибудь другому он бы еще простил, но не Бирото.

— Сударь, — продолжал он сухим тоном, — один из наиболее уважаемых членов коммерческого суда, помощник мэра, именитый купец не интересуется, конечно, подобными мелочами, ибо это мелочи! Но в данном случае необходимо получить согласие вашего домовладельца графа де Гранвиля на пролом стены, необходимо договориться об условиях восстановления стены по окончании срока найма; наконец, сейчас квартирная плата крайне низка, но она возрастет, квартиры на Вандомской площади вздорожают, они уже сейчас дорожают! Проложат улицу Кастильоне! Я себя связываю... связываю...

— Давайте кончать, — промолвил озадаченный Бирото, — сколько вы просите? Я сам деловой человек и понимаю, что все доводы бледнеют перед высшим доводом — деньгами! Итак, сколько вы просите?

— Справедливую цену, господин помощник мэра. На сколько лет снимаете вы квартиру?

— На семь лет, — ответил Бирото.

— Воображаю, сколько через семь лет будет стоить мой второй этаж! — воскликнул Молине. — Какую цену мне предложат за две меблированные комнаты в таком квартале? Пожалуй, не пожалеют и двухсот франков в месяц, а то и больше. А договором я себя связываю, связываю по рукам и ногам. Ну, пусть будет полторы тысячи франков в год. За эту цену я согласен выделить две комнаты из квартиры господина Кейрона, — сказал он, бросая косой взгляд в сторону торговца, — я подписываю с вами договор на семь лет. Пролом стены идет за ваш счет, если граф де Гранвиль даст свое согласие и откажется от всяких претензий. Вы несете ответственность за последствия этого пролома, я принимаю на себя обязательство восстановить стену, но в виде возмещения вы уплатите мне пятьсот франков: мы все под богом ходим, я не желаю никому кланяться и просить, чтобы мне восстановили стену.

— Условия эти для меня, пожалуй, более или менее приемлемы, — согласился Бирото.

— Теперь дальше, — продолжал Молине, — вы мне отсчитаете hic et nunc[[13]](#footnote-13) семьсот пятьдесят франков, зачисляемые в уплату за последние полгода, в чем я выдам вам расписку. Э, дабы не потерять гарантий, я согласен принять векселя на небольшие суммы, так называемые квартиронанимательские векселя на какой угодно срок. В делах я сговорчив, тянуть нам не к чему. Итак, по рукам, да еще обусловим, что вы заделаете дверь на мою лестницу и отказываетесь от всяких прав на нее... и на свои средства... закладываете ее кирпичом. Будьте спокойны, я не потребую возмещения расходов по разборке кирпича после истечения срока договора; я включаю их в те же пятьсот франков. Вы увидите, сударь, как я справедлив.

— Мы, коммерсанты, не столь мелочны, — заметил парфюмер, — с такими формальностями дела не сладишь.

— Ах, торговля — статья особая, а тем паче парфюмерия, там все идет как по маслу, — с кислой улыбкой проговорил Молине. — Но в квартирных делах, сударь, в Париже ничего нельзя упускать. К примеру, есть у меня жилец на улице Монторгей...

— Сударь, — перебил его Бирото, — мне очень неприятно, что я мешаю вам завтракать; оставляю вам договор, просмотрите его, я согласен на все ваши требования; подпишем его завтра, а сегодня договоримся окончательно на словах; утром архитектор должен приступить к работе.

— Сударь, — продолжал Молине, поглядывая на торговца зонтиками, — у господина Кейрона истек срок платежа, а он не собирается платить, мы присоединим его обязательства к остальным векселям, и расчеты поведем с января по январь. Так будет удобнее.

— Будь по-вашему, — согласился Бирото.

— Швейцару за услуги, как водится...

— За что же? — возмутился Бирото. — Ведь вы лишаете меня права пользоваться лестницей и парадным... Это несправедливо.

— Но ведь вы квартиронаниматель, — решительно заявил маленький Молине, усевшийся на своего конька, — вы платите налоги на двери и окна, так несите и долю расходов по дому. Когда обо всем договоришься, сударь, все идет гладко. Вы расширяете свою квартиру, значит, дела у вас идут хорошо?

— Неплохо, — подтвердил Бирото. — Но квартиру я расширяю по другой причине. Я приглашаю друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона.

— А! — воскликнул Молине. — Заслуженная награда!

— Да, — заметил Бирото, — быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, там я был ранен Наполеоном; эти заслуги...

— Стоят подвигов славных солдат нашей армии. Орденская ленточка — красная, ибо она обагрена кровью.

Фраза эта, взятая из газеты «Конститюсьонель», польстила Бирото, и он пригласил Молине на бал. Старик рассыпался в изъявлениях благодарности и почти готов был простить парфюмеру его презрение. Он проводил своего нового квартиранта до лестницы, наговорив ему немало любезностей. Уже во дворе Бирото насмешливо взглянул на Кейрона.

— Я и не подозревал, — сказал он, — что существуют такие жалкие люди! — с языка у него чуть не сорвалось слово «глупые».

— Ах, сударь, — проговорил Кейрон, — не всем же обладать вашими талантами.

Бирото мог легко поверить в собственное превосходство, особенно после встречи с Молине; замечание торговца зонтиками вызвало у него довольную улыбку, и он величественно распрощался с Кейроном.

«Вот и рынок, — подумал Бирото, — займемся орешками».

Побродив бесплодно с час по рынку, Бирото, по совету торговок, отправился на Ломбардскую улицу, где продаются орехи для кондитерских изделий; там от своих друзей Матифа он узнал, что оптовую торговлю орехами ведет некая Анжелика Маду, проживающая на улице Перрен-Гасслен, и что только у нее можно найти настоящие лесные орехи и сочные белые орешки Альпийских гор.

Улица Перрен-Гасслен представляет собой разветвление лабиринта, который расположен в четырехугольнике, образуемом набережной и улицами Сен-Дени, Ферронри и Монне, и является как бы чревом Парижа. Сюда стекаются самые разнообразные товары, все свалено в кучу — вонючие селедки и изящный муслин, шелк и мед, масло и тюль; тут полным-полно маленьких лавчонок, о которых и не подозревает Париж, как не подозревает большинство людей о работе поджелудочной железы. Пиявкой, высасывающей все соки из этих торговых заведений, был некто Бидо по прозванию Жигонне, дисконтер с улицы Гренета. Бывшие конюшни заставлены здесь бочками с маслом, каретные сараи доверху набиты кипами бумажных чулок. Здесь находятся оптовые склады всякой снеди, продаваемой в розницу на Центральном рынке. Анжелика Маду, в прошлом торговка рыбой, лет десять назад занялась торговлей «сухими плодами»; она вступила тогда в связь с одним продавцом орехов, чем долго занимала сплетниц Центрального рынка; некогда она была статной, видной женщиной, но с годами чрезмерно располнела. Жила она в первом этаже желтого полуразвалившегося дома, который подпирали железные крестовины. Покойный сожитель ее умудрился отделаться от всех конкурентов и превратил свою торговлю в монополию; невзирая на кое-какие погрешности в образовании, у преемницы его хватило умения продолжать уже налаженное дело; она расхаживала по своим складам, занимавшим каретные сараи, конюшни и бывшие мастерские, успешно воюя там с насекомыми. У нее не было ни конторы, ни кассы, ни счетных книг, ибо она не умела ни читать, ни писать; на письма, которые она принимала как личное оскорбление, тетка Маду отвечала ударом кулака. Впрочем, это была славная краснощекая женщина; поверх чепца она надевала платок, а своим трубным голосом завоевала уважение ломовых извозчиков, привозивших ей товар; перебранки с ними она заливала *белым винцом*. Она не знала никаких недоразумений с крестьянами, продававшими ей орехи за наличный расчет, — то был единственный способ столковаться с ними, а летом тетка Маду отправлялась к ним погостить. Бирото нашел эту первобытную торговку среди мешков с лесными и грецкими орехами и каштанами.

— Добрый день, мамаша, — небрежно сказал Бирото.

— «Мамаша»! — возмутилась она. — Ишь ты какой ласковый! Что мы с тобой, детей вместе крестили?

— Я парфюмер, больше того, я помощник мэра второго округа Парижа. Как представитель власти и покупатель я требую вежливого обращения.

— Венчаюсь я и без вашей помощи, — заявила бой-баба, — в ратуше ничего не покупаю, помощникам мэра ничем не надоедаю. Покупатели мне кланяются, и разговариваю я с ними, как мне угодно. А кому не нравится — скатертью дорога!

— Вот плоды монополии! — проворчал Бирото.

— Пополь? Мой крестник! Неужто он набедокурил? Вы поэтому и пожаловали, милостивый государь? — сказала торговка уже чуть-чуть ласковее.

— Нет, я уже имел честь вам доложить, что пришел как покупатель.

— Ладно, как звать тебя, любезный? Я тебя вижу вроде как впервые.

— Видно, дешево вы продаете орехи, если так разговариваете с покупателями, — заметил Бирото и назвал свою фамилию и звание.

— Ага, так это вы знаменитый Бирото, у которого жена красавица. Сколько же вам надо сахарных орешков, дорогой мой?

— Шесть тысяч фунтов.

— Да это все мои запасы, — сказала торговка, хрипя, как осипшая флейта. — Вы, красавец мой, видно, не ленитесь: и замуж девиц выдаете, и духами их прыскаете. Ну, помогай вам бог! Без дела, знать, не сидите. Так-то! Уж таким покупателем, как вы, гордиться буду, и вы займете место в сердце женщины, которая мне всех дороже...

— Какой женщины?

— Добрейшей госпожи Маду.

— Сколько стоят ваши орехи?

— Только для вас, хозяин, — по двадцать пять франков за сто фунтов, если все забираете.

— По двадцать пять франков, — повторил Бирото, — это выйдет полторы тысячи франков! А мне потребуется, возможно, сотни тысяч фунтов в год.

— Вы только взгляните, что за товар. Отборные! — заговорила она, запуская красную руку в мешок с лесными орехами. — И ни одной гнилушки, сударь. Сами подумайте, бакалейщики продают сплошной мусор по двадцать четыре су за фунт, и на четыре фунта подсунут фунт гнилушек. Не нести же мне убытки в угоду вам? Вы, конечно, красавец мужчина, но еще не вскружили мне настолько голову! Коли вам так много надо, сговоримся на двадцати франках; нельзя же отпускать помощника мэра с пустыми руками, этак еще беду на новобрачных накличешь. Вы только пощупайте, что за товар, какой полновесный! И пятидесяти на фунт не пойдет, сочные все, без единой червоточинки!

— Ладно, пришлите мне шесть тысяч фунтов. Плачу тысячу двести франков; деньги — через три месяца. Улица Фобур-дю-Тампль, завтра утром, прямо ко мне на фабрику.

— Поспешу, как невеста к венцу. Всего хорошего, господин мэр, не поминайте лихом. А лучше уж, — прибавила она, провожая Бирото через двор, — выдали бы вы мне векселя сроком на сорок дней, я и так вам много уступила, зачем же мне терять еще на учете! Хоть у папаши Жигонне и доброе сердце, а высасывает он из нас всю кровь, словно паук.

— Так и быть, векселя на пятьдесят дней! Только уговор, взвешиваем не больше, чем по сто фунтов за раз, чтобы не попадались гнилушки. Иначе дело не пойдет.

— Ишь, собака, такого не проведешь, — проворчала Маду, — и против шерсти не погладишь! Видно, научили его прохвосты с Ломбардской улицы. Эти матерые волки сговорились пожирать нас, бедных овечек.

Овечка была пяти футов ростом, трех футов в обхвате и походила на тумбу, на которую натянули полосатое бумажное платье без пояса.

Парфюмер шел по улице Сент-Оноре, строя планы, измышляя способы борьбы с «Макассарским маслом», придумывая наклейки, форму флаконов и пробок, цвет объявлений. А еще говорят, что торговля лишена поэзии! Ньютон меньше думал над своим знаменитым биномом, чем Бирото над «Комагенной эссенцией», — масло уже превратилось в эссенцию, он переходил от одного названия к другому, не понимая их смысла.

Различные проекты роились в его голове, и он принимал это переливание из пустого в порожнее за творческую деятельность. Поглощенный своими мыслями, он не заметил, как миновал улицу Бурдонне и вынужден был вернуться назад, вспомнив о дяде.

Клод-Жозеф Пильеро, торговавший раньше скобяными товарами в лавке «Золотой колокол», был цельной натурой: платье и нрав, ум и сердце, слова и мысли — все соответствовало в нем одно другому. Он был единственным родственником г-жи Бирото и всю свою привязанность сосредоточил на ней и Цезарине, после того как, будучи еще торговцем, потерял жену и сына, а затем — и приемыша, сына кухарки. Жестокие утраты заставили старика обратиться к христианскому стоицизму, и превосходная эта доктрина озаряла ярким и холодным светом зимнего солнца закат его жизни. Его худое, строгое и темное лицо, в тонах которого гармонически сочетались охра и бистр, поразительно напоминало черты бога Времени, — как его изображают живописцы; но укоренившиеся привычки торговца несколько огрубили этот облик и смягчили монументальный, суровый характер божества, который подчеркивают художники, ваятели и ювелиры, украшая каминные часы. Среднего роста, коренастый и плотный, Пильеро был, казалось, создан для долгой трудовой жизни; его широкие плечи указывали на крепкое сложение; сдержанный и даже сухой внешне, он вовсе не был натурой холодной. Спокойные манеры и непроницаемое лицо свидетельствовали о замкнутости; Пильеро скрывал в глубине души чувствительность, чуждую всякой велеречивости и напыщенности. Его зеленые с черными крапинками глаза поражали неизменной ясностью выражения. Изборожденный морщинами, пожелтевший у висков, невысокий и сдавленный лоб обрамляли седые и коротко остриженные волосы, похожие на бобрик. Тонкий рот обличал человека расчетливого и благоразумного, но не скупого. Оживленный взор говорил о довольстве жизнью и завидном здоровье. Наконец, честность, чувство долга, истинная скромность придавали всему его облику уверенность. Шестьдесят лет вел он суровую и трезвую жизнь неутомимого труженика. Его история напоминала историю Цезаря, только Пильеро везло меньше. Прослужив до тридцати лет приказчиком, он вложил свои сбережения в торговлю в то самое время, когда Цезарь вложил свои деньги в ренту; он испытал на себе последствия «максимума», его лопаты, кирки и скобяные товары были реквизированы. Уравновешенный и спокойный характер, свойственная Пильеро предусмотрительность и математические способности помогли ему выработать собственную манеру работать. Большинство сделок он заключал на слово и редко раскаивался. Наблюдательный, как все вдумчивые люди, он изучал своих ближних, не мешая им говорить; нередко он отказывался от выгодных сделок, соблазнявших его соседей, которые потом раскаивались и уверяли, что Пильеро чует мошенников издалека. Он предпочитал скромный, верный заработок крупным, но рискованным спекуляциям. Пильеро торговал каминными решетками, таганами, чугунными и железными котлами, мотыгами и другими земледельческими орудиями. Такой товар ворочать нелегко, он требует от продавцов довольно большого физического напряжения, а доходы мало соответствовали затраченным трудам; Пильеро зарабатывал гроши на этих громоздких изделиях, неудобных и для перевозки, и для хранения на складе. Немало ящиков пришлось ему заколотить, немало товаров уложить и распаковать, немало принять и отправить подвод. Не нашлось бы, пожалуй, другого состояния, нажитого более достойным, более законным, более честным путем, чем состояние Пильеро. Никогда он не запрашивал цену, никогда не гонялся за покупателями. В последние годы он обычно сидел у порога лавки, покуривая трубку, поглядывая на прохожих и наблюдая за работой приказчика. В 1814 году, когда Пильеро бросил торговлю, состояние его равнялось семидесяти тысячам франков, помещенным в государственные бумаги, что давало ему свыше пяти тысяч франков ежегодной ренты; сверх того в запасе у него оставались еще сорок тысяч, которые ему обязался выплатить безо всяких процентов приказчик, купивший у него лавку. Тридцать лет ежегодный оборот Пильеро составлял примерно сто тысяч франков, прибыль его составляла семь процентов от этой суммы, и половину своих доходов он проживал. Таков был его баланс. Соседи, не завидуя столь скромным доходам, хвалили Пильеро за благоразумие, но не понимали его.

На углу улицы Монне и улицы Сент-Оноре помещается кафе «Давид»; сюда старые коммерсанты, вроде Пильеро, заходят вечерком выпить чашку кофе. Усыновление Пильеро сына своей кухарки нередко являлось там темой осторожных шуток, которые разрешают себе люди и по адресу почтенного человека, а хозяин скобяной лавки внушал окружающим большое уважение, хотя и не домогался его, сам себя уважая. Когда же приемный сын Пильеро умер, больше двухсот человек следовало за гробом бедного юноши, провожая его на кладбище. Старик держался мужественно. Сдержанная скорбь его, скорбь сильных людей, которые не любят выказывать свое горе, усилила симпатии обитателей квартала к этому «славному человеку», как его называли, причем слова эти произносились каким-то особенным тоном, углублявшим и облагораживавшим их смысл. Привыкнув к умеренности и воздержанности, Клод Пильеро не поддался соблазнам праздного существования, которое обычно так разлагает парижских буржуа, удалившихся на покой; он не изменил привычного образа жизни и к старости увлекся политикой, причем держался взглядов «крайней левой». Пильеро принадлежал к тем трудовым слоям населения, которые в результате революции приобрели достаток и приобщились к буржуазии. Поставить в вину ему можно было только то, что он придавал слишком большое значение завоеваниям революции, он дорожил своими правами, свободой — этими плодами революции, он был уверен, что его благосостоянию и политическому спокойствию угрожают иезуиты, тайные козни которых разоблачали либералы, а также образ мыслей, приписываемый газетой «Конститюсьонель» брату короля. В своих убеждениях он был так же последователен, как и в жизни; его политические взгляды не страдали узостью, он никогда не оскорблял противников, побаивался придворных и верил в республиканские добродетели; Манюэля он представлял себе чуждым каких-либо крайностей, генерала Фуа считал великим человеком, Казимира Перье — отнюдь не честолюбцем, Лафайета — политическим пророком, Курье[[14]](#footnote-14) — превосходным человеком. Словом, он был склонен к благородным иллюзиям. Этот достойный старик охотно бывал в семейных домах, он навещал Рагонов, свою племянницу, судью Попино, Жозефа Леба, супругов Матифа. На свои нужды он тратил всего полторы тысячи франков в год. Остальные его деньги уходили на добрые дела и на подарки внучатой племяннице. Четыре раза в год он угощал друзей обедом у ресторатора Ролана на улице Азар и возил их в театр. Он вел себя, как те старые холостяки, которых замужние женщины преспокойно заставляют оплачивать свои прихоти, загородные прогулки, ложу в Опере, катание с гор Божон. Пильеро был счастлив, доставляя удовольствие другим, радовался чужой радостью. Продав лавку, он не захотел переменить квартал, к которому привык, и снял в старом доме на улице Бурдонне небольшую квартирку из трех комнат, помещавшуюся на пятом этаже. Подобно тому как причуды Молине наложили отпечаток на странную обстановку его жилища, так простая и чистая жизнь Пильеро сказалась в убранстве его квартиры, состоявшей из передней, гостиной и спальни, — последняя была чуть побольше монашеской кельи и обставлена столь же скромно. В передней — красный натертый пол, окно, задернутое перкалевыми занавесками с красной каймой, стулья красного дерева, обитые красным сафьяном с золотыми гвоздиками; на стенах, оклеенных темно-зелеными обоями, висели картины: «Клятва американцев», «Сражение при Аустерлице» и портрет Бонапарта — первого консула. Обстановку гостиной, безусловно подобранную обойщиком, составляла желтая мебель с розетками, ковер, камин с бронзовой решеткой без позолоты, разрисованный экран, тумбочка с цветочной вазой под стеклянным колпаком и накрытый ковровой скатертью круглый стол, на котором стоял поднос с ликерным сервизом. Новенькая обстановка этой комнаты достаточно красноречиво говорила о жертве, принесенной светским обычаям стариком Пильеро, редко принимавшим у себя гостей. В спальне, простой, как жилье монаха или солдата, людей, хорошо знающих цену жизни, привлекало внимание висевшее над кроватью в алькове распятие с кропильницей. Такое открытое проявление веры у убежденного республиканца казалось трогательным. Хозяйство Пильеро вела старушка, но его уважение к женщинам простиралось так далеко, что он не позволял служанке чистить его башмаки и постоянно отдавал их чистильщику. Одевался Пильеро всегда просто и одинаково. Обычно он носил синий суконный сюртук и такие же панталоны, пестрый бумажный жилет, белый галстук, закрытые туфли; в праздничные дни надевал фрак с блестящими металлическими пуговицами. Он вставал, завтракал, выходил из дому, обедал, уходил снова по вечерам и возвращался домой всегда в определенный час, справедливо считая правильный образ жизни залогом здоровья и долголетия. Никогда Пильеро не затевал политических споров с Цезарем Бирото, Рагонами, аббатом Лоро, — люди этого кружка слишком хорошо знали друг друга и поэтому не рассчитывали обратить один другого в свою веру. Пильеро, подобно своему племяннику и Рагонам, вполне доверял Рогену. Для него парижский нотариус представлялся человеком почтенным, воплощением честности. Пильеро решил принять участие в спекуляции земельными участками лишь после того, как внимательно рассмотрел этот вопрос, что и объясняло смелость Цезаря, боровшегося с предчувствиями жены.

Парфюмер одолел семьдесят восемь ступенек, которые вели к небольшой коричневой двери дядиной квартиры, и подумал, что старик, должно быть, еще достаточно бодр и крепок, если может, не жалуясь, ежедневно взбираться так высоко. Бирото заметил, что синий сюртук и панталоны вынуты из шкафа и старуха Вайян чистит их щеткой; Пильеро, истинный философ, в домашнем сюртуке из серого молетона завтракал у камина, читая отчет о парламентских прениях в газете «Конститюсьонель», называвшейся в те годы «Журналь де коммерс».

— Дядя, — сказал Цезарь, — дело решено, договор составляется. Но если у вас есть какие-либо опасения или сомнения, еще не поздно отказаться.

— К чему отказываться? Сделка выгодная, вот только доходов придется долго ждать, но при верных делах всегда гак бывает. У меня пятьдесят тысяч франков в банке, вчера я получил последние пять тысяч франков за лавку. Ну а Рагоны вкладывают в это дело все свое состояние.

— Как же они будут жить?

— Не беспокойся, проживут помаленьку.

— Дядя, я понимаю, — проговорил растроганный Бирото, пожимая руку суровому старику.

— Как распределяются паи? — неожиданно спросил Пильеро.

— Моя доля будет равна трем восьмым, ваша и Рагонов — одной восьмой; запишу эту сумму в кредит вашего счета, у нас пока еще не составлены нотариальные акты.

— Прекрасно. Но ты, видно, очень богат, мой мальчик, если вкладываешь в это дело сразу триста тысяч франков? Боюсь, ты рискуешь слишком большой суммой, не пострадала бы от этого твоя торговля. Впрочем, тебе виднее. Если тебя постигнет неудача, то знай — рента поднялась до восьмидесяти, и я могу продать ценные бумаги, приносящие две тысячи франков дохода. Но будь осторожен, дружок: если тебе придется прибегнуть к моей помощи, ты тем самым уменьшишь состояние своей дочери.

— Дядя, как просто вы говорите о благороднейших поступках! Вы взволновали меня.

— Генерал Фуа только что взволновал меня совсем по-иному! Ну, ступай, кончай дело: ведь земельные участки не исчезнут, а они нам достанутся за полцены; если даже придется выждать лет шесть, и то мы получим кое-какую прибыль, — ну хотя бы доход с дровяных складов. Итак, нечего бояться потерь. Разве что Роген похитит наши капиталы, но ведь это невозможно...

— Как раз сегодня ночью мне об этом говорила жена, она боится...

— Что Роген украдет деньги? — спросил Пильеро, смеясь. — А почему она так думает?

— Она говорит, что он слишком страдает из-за своего уродства и, как все мужчины, которым недоступна женская любовь, питает страсть к...

Недоверчиво усмехнувшись, Пильеро вырвал из книжки листок, написал на нем сумму и подписался.

— Вот чек на сто тысяч франков — за Рагона и за меня. Бедные люди продали этому проклятому проходимцу дю Тийе свои пятнадцать акций Ворчинских копей, чтобы собрать нужные деньги. Славные люди в затруднении, прямо сердце за них болит. И такие достойные, благородные люди, цвет старой буржуазии, право! Их родственник, судья Попино, ничего не знает, они от него все скрывают, чтобы не мешать ему заниматься благотворительностью. А ведь они трудились, как и я, целых тридцать лет...

— Дай бог, чтобы «Комагенное масло» победило, — воскликнул Бирото, — я буду счастлив вдвойне. Прощайте, дядя, приходите обедать в воскресенье с Рагонами, Рогеном и господином Клапароном. Договор подпишем послезавтра, ведь завтра — пятница, а в пятницу я не хочу начинать...

— Ты придаешь значение подобным суевериям?

— Дядя, я никогда не поверю, что день, когда сын божий был предан смерти людьми, — счастливый день. Ведь бросают же все двадцать первого января свои дела.

— До воскресенья, — резко сказал Пильеро.

«Если б не его политические убеждения, — подумал Бирото, спускаясь по лестнице, — на всем свете не сыскать человека лучше дяди. И надо же было ему связаться с политикой! Что за чудесный был бы человек, забудь он думать о ней. Его упрямство только доказывает, что в мире нет совершенства».

— Уже три часа, — сказал Цезарь, возвратившись домой.

— Сударь, вы принимаете эти обязательства? — спросил Селестен, показывая ему векселя торговца зонтами.

— Да, из шести процентов, без комиссионных. Женушка, приготовь-ка мне одеться, я иду к господину Воклену, ты знаешь зачем. И обязательно — белый галстук.

Парфюмер отдал распоряжения своим приказчикам; Попино в лавке не было, и Цезарь догадался, что его будущий компаньон одевается; быстро поднявшись к себе в комнату, он увидел там «Дрезденскую мадонну», вставленную, по его приказанию, в красивую раму.

— А что, картинка-то недурна, — сказал он дочери.

— Не говори так, папа, тебя засмеют, она прекрасна!

— Как это вам нравится, дочь отца учит!.. Ну, на мой вкус «Геро и Леандр» ничуть не хуже. Мадонна — сюжет религиозный, ей место в часовне, но «Геро и Леандр»... Ах, я куплю эту картину, ведь изображенный на ней флакон с маслом меня вдохновил...

— Папа, я тебя не понимаю.

— Виржини, позови фиакр! — громко крикнул Цезарь, кончив бриться; в это время в комнату вошел Попино, от смущения перед Цезариной прихрамывая еще больше, чем обычно.

Влюбленный не подозревал, что его недостаток уже не существовал для его избранницы. Чудесное доказательство любви, выпадающее на долю только тех, кого обделила природа.

— Сударь, — сказал юноша, — завтра пресс можно будет пустить в ход.

— Отлично! Но что с тобой, Попино? — спросил Цезарь, увидев, как покраснел Ансельм.

— Это, сударь, от радости. Я нашел на улице Сенк-Диаман лавку вместе с конторой, кухней, комнатами наверху и складами — и за все просят только тысячу двести франков в год.

— Надо заключить контракт на восемнадцать лет. А теперь едем к господину Воклену, поговорим по дороге.

Цезарь и Попино сели в фиакр, провожаемые взглядами приказчиков, которые удивлялись их парадному виду и необычной поездке в экипаже и не подозревали о великих планах хозяина «Королевы роз».

— Ну, теперь мы все разузнаем об орешках, — пробормотал парфюмер.

— О каких орешках?

— Вот я и проговорился и выдал тебе свою тайну, — сказал парфюмер, — именно в *орешках* все дело. Только ореховое масло оказывает благоприятное воздействие на волосы, и никто из парфюмеров до этого еще не додумался. Взглянув на гравюру «Геро и Леандр», я подумал: «Нет, древние неспроста выливали столько масла на голову, они знали, что делают, на то они и древние!» И что бы ни говорили наши умники, я разделяю взгляды Буало на древних. Это и навело меня на мысль об ореховом масле, а тут еще твой родич Бьяншон, лекарский ученик, рассказал мне, что в Медицинской школе его товарищи употребляют ореховое масло, чтобы быстрее росли усы и бакенбарды. Нам недостает только одобрения знаменитого Воклена. Он даст нам необходимые указания, и мы не обманем публику. Я только что с рынка, договорился с торговкой орехами о доставке сырья; через какую-нибудь минуту я буду у величайшего ученого Франции и узнаю у него, как извлекать из орешков квинтэссенцию. Пословица права — крайности сходятся. Видишь, сынок, торговля служит посредницей между природой и наукой. Анжелика Маду скупает орехи, господин Воклен извлекает эссенцию, мы ее продаем. Орехи стоят пять су за фунт, господин Воклен во сто раз повысит их ценность, и мы, быть может, окажем услугу всему человечеству, ибо если тщеславное желание нравиться причиняет человеку большие страдания, то хорошее косметическое средство в таком случае для него благодеяние.

Благоговейное почтение, с каким Попино слушал отца Цезарины, возбуждало красноречие Бирото, и он изрекал самые нелепые сентенции, какие только могут зародиться в голове буржуа.

— Будь почтителен, Ансельм, — сказал парфюмер, когда экипаж свернул на улицу, где жил Воклен, — сейчас мы вступим в святая святых науки. Поставь «Мадонну» в столовой на стуле, где-нибудь на видном месте, но так, чтоб она не слишком бросалась в глаза. Только бы мне не запутаться и не наговорить лишнего! — чистосердечно признался Бирото. — Попино, этот человек оказывает на меня химическое воздействие, его голос вгоняет меня в жар и даже вызывает колики. Он мне столько добра сделал, а в скором времени станет и твоим благодетелем.

От этих слов у Попино мороз пробежал по коже, он двигался так осторожно, словно шел по битому стеклу, с тревогой поглядывая по сторонам. Г-н Воклен был в своем кабинете, когда ему доложили о приходе Бирото. Академик знал, что парфюмер — помощник мэра и пользуется благосклонностью властей; он принял его.

— Вы все же не забываете меня в своем величии? — сказал ученый. — Правда, от химика до парфюмера один шаг.

— Увы, сударь, вы — гений, а я простой человек, невежда. Нас разделяет пропасть. Вам я обязан тем, что вы зовете моим «величием», и я не забуду вас никогда, ни на этом, ни на том свете.

— Ах, на том свете все мы, говорят, будем равны — и короли и сапожники.

— Вы, конечно, имеете в виду королей и сапожников-праведников, — изрек Бирото.

— Это ваш сын? — спросил Воклен, поглядывая на маленького Попино, совершенно сбитого с толку тем, что в кабинете ученого не оказалось ничего необычайного; он ожидал, что увидит здесь какие-нибудь страшилища, гигантские машины, летающие металлы, оживленную материю.

— Нет, сударь, этот юноша мне не сын, но я его очень люблю, он пришел к вам, уповая на вашу доброту, равную вашему таланту, а потому — безграничную! — сказал Цезарь с многозначительным видом. — Прошло шестнадцать лет, и я вновь обращаюсь к вам за советом по исключительно важному для нас вопросу, в котором я, простой парфюмер, ничего не понимаю.

— Говорите, посмотрим.

— Я слышал, вы заняты сейчас изучением строения волос! Вы трудитесь ради славы, меня интересует доход.

— Дорогой господин Бирото, что именно вы хотите узнать? Состав волос?

Воклен взял листок бумаги.

— Я собираюсь вскоре сделать в Академии наук доклад на эту тему. В волосах содержится значительное количество слизистой материи, немного белых и много зеленовато-черных маслянистых веществ, железо, несколько крупинок окиси марганца, известковые фосфаты, очень небольшое количество углекислой извести, кремнезем и значительное количество серы. От различных пропорций этих веществ зависит цвет волос. Так, у рыжих значительно больше зеленовато-черного масла, чем у других.

Цезарь и Попино вытаращили от удивления глаза.

— Девять веществ! — воскликнул Бирото. — Как! в каждом волоске содержатся металлы и масло? Скажи мне это кто другой, а не вы, человек, перед которым я преклоняюсь, я не поверил бы. Как это необычайно! Велика премудрость божья, господин Воклен.

— Волосы, — продолжал великий химик, — продукт фолликулярного органа, который имеет форму мешочка, открытого с обоих концов: одним концом он связан с нервами и сосудами, из другого выходит волос. Некоторые из моих коллег, и среди них господин де Бланвиль, полагают, что волос — омертвевшая ткань, выделенная этим мешочком или кармашком, заполненным мягким веществом.

— Это как бы сгустившийся пот в трубочках, — воскликнул Попино, которого парфюмер легонько толкнул ногой.

Воклен улыбнулся словам Попино.

— Способный малый, не правда ли? — заметил тогда Цезарь, посмотрев на Попино. — Но, господин Воклен, если волосы — омертвевшая ткань, значит, их невозможно оживить, тогда для нас все кончено! Объявление получится нелепое; вы не представляете себе, до чего публика капризна, нельзя же ей сказать...

— Что у нее мусорная свалка на голове, — вставил Попино, желая еще раз потешить Воклена.

— Скорее воздушные катакомбы, — ответил химик, поддерживая шутливый тон беседы.

— А я-то обрадовался, купил орехи! — воскликнул удрученный убытками Бирото. — Но зачем же тогда продают разные...

— Успокойтесь, — сказал, улыбаясь, Воклен, — как я понимаю, речь идет о каком-нибудь составе, предохраняющем волосы от выпадения или от седины. Так вот, работая над волосами, я пришел к следующему выводу.

Попино весь обратился в слух, словно вспугнутый заяц.

— Обесцвечивание волос — этой то ли омертвевшей, то ли живой материи, связано, как я полагаю, с прекращением выделения красящих веществ: этим же явлением объясняется то, что в странах с холодным климатом мех пушных зверей зимой обесцвечивается и становится белым.

— Вот оно что! Слышишь, Попино?

— Очевидно, — продолжал Воклен, — изменение цвета волос зависит от резких изменений окружающей температуры.

— Окружающей температуры, Попино. Запомни, запомни! — воскликнул Цезарь.

— Да, — сказал Воклен, — от смены тепла и холода или от внутренних процессов, которые вызывают те же результаты. Итак, вполне возможно, что мигрени и головные боли поглощают, рассеивают или перемещают питательные соки. Устранить внутреннюю причину — дело врачей. Ну, а способствовать внешнему укреплению волос должны ваши косметические средства.

— Ах, господин Воклен, — с облегчением проговорил Бирото, — вы меня возвращаете к жизни. Я собирался продавать ореховое масло, памятуя о том, что древние употребляли масло для волос, а они знали, что делают, на то они и древние, я согласен с Буало. Вот почему и атлеты умащали себе тело!

— Оливковое масло ничем не хуже орехового! — сказал Воклен, едва слушая Бирото. — Любое масло будет прекрасно предохранять луковицу от вредного воздействия на содержащиеся в ней вещества, я сказал бы содержащиеся в растворе, если бы мы рассматривали химический процесс. Быть может, вы и правы: ореховое масло, как мне говорил об этом Дюпюитрен, способствует росту волос. Я займусь изучением свойств и особенностей различных масел: букового, сурепного, оливкового, орехового и других.

— Выходит, я не ошибся, — торжествующе произнес Бирото. — мое мнение совпало с мнением великого человека. «Макассару» — крышка! «Макассар» — это косметическое средство для ращения волос, пущенное в продажу по дорогой, очень дорогой цене, господин Воклен.

— Милейший господин Бирото, — заметил Воклен, — из Макассара в Европу не доставлено и двух унций масла. Макассарское масло вовсе не способствует росту волос, но малайские женщины ценят его на вес золота, ибо оно сохраняет волосы; они и не подозревают, что в этом отношении китовый жир столь же полезен. Никакие силы, ни химические, ни божественные...

— О! божественные... не говорите так, господин Воклен.

— Но, мой дорогой, основной закон бога — не вступать в противоречие с самим собой: без единства нет власти...

— Ах, это другое дело...

— Никакие силы не восстановят лысому волосы, как нельзя без риска и перекрашивать рыжие или седые волосы; но, расхваливая пользу масла, вы никого не введете в заблуждение, никого не обманете, и я полагаю, что те, кто будет его употреблять, сохранят волосы.

— Значит, вы полагаете, что Королевская Академия наук удостоит его одобрения?..

— Ах, здесь нет и намека на открытие, — возразил Воклен. — А потом шарлатаны столько злоупотребляли именем Академии, что ее одобрение мало что даст. По совести говоря, я не могу рассматривать ореховое масло как какое-нибудь чудо!

— Скажите, как лучше всего извлекать его — вывариванием или давлением? — спросил Бирото.

— Прессуя орехи между горячими плитами, вы получите больше масла, но оно будет менее высокого качества, чем при выжимании на холоде. Втирать масло следует в самую кожу, смазывать волосы недостаточно, оно не окажет тогда никакого действия, — добродушно сказал Воклен.

— Запомни же все, Попино, — воскликнул Бирото, лицо которого пылало от восторга. — Господин Воклен, для этого молодого человека сегодняшний день будет счастливейшим днем его жизни. Он вас знал, он почитал вас, еще не видя. Ах! у нас в доме часто вспоминают вас: имя, которое носишь в сердце, не сходит с уст. Жена, дочь и я сам — мы каждый день молим бога за вас, нашего благодетеля.

— Это слишком! Ведь я сделал такие пустяки, — заметил Воклен, смущенный многословной благодарностью парфюмера.

— Вот еще! — выпалил Бирото. — Вы не можете нам запретить любить вас, хотя и отказываетесь принять от меня какой-либо подарок. Вы, как солнце, дарите нам свет, но люди, озаряемые вами, не в состоянии вас отблагодарить.

Ученый улыбнулся и встал, парфюмер и Попино поднялись в свою очередь.

— Посмотри, Ансельм, вокруг. Запомни хорошенько этот кабинет. Вы разрешите, сударь? Ваше время столь драгоценно, он, быть может, никогда больше не попадет к вам.

— А как идут ваши дела? — спросил Воклен. — Ведь мы с вами, собственно, оба работаем на благо торговли...

— Благодарю вас, неплохо, — отвечал Бирото, направляясь в столовую, куда за ним прошел и Воклен. — Но чтобы пустить в продажу это масло (я думаю назвать его «Комагенной эссенцией»), необходимы значительные средства...

— Эссенция, да еще комагенная, — слишком уж кричащее название. Назовите лучше «Масло Бирото»! Если же вы не хотите выставлять напоказ свое имя, возьмите другое... Но что я вижу... Рафаэлева «Мадонна»... Ах, господин Бирото, видно, хотите поссориться со мной.

— Господин Воклен, — сказал парфюмер, пожимая руки химику, — ценность этого подарка лишь в упорстве, с каким я его искал; понадобилось перерыть всю Германию, прежде чем нашли эту гравюру, отпечатанную на китайской бумаге, без надписи. Я знал, что вам хотелось ее иметь, но у вас не было времени ее разыскивать, я был только вашим коммивояжером. Примите же от меня эту ничего не стоящую гравюру как свидетельство моей глубокой преданности, выразившейся в хлопотах, старании и заботах. Мне хотелось бы, чтобы вы пожелали чего-нибудь, что надо было бы добыть со дна морского, и я мог бы предстать перед вами со словами: «Вот оно!» Не отказывайте мне. Нас так легко забыть, позвольте же всем нам: мне, жене, дочери и будущему зятю напоминать вам о себе этой гравюрой. Глядя на «Мадонну», вы скажете: «Есть на свете простые люди, которые думают обо мне».

— Хорошо. Я принимаю подарок, — сказал Воклен.

Попино и Бирото вытерли слезы, так взволновала их доброта академика, прозвучавшая в этих словах.

— Будьте же до конца великодушны, — сказал парфюмер.

— Чем могу служить? — спросил Воклен.

— Я приглашаю друзей...

Он приподнялся на носках, сохраняя тем не менее смиренный вид.

— ...чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона.

— Вот как! — сказал удивленный Воклен.

— Быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость; ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, был ранен Наполеоном. Через три недели, в воскресенье, жена дает бал. Посетите же нас, сударь. Окажите честь отобедать с нами в этот день. Для меня это значило бы дважды удостоиться ордена. Я заранее вас извещу.

— Согласен, приду, — сказал Воклен.

— Сердце мое переполнено радостью, — воскликнул парфюмер на улице. — Он придет ко мне. Только не забыть бы того, что он говорил о волосах. Ты запомнил, Попино?

— Конечно, сударь. Да я и через двадцать лет этого не забуду.

— Великий человек! Какой полет мысли, какая проницательность! Как он с полуслова понял наши планы и дал совет, как победить «Макассарское масло». Ага! лжешь, «Макассар»! Ничто не может способствовать росту волос! Попино, богатство плывет нам прямо в руки. Итак, завтра в семь часов будь на фабрике; нам доставят орехи, и мы примемся за выделку масла. Легко Воклену говорить, что всякое масло полезно, но узнай это публика, и все пропало. Если не добавить к нашему средству чуточку орехового масла и духов, так мы не сможем и продавать его по три-четыре франка за четыре унции.

— Вам пожаловали орден, сударь? — спросил Попино, — Какая честь для...

— Для купечества, не правда ли, дружок?

Торжествующий вид Цезаря Бирото, уверенного в удаче, привлек внимание приказчиков, и они многозначительно переглядывались между собой: поездка в фиакре, парадные костюмы кассира и хозяина вызвали у них сами фантастические предположения. Взгляды Цезаря и Ансельма, выражавшие их взаимное удовлетворение, полный надежды взор, два раза брошенный Попино на Цезарину, возвещали нечто необыкновенное и подтверждали догадки приказчиков. Работая с утра до ночи почти в монастырской обстановке, они интересовались и самыми незначительными событиями, как узник интересуется мелкими тюремными происшествиями. Поведение г-жи Бирото, недоверчиво встречавшей победоносные взгляды мужа, наводило на мысль о том, что затевается какое-то новое дело. Унылый вид хозяйки был тем заметнее, что бойкая торговля в лавке обычно доставляла ей удовольствие. А в этот день выручка составляла шесть тысяч франков, ибо кое-кто из должников погасил просроченные счета.

Столовая и кухня с окном во дворик были разделены коридором. В коридор выходила лестница, соединявшая помещение за лавкой с антресолями, где прежде жили Цезарь и Констанс; в этой столовой, напоминавшей маленькую гостиную, они провели медовый месяц. Во время обеда в лавке оставался только рассыльный Раге, но перед десертом приказчики спускались в лавку, а Цезарь с женой и дочерью оставались одни и заканчивали обед, сидя у камелька. Обычай этот Бирото переняли у Рагонов, которые свято блюли старинные купеческие обычаи и привычки и сохраняли между собой и приказчиками то огромное расстояние, которое некогда существовало между мастерами и подмастерьями. Цезарина или Констанс приготовляли парфюмеру чашку кофе, которую он выпивал, сидя у камина в кресле. И тогда Цезарь рассказывал жене о всех событиях дня, обо всем, что видел и слышал в городе; о том, что делается в предместье Тампль, какие затруднения приходится преодолевать на фабрике.

— Жена, — сказал он Констанс, когда приказчики спустились в лавку, — знай, сегодня великий день нашей жизни! Орехи закуплены, гидравлический пресс завтра будет пущен в ход, сделка на земельные участки заключена. Вот спрячь это, — сказал он, передавая ей банковский чек Пильеро. — Я договорился о переделке помещения, мы расширим нашу квартиру. Господи, ну и забавного же чудака видал я сегодня в Батавском подворье!

И он описал г-на Молине.

— Я вижу одно, — прервала его излияния жена, — ты задолжал двести тысяч франков!

Не спорю, кошечка, — подтвердил парфюмер с напускным смирением. — И как только мы выкрутимся из долгов, — боже милостивый? Ведь ты, конечно, ни во что не ставишь участки в районе церкви Мадлен, где со временем будет лучший квартал в Париже.

— Со временем, Цезарь.

— Увы, — продолжал он шутку, — мои три восьмых пая через шесть лет будут стоить всего только миллион. Где взять деньги, чтоб уплатить двести тысяч франков? — И Цезарь в притворном ужасе всплеснул руками. — А все-таки мы выпутаемся, и вот кто заплатит, — сказал он, вытаскивая из кармана заботливо припрятанный орех, взятый у тетки Маду. Держа орешек двумя пальцами, он показал его Цезарине и Констанс.

Госпожа Бирото промолчала, но Цезарина удивленно спросила, подавая кофе:

— Ты ведь шутишь, папа?

Парфюмер, как и приказчики, заметил за обедом взгляды, которые Попино бросал на Цезарину, и ему захотелось проверить свои подозрения.

— Ну, дочка, орешек этот вызовет переворот у нас в доме. Сегодня вечером один человек покинет наш кров.

Цезарина взглянула на отца, словно хотела сказать: «А мне-то что за дело!»

— От нас уходит Попино.

Хотя Цезарь не был наблюдательным человеком и приготовил последнюю фразу не только для того, чтобы расставить дочери сети, но и начать разговор об учреждении торгового дома «А. Попино и К°», отцовская любовь помогла ему разгадать смутные чувства дочери, вспыхнувшие в ее сердце, алыми розами окрасившие ей щеки, загоревшиеся в глазах, которые она потупила. Цезарь подумал даже, что между Цезариной и Попино уже произошло объяснение. Но он ошибся: эти дети, как все робкие влюбленные, понимали друг друга без слов.

Некоторые моралисты думают, что любовь — самое непроизвольное, самое бескорыстное, самое нерасчетливое из всех человеческих чувств, за исключением, конечно, чувства материнской любви. Это — глубоко ошибочное мнение. Пусть большинство людей не подозревает истинных причин любви, но всякое физическое или духовное тяготение друг к другу в основе своей зиждется на расчетах рассудка, чувства или чувственности. Любовь — страсть прежде всего эгоистическая. А эгоизм — это прежде всего расчет. Итак, людям, не знакомым с глубоким анализом чувств, может показаться странным и неправдоподобным, что такая красивая девушка, как Цезарина, влюбилась в бедного юношу, хромого и рыжеволосого. Однако подобное явление отнюдь не противоречит арифметике буржуазных чувств. Объяснить это — значит понять обычно поражающие нас браки между статными и красивыми женщинами и невзрачными мужчинами, между тщедушными дурнушками и представительными мужчинами. Каждый, кто страдает каким-нибудь физическим недостатком, будь то косолапость, хромота, горб, крайнее безобразие, красные пятна на щеках, бородавки, недуг Рогена или любое другое уродство, не зависящее от воли родителей, вынужден стать либо человеком опасным, либо воплощением доброты; ему не дано права держаться золотой середины, удела большинства людей. В первом случае ему помогает талант, гений или сила. Человек, творящий зло, заставляет трепетать перед собой, гений заставляет уважать себя, острослов — бояться. Во втором случае он должен суметь внушить любовь к себе, он мирится с женской тиранией, он искуснее в любви, чем люди безупречного сложения.

Воспитанный почтенными буржуа, столь добродетельными людьми, как Рагоны, и своим дядей судьей Попино, Ансельм отличался превосходным характером и поведением, искупая свой незначительный физический недостаток добрыми чувствами. Благородство его стремлений, украшающее юность, восхищало Констанс и Цезаря, и они нередко хвалили Ансельма в присутствии Цезарины. И муж и жена, мелочные в повседневной жизни, обладали возвышенной душой и прекрасно разбирались в вопросах чувств. Их похвалы нашли отклик в сердце девушки, которая, несмотря на свою невинность, прочитала в чистых глазах Ансельма обожание, всегда лестное, каков бы ни был возраст, положение и внешность влюбленного. У маленького Попино было значительно больше оснований любить женщину, чем у какого-нибудь красивого мужчины. Женись он на красавице, он безумно любил бы ее до конца своих дней, любовь подогревала бы в нем честолюбие, он отдал бы жизнь ради счастья своей жены, он сделал бы ее полновластной хозяйкой в доме, он покорился бы ей. Так невольно думала Цезарина, хотя, быть может, и не так откровенно; она с высоты птичьего полета озирала жатву любви и рассуждала путем сравнений: счастье матери было у нее перед глазами, она для себя не желала иной жизни: инстинкт подсказывал ей, что в Ансельме она найдет второго Цезаря, усовершенствованного образованием, как и она сама. В мечтах она видела Ансельма мэром округа, а себя — собирающей пожертвования в своем приходе, как ее мать делала это в приходе св. Роха. В конце концов Цезарина перестала замечать разницу между левой и правой ногой Попино; она способна была спросить: «А разве он хромает?» Ей нравились его чистые глаза, и она с удовольствием следила, как волновал юношу ее взгляд: как он печально опускал взор, в котором загорался целомудренный огонь. Старший клерк Рогена, Александр Кротта, который вращался в деловой среде, приобрел преждевременную опытность и своими цинично-добродушными манерами отталкивал Цезарину, и без того уже возмущенную общими местами его рассуждений. Молчаливость Попино говорила о его кротком нраве, ей нравилась грустная улыбка, с какой он слушал избитые и пошлые разговоры, всегда вызывавшие у нее отвращение. Цезарина улыбалась или грустила, когда улыбался или грустил Попино. Душевное превосходство не мешало Ансельму усердно работать, и его неутомимое трудолюбие нравилось Цезарине: она догадывалась, что бедный, хромой, рыжий Ансельм не терял надежды добиться ее руки, хотя другие приказчики и говорили: «Цезарина выйдет замуж за старшего клерка господина Рогена». Великая надежда доказывает великую любовь.

— Куда он уходит? — спросила Цезарина отца, стараясь выказать безразличие.

— Он откроет свою торговлю на улице Сенк-Диаман! Да поможет ему бог! — ответил Бирото, и восклицание его не было понято ни матерью, ни дочерью.

Когда Бирото испытывал какое-либо затруднение нравственного свойства, он вел себя как насекомое перед препятствием: он обходил его с одной или с другой стороны; так и тут он переменил разговор, решив позднее поговорить с женой о Цезарине.

— Я рассказал дяде о твоих страхах и опасениях по поводу Рогена, он только рассмеялся, — заявил он Констанс.

— Никогда не передавай другим того, о чем мы говорим с тобой наедине, — возмутилась Констанс. — Бедняга Роген, возможно, честнейший в мире человек, ему пятьдесят восемь лет, и он, наверное, больше не думает о...

Она сразу замолкла, заметив, что Цезарина внимательно слушает, и взглядом указала Цезарю на дочь.

— Значит, я правильно поступил, заключив сделку, — заметил Бирото.

— На то ты и хозяин, — ответила она.

Такой ответ всегда выражал ее молчаливое согласие с планами мужа. Цезарь взял Констанс за руку и поцеловал ее в лоб.

— Вот что, — крикнул парфюмер, спускаясь вниз и обращаясь к приказчикам, — закрывайте лавку в десять часов. Вы все должны мне помочь! За ночь мы перенесем мебель со второго на третий этаж. Надо убрать все до последней вещи, чтобы, как говорится, очистить на завтра поле деятельности для архитектора. Попино ушел, не предупредив меня, — сказал Цезарь, не видя его. — Да, ведь он сегодня здесь не ночует, я и забыл. «Он отправился, подумал Цезарь, — записать замечания господина Воклена, а может быть, снять помещение для магазина».

— Мы знаем, хозяин, почему вы переделываете квартиру, — заявил Селестен от имени двух других приказчиков и Раге, стоявших за его спиной. — Позвольте нам, сударь, поздравить вас с честью, которая является честью для всех нас... Попино сказал нам, что вам, сударь...

— Да, голубчики, что скрывать, мне пожаловали орден. Так вот, я приглашаю друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона. Быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов, которых я защищал... в вашем возрасте, тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха... Черт побери, я был ранен Наполеоном, именуемым императором. Я был ранен в бедро, и госпожа Рагон делала мне перевязки. Будьте же отважны, и вас вознаградят. Видите, дети мои, нет худа без добра.

— На улицах больше сражаться не будут, — заметил Селестен.

— Надо надеяться, — сказал Бирото и, воспользовавшись случаем, произнес целую речь, а в заключение пригласил приказчиков на бал.

Перспектива бала воодушевила трех приказчиков, Раге и Виржини и придала им ловкость эквилибристов. Нагруженные мебелью, они сновали взад и вперед по лестницам, ничего не сломав, ничего не перевернув. К двум часам ночи все было закончено. Цезарь с женой легли спать на третьем этаже. В комнате Попино устроились Селестен и второй приказчик. Четвертый этаж на время превратили в мебельный склад.

Весь во власти неослабевающего нервного возбуждения, которое воспламеняет сердца честолюбцев и влюбленных, лелеющих великие замыслы, обычно мягкий и спокойный Попино после обеда не мог устоять на одном месте, словно породистая лошадь перед скачками.

— Что с тобой творится? — спросил его Селестен.

— Какой день выдался сегодня, дружище! Я начинаю самостоятельное дело, — сказал Попино на ухо Селестену, — а господин Бирото награжден орденом.

— Счастливец! Тебе помогает хозяин, — воскликнул Селестен.

Ничего не ответив, Попино исчез, словно увлекаемый буйным ветром, ветром успеха!

— Счастливец? — сказал приказчик, складывавший перчатки дюжинами, своему соседу, проверявшему этикетки. — Просто хозяин заметил, что Попино строит глазки мадмуазель Цезарине; ну, а хозяин-то наш хитер и решил отделаться от Ансельма. Отказать ему — неудобно, из-за родственников. А наш Селестен принимает эту хитрость за великодушие.

Ансельм Попино спустился по улице Сент-Оноре и помчался по улице Дез-Экю, чтобы встретиться с одним молодым человеком: чутье торговца подсказывало ему, что тот станет главным орудием его обогащения. Судья Попино некогда оказал услугу самому ловкому коммивояжеру Парижа, прозванному впоследствии за свое победоносное краснобайство и поразительную расторопность «Прославленным». Сбывая шляпки и парижские модные товары, этот будущий король коммивояжеров в ту пору именовался просто Годиссаром. В двадцать два года он уже выказал себя мастером пускать пыль в глаза. Худощавый, жизнерадостный, проворный, обладая блестящей памятью и столь важным в торговом деле умением уговаривать, он вполне заслуживал достигнутого им впоследствии титула «короля коммивояжеров»; он был истинным французом.

Несколько дней назад Попино, встретив Годиссара, узнал, что тот собирается в дорогу. Надеясь застать его еще в Париже, влюбленный бросился на улицу Дез-Экю, где узнал, что коммивояжер заказал себе место в почтовой карете. Перед тем как распрощаться с дорогой его сердцу столицей, Годиссар отправился посмотреть новую пьесу в театре Водевиль; Попино решил дождаться его. Поручить распространенно орехового масла этому прославленному мастеру рекламы, уже обласканному богатейшими торговыми фирмами, не значило ли это заручиться покровительством фортуны? Попино мог положиться на Годиссара. Коммивояжер, умевший так ловко опутывать самых неподатливых людей — мелких провинциальных торговцев, вдруг впутался в первый заговор против Бурбонов, раскрытый после Ста дней. Годиссара — эту вольную птицу — бросили в тюрьму, предъявили ему тяжелые обвинения. Судья Попино, который вел дело, прекратил следствие, признав, что Годиссар оказался замешанным в заговоре только по легкомыслию и опрометчивости. Будь на месте Попино судья, желавший выслужиться, или какой-нибудь ярый роялист, злосчастный коммивояжер угодил бы на эшафот. Годиссар понимал, что обязан следователю жизнью, и не знал, как выразить признательность своему спасителю. Не смея благодарить судью за правый суд, коммивояжер явился к Рагонам и заявил, что отныне он верный слуга всей семьи Попино.

В ожидании Годиссара, Ансельм, конечно, не преминул осмотреть лавку на улице Сенк-Диаман и узнать адрес владельца, чтобы заключить с ним договор. Попино бродил по темным закоулкам Центрального рынка, размышляя над тем, как добиться скорого успеха; на улице Обриле-Буше ему улыбнулся счастливый случай, предвещавший удачу, и ему захотелось поскорее обрадовать Бирото. Было около полуночи, когда Ансельм, стоявший на часах у «Коммерческой гостиницы», услышал еще издалека, с улицы Гренель, финальный куплет водевиля: то распевал Годиссар, аккомпанируя себе выразительным постукиванием трости по тротуару.

— Сударь, — сказал Ансельм, внезапно появляясь из-за ворот, — на два слова.

— Хоть на десять, — ответил коммивояжер, замахиваясь на мнимого грабителя тяжелой тростью.

— Это я, Попино, — проговорил перепуганный Ансельм.

— Прекрасно, — сказал Годиссар, узнавая его. — Что нужно вам? Денег? Деньги временно в отпуску, но мы их раздобудем. Участвовать в дуэли? Весь к вашим услугам.

И Годиссар запел:

Вот он, смотрите,

Французский наш солдат.

— Мне нужно было бы поговорить с вами. У вас в комнате нас могут подслушать, лучше пойдемте на набережную Орлож: в этот час там нет ни души, — сказал Попино. — Речь идет об очень серьезном деле.

— Раз это так спешно, идем!

Через десять минут Годиссар узнал тайну Попино и оценил ее значение.

— «Ко мне, цирюльники, торговцы, парфюмеры!» — закричал Годиссар, подражая Лафону в роли Сида.[[15]](#footnote-15) — Я приберу к рукам всех лавочников Франции и Наварры. Ого! идея! Я собирался уезжать, я задержусь и стану представителем парижских парфюмеров.

— Но для чего?

— Чтобы задушить ваших конкурентов, простак! Сделавшись представителем, я заставлю их захлебнуться своими эссенциями, подавиться своими коварными косметическими средствами, я буду восхвалять только ваше масло. Да! да! мы настоящие дипломаты торговли. Великолепно! Ну-с, вашим объявлением я займусь сам. У меня есть друг детства Андош Фино, сын торговца шляпами с улицы Дюкок, того самого старика, благодаря которому я стал коммивояжером. У Андоша — ума палата, он нахватал идеи из всех голов, украшенных шляпами его отца, он литератор, пишет о маленьких театриках в «Вестнике зрелищ». Отец его, старый пройдоха, терпеть не может умников, не верит в ум, и никак ему не втолкуешь, что умом торгуют, что ум приносит капиталы. Старик — круглый невежда по части ума. Он берет молодого Фино измором. Андош — человек способный, на то он мой друг, — с тупицами я имею дело лишь в торговле; так вот Фино составляет объявления для «Верного пастушка», и там ему платят; газеты же, на которые он работает, как каторжник, кормят его обещаниями. Какие там завистники! Все равно как в торговле модными парижскими изделиями. Фино написал чудесную одноактную комедию для знаменитой из знаменитых мадмуазель Марс, которую я действительно люблю! Ну, и что же, чтобы увидеть пьесу на сцене, он вынужден был отдать ее в театр Гетэ. Андош понимает толк в объявлениях, он проникается мыслями купца, он не гордец, он состряпает нам объявление бесплатно! Ей-богу, чашка пунша и пирожные — вот мы и в расчете. Шутки в сторону. Знайте, Попино, я не возьму ни комиссионных, ни проездных, — все оплатят ваши конкуренты, я их околпачу. Давайте договоримся сразу. Успех вашего масла — для меня дело чести. Наградой для меня будет удовольствие быть шафером у вас на свадьбе. Я отправляюсь в Италию, Германию, Англию, повезу с собой афиши на всех языках, расклею их повсюду, в деревнях, на дверях церквей, на всех заборах, какие я знаю в провинции! Оно заблестит, оно загорится, ваше масло, оно умаслит все головы! Свадьбу отпразднуете не на серебре, а на золоте. Вы станете мужем Цезарины, или не быть мне больше прославленным Годиссаром, как прозвал меня папаша Фино за то, что я создал успех его серым шляпам. Продавая ваше «Масло», я остаюсь верен себе, забочусь о человеческой голове; как известно, и масло и шляпы оберегают прическу.

Попино отправился к тетке, у которой должен был ночевать; упоенный грядущим успехом, он находился в таком возбуждении, что улицы, казалось ему, струились маслом. Спал он мало и видел во сне, что волосы его поразительно выросли, и два ангела, словно в мелодраме, развернули перед ним свиток с надписью: «Цезарево масло!» Проснувшись, он вспомнил этот сон и решил так и назвать ореховое масло, видя в этом предзнаменование свыше.

Цезарь и Попино явились на фабрику в предместье Тампль задолго до того, как туда привезли орехи; в ожидании возчиков г-жи Маду торжествующий Попино рассказал о дружественном договоре с Годиссаром.

— Прославленный Годиссар за нас. Быть нам миллионерами! — воскликнул парфюмер, протягивая руку своему кассиру с видом Людовика XIV. когда тот принимал маршала Вира после сражения при Денене.

— Это еще не все, — прибавил счастливый приказчик, доставая из кармана граненый флакончик в форме тыквы, — я нашел десять тысяч таких флаконов, совершенно готовых и отшлифованных, по четыре су за штуку, с рассрочкой платежа на шесть месяцев.

— Ансельм, — торжественно произнес Бирото, любуясь причудливой формой флакона, — вчера в Тюильри, — да, только вчера, — ты сказал мне: «Я добьюсь успеха». Сегодня же я сам говорю тебе: «Ты добьешься успеха!» Четыре су! шесть месяцев рассрочки! оригинальная форма! Не устоять «Макассару»! Вот это удар по «Макассару» так удар! Хорошо, что я скупил все орехи в Париже! Где ты нашел эти флаконы?

— Я бродил по улицам, поджидая Годиссара...

— Как и я когда-то, — перебил его Бирото.

— Иду я по улице Обри-ле-Буше и вижу в окне оптового торговца стеклянными изделиями и ящиками, владельца большого склада, этот флакон... Ах! он меня ослепил как яркий свет, какой-то голос крикнул мне: «Вот то, что тебе нужно!»

— Прирожденный купец! Быть ему мужем Цезарины, — проворчал себе под нос Цезарь.

— Вхожу и вижу тысячи таких флаконов в ящиках.

— Ты попросил показать их?

— Неужели вы считаете меня таким простофилей? — с горечью воскликнул Ансельм.

— Прирожденный купец! — повторил Бирото.

— Я спросил ящички для восковых фигурок Христа. Рассматривая ящички, я подсмеиваюсь над формой флаконов. Раззадорил купца, он постепенно разоткровенничался и признался, что Фай и Бушо, те самые, что недавно обанкротились, затевали выпустить какое-то косметическое средство и заказали флаконы причудливой формы; купец, не доверяя им, потребовал уплаты половины наличными; Фай и Бушо уплатили в надежде на успех; банкротство постигло их во время изготовления флаконов; конкурсное управление, по получении требования об уплате, пошло на мировую: купцу оставили флаконы и задаток, как возмещение расходов по изготовлению нелепого и не имеющего сбыта товара. Флаконы обошлись ему по восьми су, но он был бы рад-радехонек спустить их по четыре су: одному богу известно, сколько проваляются у него на складе эти никому не нужные флаконы. «Не согласитесь ли поставить десять тысяч флаконов по четыре су за штуку? Я бы тогда, пожалуй, избавил вас от этих флаконов; я приказчик господина Бирото». И вот я обхаживаю его, увлекаю, распаляю, подзадориваю — и добиваюсь своего.

— Четыре су! — воскликнул Бирото. — Знаешь, ведь мы можем продавать масло по три франка. Значит, будем зарабатывать по тридцать су на флаконе, оставляя двадцать су розничным торговцам.

— «Цезарево масло»! — воскликнул Попино.

— «Цезарево масло»? Ах, господин влюбленный, вы хотите польстить и отцу и дочери. Ладно, идет. Назовем его «Цезарево масло»! Цезари завоевали мир, они, верно, обладали львиной гривой.

— Цезарь был лысый, — пробормотал Попино.

— Потому, скажут клиенты, что он не пользовался нашим маслом! «Цезарево масло» за три франка. А «Макассарское масло» стоит в два раза дороже. Годиссар за нас; мы выручим сто тысяч франков за год, ибо каждому уважающему себя человеку продадим двенадцать флаконов в год. Это принесет нам по восемнадцать франков! Пусть таких голов наберется восемнадцать тысяч — стало быть, наживем сто восемьдесят тысяч франков. Да мы — миллионеры.

Когда доставили орехи, Раге, рабочие, Попино, Цезарь принялись их колоть, и уже к четырем часам было изготовлено несколько фунтов масла. Попино отправился показать его Воклену, и тот подарил Ансельму рецепт для смеси ореховой эссенции с более дешевыми маслами и духами. Попино тотчас же подал прошение о выдаче ему патента на изобретение и усовершенствование. Признательный Годиссар ссудил Попино деньгами для оплаты гербового сбора, ибо Ансельм во что бы то ни стало хотел участвовать на половинных началах в расходах фирмы.

Успех влечет за собой своего рода опьянение, люди заурядные не в силах ему противостоять. Последствия этого опьянения предугадать нетрудно. Явился Грендо и показал чудесный набросок красками будущей квартиры и ее меблировки. Восхищенный Бирото согласился на все. И тотчас застучали молотки каменщиков, застонал дом, застонала и Констанс. Богатый подрядчик по малярным работам Лурдуа обещал ничего не упустить и предложил украсить гостиную позолотой. Услышав это, Констанс вмешалась в разговор.

— Господин Лурдуа, — сказала она, — у вас тридцать тысяч франков ренты, вы живете в собственном доме, вы можете делать в нем все, что хотите, но мы...

— Сударыня, купечество должно блистать. Не давайте аристократам подавлять себя. Не забудьте, что господин Бирото представитель власти, он у всех на виду...

— Так-то так, но он еще занимается торговлей, — сказала Констанс, не смущаясь присутствием нескольких покупателей и приказчиков, слушавших этот разговор. — Ни я, ни он, ни его друзья, ни враги этого не забудут.

Бирото, заложив руки назад, приподнялся на носках и несколько раз упал на пятки.

— Жена права, — согласился он. — Мы будем скромны в благоденствии. Когда занимаешься торговлей, следует соблюдать умеренность в расходах, сдержанность в роскоши, — закон вменяет нам это в обязанность. Чрезмерные траты недопустимы. Если бы стоимость расширения квартиры, ее убранства перешла известные пределы, это было бы неблагоразумно с моей стороны, и вы сами осудили бы меня, Лурдуа. Я на виду у всего квартала, а люди, которые преуспевают, окружены завистниками и врагами! О! вы скоро сами убедитесь в этом, молодой человек, — сказал он Грендо. — На нас всегда клевещут, не дадим недоброжелателям повода злословить.

— Ни клевета, ни злословие не могут коснуться вас, — напыщенно проговорил Лурдуа, — вы на особом положении и обладаете столь богатым коммерческим опытом, что не можете поступать необдуманно: вы человек дошлый.

— Что верно, то верно, я кое-что смыслю в делах. Знаете, почему я решил расширить квартиру? Уж коли я связываю вас крупной неустойкой в случае запоздания с окончанием работы, так это потому...

— Не знаю.

— Так вот, жена и я, мы приглашаем друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона.

— Что? что такое? Вам дали крест? — воскликнул Лурдуа.

— Да, быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха, был ранен Наполеоном. Милости прошу пожаловать с супругой и дочерью...

— Крайне признателен за оказанную честь, — сказал либерал Лурдуа. — Ну и хитрец же вы, папаша Бирото! Вы хотите быть уверенным, что я сдержу слово, и потому приглашаете меня. Ну, ладно, я возьму самых ловких мастеров, мы разведем адский огонь, чтобы высушить стены; применим особые способы просушки: нельзя же танцевать в сыром помещении. Мы покроем лаком стены и этим устраним всякий запах.

Через три дня все торговцы квартала были взволнованы известием о бале у Бирото. Впрочем, все сами могли видеть леса вокруг дома, необходимые для быстрого перемещения лестницы, деревянные прямоугольные желоба, по которым щебень и мусор сбрасывали в телеги, стоявшие около дома. Спешные работы производились при свете факелов, ибо рабочие трудились и днем и ночью, возбуждая любопытство бездельников и зевак на улице; сплетники, глядя на эти приготовления, предсказывали неслыханный по великолепию бал.

В воскресенье, когда должны были заключить сделку, супруги Рагон и дядя Пильеро пришли часа в четыре дня, после церковной службы. Из-за ремонта, объяснил Цезарь, он пригласил на этот день только Шарля Клапарона, Кротта и Рогена. Нотариус принес газету «Журналь де Деба», в которой по настоянию г-на де ла Биллардиера поместили следующую заметку:

«Нам сообщают, что освобождение страны от оккупации будет с восторгом отпраздновано по всей Франции. В Париже члены муниципалитета почувствовали, что пора вернуть столице тот блеск, который был неуместным во время оккупации. Мэры и помощники их предполагают дать балы; патриотическое их начинание найдет немало подражателей, и поэтому зимний сезон обещает быть блестящим. Среди подготовляемых празднеств много разговоров возбуждает бал у господина Бирото, пожалованного в кавалеры Почетного легиона и известного своей приверженностью королевскому дому. Господин Бирото, раненный 13 вандемьера на ступенях церкви св. Роха и один из наиболее уважаемых членов коммерческого суда, вдвойне заслужил эту милость».

— Как нынче хорошо пишут! — воскликнул Цезарь. — О нас заговорили в газетах, — сказал он Пильеро.

— И что же дальше? — ответил ему старик, который терпеть не мог «Журналь де Деба».

— Эта статья, пожалуй, поможет нам побольше сбыть «Крема султанши» и «Жидкого кармина», — тихо сказала г-же Рагон Констанс, не разделявшая восторгов мужа.

Госпожа Рагон, худощавая высокая женщина с морщинистым лицом, поджатыми губами и тонким носом, напоминала маркизу былых времен. Глаза ее были обведены темными кругами, как у многих старых женщин, переживших немало горя. Ее строгие и полные достоинства манеры, хотя и смягчались приветливостью, внушали глубокое почтение. В ней было что-то странное, привлекающее внимание, но не было ничего комического, все объяснялось ее осанкой и костюмом: она носила митенки, никогда не расставалась с высоким зонтиком, похожим на тот зонтик, с которым прогуливалась в Трианоне Мария-Антуанетта; платья ее, обычно светло-коричневого цвета, — так называемого цвета опавших листьев, — ложились какими-то особенными складками, секрет которых унесли с собой в могилу старые дамы былых времен. Она носила черную мантилью с черными кружевами в крупную квадратную клетку; чепцы старинного покроя окаймляли ее лицо сквозными прошивками и фестонами, напоминавшими ажурную резьбу изящной рамки. Она нюхала табак и поражала при этом своей опрятностью и грацией жестов, которые запоминались молодым людям, имевшим удовольствие наблюдать, как их бабушки и тетушки торжественно ставили возле себя на стол золотые табакерки и стряхивали крупинки табака с косынок.

Господин Рагон был маленький старичок, ростом не больше пяти футов, с лицом щелкунчика, на котором резко выделялись живые глаза, острые скулы, нос, подбородок; зубы он уже потерял, и потому половину его речей нельзя было понять; галантный и жеманный, он изливал потоки слов и не переставал любезно улыбаться, как некогда улыбался красавицам, которых случай приводил в его лавку. Напудренные, тщательно зачесанные волосы вырисовывали у него на черепе снежный полумесяц с вихрами у висков, а сзади заплетены были в перехваченную лентой косичку. Он носил василькового цвета фрак, белый жилет, шелковые панталоны и шелковые чулки, башмаки с золотыми пряжками и черные шелковые перчатки. Самой оригинальной его привычкой была привычка ходить по улицам с непокрытой головой, держа шляпу в руке. Он напоминал не то пристава палаты пэров, не то придверника кабинета короля, — словом, одного из тех людей, которые стоят так близко к власть имущим, что принимают на себя отблеск их сияния, сами пребывая в ничтожестве.

— Ну, Бирото, — сказал он внушительным тоном, — надеюсь, ты, милый мой, не раскаиваешься, что когда-то послушал нас? Разве мы когда-либо сомневались в благодарности наших возлюбленных монархов?

— Вы должны быть счастливы, голубушка, — сказала г-жа Рагон г-же Бирото.

— О да, — ответила прекрасная парфюмерша, которую всегда восхищали старинный зонтик г-жи Рагон, ее чепчики бабочкой, узкие рукава и широкая косынка.

— Цезарина прелестна. Подойди ко мне, милое дитя, — пронзительным голосом произнесла г-жа Рагон, покровительственно глядя на молодую девушку.

— Ну что, займемся до обеда делами? — спросил дядя Пильеро.

— Мы ожидаем господина Клапарона, — ответил Роген, — он одевался, когда я уходил от него.

— Господин Роген, — сказал Цезарь, — вы его, конечно, предупредили, что сегодня нам придется обедать в этой жалкой квартире?

— Шестнадцать лет тому назад он находил ее превосходной, — прошептала Констанс.

— ...среди мусора, в окружении рабочих.

— Вы сами увидите, какой это простой и славный малый, — заметил Роген.

— Я поставил Раге сторожить в лавке, — через парадную дверь пройти уже нельзя, вы сами видели, она разрушена, — сказал Цезарь нотариусу.

— Отчего вы не привели с собой племянника? — спросил Пильеро г-жу Рагон.

— Он не придет? — спросила Цезарина.

— Нет, душенька, — ответила г-жа Рагон. — Ансельм, бедняжка, работает, точно каторжный. Меня пугает эта улица Сенк-Диаман, такая мрачная, без солнца, без воздуха; вода в канавах там всегда синяя, зеленая или черная. Загубит там Ансельм свое здоровье. Но когда молодые люди вобьют себе что-нибудь в голову!.. — сказала она Цезарине, жестом показывая, что в данном случае «голова» означает «сердце».

— Так он уже заключил контракт? — спросил Цезарь.

— Еще вчера, и даже скрепил его у нотариуса, — вставил Рагон. — Контракт удалось заключить на восемнадцать лет, но плату требуют вперед за полгода.

— Скажите, господин Рагон, довольны вы мною? — спросил парфюмер. — Я передал Ансельму секрет одного открытия... Словом...

— Мы хорошо знаем тебя, Цезарь, — ответил старичок Рагон, с теплым чувством пожимая руку Бирото.

Роген с беспокойством ожидал прихода Клапарона, манеры и речь которого могли испугать добропорядочных буржуа; он счел за лучшее подготовить умы.

— Вы сейчас познакомитесь с большим чудаком, — сказал он Рагону, Пильеро и дамам, — человеком с очень дурными манерами, но с замечательными способностями, — он выбился из низов лишь благодаря своему уму. Вращаясь в кругу банкиров, он, несомненно, научится приличному обращению. Вы можете встретить его на бульваре или в кафе пьяного, растрепанного, играющего на биллиарде; по виду он отчаянный кутила. И что же? слоняясь по городу, он изучает, обдумывает в это время, как оживить промышленность, оплодотворить ее новыми изобретениями.

— Я это прекрасно понимаю! — воскликнул Бирото. — Самые блестящие мысли приходили мне в голову, когда я бродил по улицам. Ведь так, моя кошечка?

— Время, потерянное днем на поиски и комбинации, Клапарон наверстывает ночью, — продолжал Рагон. — Все талантливые люди ведут странную, просто непостижимую жизнь. И несмотря на такую безалаберность, Клапарон добивается своего, я сам тому свидетель; это он взял измором владельцев наших участков, — они сначала противились, кое в чем сомневались, он их обвел вокруг пальца, изо дня в день выматывал из них душу, и вот — мы заполучили участки.

Характерное «брум, брум», сиплое покашливание, свойственное любителям пропустить стаканчик водки или крепкого ликера, возвестило о появлении самого нелепого персонажа этой истории, оказавшегося впоследствии вершителем судьбы Цезаря Бирото. Парфюмер бросился к узкой, темной лестнице, чтобы велеть Раге закрыть лавку, и поспешил извиниться перед Клапароном, что принимает его в своей прежней столовой, на антресолях.

— Да что там! Мы здесь великолепно полопа... Я хочу сказать, покончим наше дельце.

Как ни старался Роген, но добропорядочные буржуа, супруги Рагон, наблюдательный Пильеро, Цезарина и ее мать в первую минуту были весьма неприятно поражены манерами мнимого «банкира высокого полета».

В двадцать восемь лет этот бывший коммивояжер совершенно облысел и носил парик в мелких завитушках. Однако кудряшки хороши только при девственной свежести лица, молочной белизне кожи, очаровательной женственной грации; а тут они лишь подчеркивали безобразие прыщеватого кирпично-красного лица, обветренного, как у кучера дилижанса; глубокие уродливые складки преждевременных морщин выдавали разгульную жизнь, злоключения которой подтверждали гнилые зубы и угри, испещрившие шершавую кожу. Клапарон напоминал чванливого провинциального актера, выступающего в любых ролях: на истасканной физиономии не держатся больше румяна, и перед вами — лицедей, изнуренный излишествами, с отвисшей губой, с бесстыдным взглядом и развязными манерами; даже совершенно пьяный, он, однако, способен молоть всякий вздор. На физиономии Клапарона как будто еще играли отблески веселого пламени пунша, и ее никак нельзя было назвать лицом делового человека. Ему немало пришлось потрудиться перед зеркалом, чтобы усвоить осанку, соответствующую высокому положению. Дю Тийе присутствовал при сборах Клапарона, волнуясь, как директор театра за дебют своего лучшего актера; он опасался, как бы грубые привычки бесшабашной богемы не выдали истинную сущность мнимого банкира.

— Говори поменьше, — советовал он Клапарону. — Никогда банкир не станет болтать: он действует, думает, размышляет, слушает и взвешивает. Если хочешь, чтобы тебя приняли за банкира, помалкивай или говори о чем-нибудь незначительном. Постарайся, чтобы в глазах у тебя не прыгали чертики, придай важность взгляду; на худой конец сойдешь за глупца, и только. Разговаривая о политике, стой за правительство и отделывайся общими фразами вроде таких изречений: *Бюджет обременителен. Соглашения между партиями невозможны. Либералы опасны. Бурбоны должны избегать всяческих осложнений. Либерализм не что иное, как ширма, за которой приходят к полюбовному соглашению. Бурбоны создадут нам эру благоденствия. Мы обязаны если не любить, то поддерживать их. Хватит с Франции политических опытов*, и тому подобное. Не налегай на еду, не забывай, что ты должен соблюдать достоинство миллионера. Нюхая табак, не дергай носом, как инвалид; поиграй табакеркой, прежде чем ответить, опусти глаза или возведи их к потолку, — словом, постарайся придать себе глубокомысленный вид. Но главное, брось ты свою скверную привычку все трогать руками. В свете банкир скрывает свою мертвую хватку под личиной усталости. Помни, ты ночи напролет проводишь за работой, ты одурел от расчетов. Ведь чтобы начать какое-либо дело, надо столько собрать сведений, надо столько размышлять! Побольше жалуйся на дела. Дела, мол. обременительны, тяжелы, сложны, затруднительны. Говори только об этом, не вдавайся в подробности. Не вздумай распевать за столом песенки Беранже и пей поменьше. Если напьешься, погубишь свою карьеру. Роген будет следить за тобой; ты очутишься в обществе глубоко нравственных людей, добродетельных буржуа, смотри не отпусти какую-нибудь кабацкую шуточку: всех перепугаешь.

Внушения дю Тийе оказали на ум Шарля Клапарона примерно такое же действие, как новый костюм — на его манеру держаться. Беспечный гуляка привык к удобной и затасканной одежде, которая не стесняла его движений, как слова не стесняли его мыслей: он чувствовал себя связанным в новом костюме, доставленном с запозданием, а потому надетом им сегодня впервые; он держался навытяжку, как солдат на параде, боялся сделать лишнее движение, сказать что-нибудь лишнее, быстро отдергивал руку, потянувшись за бутылкой или какой-нибудь закуской, обрывал фразу на полуслове и привлек внимание Пильеро этим смехотворным разладом с самим собой. Красное лицо Клапарона и его парик в мелких кудряшках не соответствовали его манерам, как его мысли — словам. Но добродушные буржуа решили под конец, что все эти странности объясняются озабоченностью банкира.

— У него столько дел, — повторял Роген.

— Дела не научили его, однако, правилам приличия, — съязвила г-жа Рагон, обращаясь к Цезарине.

Роген, услышав эту фразу, приложил палец к губам.

— Он богат, ловок, поразительно честен, — сказал он, наклонившись к г-же Рагон.

— За такие достоинства ему можно многое простить, — заметил Пильеро.

— Ознакомимся с договором перед обедом, — предложил Роген, — мы здесь одни, никого из посторонних нет.

Госпожа Рагон, Цезарина и Констанс вышли из комнаты, оставив компаньонов — Пильеро, Рагона, Цезаря, Рогена и Клапарона; Александр Кротта зачитал арендный договор. Цезарь подписал обязательство на сорок тысяч франков на имя одного из клиентов Рогена, обеспечивая это обязательство своими земельными участками и фабрикой в предместье Тампль; он передал Рогену без расписки банковский чек Пильеро и на двадцать тысяч франков векселей из своего портфеля; кроме того, он выдал на сто сорок тысяч франков векселей приказу Клапарона.

— Мне незачем выдавать вам расписку, — сказал Клапарон, — вы, как и мы, связаны с господином Рогеном. Продавцы участков получат деньги от него, я обязуюсь только раздобыть недостающие вам для покупки сто сорок тысяч франков — под эти ваши векселя.

— Правильно, — подтвердил Пильеро.

— Ну что ж, господа, не пригласить ли наших дам, без них как-то холодно? — предложил Клапарон и посмотрел на Рогена, словно спрашивая его, не слишком ли это вольная шутка.

— Милостивые государыни!.. О, барышня, конечно, ваша дочь, — воскликнул Клапарон, выпрямившись и посмотрев на Бирото. — Ну, вы, видно, охулки на руку не положите. Она лучше всех роз, которые вы перегоняете на духи, и, может быть, именно потому, что вы перегоняете розы...

— Признаюсь, — перебил его Роген, — я проголодался.

— Превосходно, давайте обедать, — сказал Бирото.

— Итак, мы обедаем, так сказать, в присутствии нотариуса, — напыщенно заявил Клапарон.

— У вас, видно, много дел, — сказал Пильеро, намеренно садясь за стол рядом с Клапароном.

— Чрезвычайно много, просто сотни, — ответил банкир, — и все такие трудные, запутанные, особенно каналы. Ох! уж эти мне каналы! Вы представить себе не можете, сколько хлопот связано с каналами! Но это понятно. Правительство хочет строить каналы. В каналах обычно больше всего заинтересована провинция, но они важны и для всей торговли, сами понимаете! Реки, сказал Паскаль, — это движущиеся дороги. Нам нужны рынки. Рынки зависят от дорог, а дороги сплошь и рядом никуда не годны, необходимо проделать огромные земляные работы, земляные работы прокормят неимущих; следовательно, необходимы займы, которые в конечном итоге полезны бедноте! Вольтер сказал: «Каналы, канарейки, канальи!» Но у правительства на службе инженеры, ему не так-то легко втереть очки, разве только столковаться с ними, а тут еще палата... Ах, сударь, сколько затруднений причиняет нам палата! Там не желают понять, что за вопросами финансовыми скрываются вопросы политические. Везде наталкиваешься на недобросовестность. Поверите ли? Вот, например, Келлеры... Франсуа Келлер — оратор, он громит правительство и по поводу финансов, и по поводу каналов. Вернувшись домой, этот молодчик выслушивает наши предложения, и они ему нравятся, но теперь нужно договариваться с тем самым правительством, на которое он только что нападал. Интересы оратора и банкира сталкиваются, и мы — меж двух огней! Понимаете теперь, почему так тернист наш путь? Ведь надо всех ублажать: и чиновников, и слуг сановников, и депутатов, и министров...

— Министров? — переспросил Пильеро, твердо решивший раскусить этого компаньона.

— Да, сударь, министров.

— Выходит, газеты правы, — заметил Пильеро.

— Ну, вот! Дядя уже увлекся политикой, — сказал Бирото, — господин Клапарон подливает масла в огонь.

— А еще эти проклятые болтуны-газетчики, — продолжал Клапарон. — Сударь, газеты все осложняют; иной раз они и оказывают нам услуги, но сколько раз они заставляли меня работать ночи напролет; я предпочел бы провести эти ночи иначе; в результате я испортил себе глаза, столько пришлось читать и подсчитывать.

— Однако вернемся к министрам, — не унимался Пильеро, надеясь услышать какие-нибудь разоблачения.

— Министры предъявляют поистине правительственные требования. Но что это за блюдо? Амброзия! — прервал себя Клапарон. — Вот соус так соус! Только в порядочном доме его и попробуешь, никогда в кабаке...

При этом слове цветы на чепчике г-жи Рагон подпрыгнули, словно барашки. Клапарон понял, что попал впросак, и захотел поправиться.

— В высших финансовых сферах, — пояснил он, — кабаками называют шикарные модные рестораны — Вери, «Провансальские братья». Так вот, ни жалкие кабатчики, ни наши ученые повара никогда не подадут вам такой нежный соус, — одни потчуют вас водицей с лимонным соком, а другие — химическими растворами.

Весь обед прошел в тщетных попытках Пильеро прощупать Клапарона; старик ничего не обнаружил и счел его за человека опасного.

— Все идет отлично, — шепнул Роген Клапарону.

— Ах! я обязательно переоденусь вечером, — пробормотал Клапарон, — я задыхаюсь.

— Сударь, — обратился к нему Бирото, — нам пришлось превратить столовую в гостиную, ибо через две с половиной недели мы приглашаем друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и...

— Прекрасно, сударь; я сам предан правительству. Я придерживаюсь принципов status quo[[16]](#footnote-16), которые применяет великий человек, вершитель судеб австрийского королевского дома. Вот уж действительно молодчина! Сохранять, чтобы приобретать, и главное — приобретать, чтобы сохранять... Всецело разделяю мнение князя Меттерниха и горжусь этим!..

— ...И отметить награждение меня орденом Почетного легиона, — продолжал Цезарь.

— Да, да, я знаю. Кто мне говорил об этом? Келлеры или Нусинген?

У Рогена, пораженного таким апломбом, вырвался жест восхищения.

— Ах, нет, я слышал об этом в палате.

— В палате, от господина де ла Биллардиера? — спросил Цезарь.

— Совершенно верно.

— Он очень мил, — шепнул Цезарь дяде.

— Так и сыплет фразами, — возразил Пильеро, — в них, чего доброго, захлебнешься.

— Быть может, я заслужил эту награду... — начал снова Бирото.

— Своими трудами в парфюмерном деле, — вставил Клапарон. — Бурбоны умеют вознаграждать по заслугам. Будем преданы нашим великодушным законным монархам, которые принесут нам неслыханное благоденствие... Поверьте мне, Реставрация понимает, что ей надлежит состязаться с Империей; она совершит мирные завоевания, и все мы будем свидетелями этих завоеваний!

— Сударь, вы, конечно, окажете нам честь пожаловать на наш бал, — сказала г-жа Бирото.

— Ради счастья провести у вас вечер, сударыня, я готов отказаться от миллионов.

— Он действительно отчаянный болтун, — сказал Цезарь дяде.

Меж тем как Бирото, славнейший из парфюмеров, собирался блеснуть в последний раз перед своим закатом, на торговом горизонте робко восходила новая звезда. Юный Попино в этот час закладывал на улице Сенк-Диаман основы своего благосостояния. Улица Сенк-Диаман, небольшая узенькая улица, по которой с трудом проезжают ломовые телеги, одним концом упирается в Ломбардскую улицу, а другим, как раз напротив улицы Обриле-Буше, — выходит на улицу Кенкампуа, славную улицу старого Парижа, столь известную в истории Франции. Несмотря на все неудобства, улицу Сенк-Диаман облюбовали аптекарские и москательные торговцы; таким образом выбор Ансельма Попино был удачен.

В доме, где он обосновался, втором от угла Ломбардской улицы, было настолько темно, что иной раз среди бела дня приходилось зажигать лампы. Начинающий купец накануне вечером вступил во владение этим на редкость грязным и неприглядным помещением. Его предшественник, торговец патокой и сахарным сиропом, оставил следы своей торговли всюду — на стенах, в складах, во дворе. Вообразите большую просторную лавку, тяжелые двери, выкрашенные зеленой краской, обитые железными полосами и испещренные головками крупных гвоздей, похожими на шляпки грибов; окна забраны выгнутыми снизу массивными железными решетками, как в старых булочных, пол выложен большими белыми плитами, частью разбитыми, стены желтые и голые, как в казарме. Кроме того — помещение за лавкой и кухня с окнами во двор; во дворе находился второй склад, который когда-то был, вероятно, конюшней. Внутренняя лестница вела из помещения за лавкой наверх, где были расположены две комнаты с окнами на улицу; здесь Попино намеревался устроить кассу, свой кабинет и контору. Над складом, примыкавшим к стене соседнего дома, были три узкие комнаты с окнами во двор; в них Попино и собирался поселиться. Из окон этих запущенных комнат виден был только темный в закоулках двор, окруженный со всех сторон стенами, которые от сырости даже в самую сухую погоду казались свежевыкрашенными; во дворе между булыжниками застоялась черная зловонная грязь, смешанная с патокой и сахарным сиропом. Только в одной комнате имелся камин; все три даже не были оклеены обоями, пол был выложен каменными плитками.

С раннего утра Годиссар и Попино с помощью маляра, которого разыскал где-то коммивояжер, оклеивали дешевыми обоями отвратительную комнату, где маляр предварительно побелил потолок. Обстановку ее составляли узкая кровать красного дерева, жалкий ночной столик, старинный комод, стол, два кресла и полдюжины стульев — подарок судьи Попино племяннику. Годиссар украсил камин купленным по случаю зеркалом с мутным стеклом. В восьмом часу вечера, усевшись у камина, в котором пылала охапка дров, друзья собрались поужинать остатками завтрака.

— Долой холодную баранину! Она не годится для новоселья, — воскликнул Годиссар.

— Увы! — пробормотал Попино, показывая единственную монету в двадцать франков, которую он берег для оплаты объявления. — Я...

— А у меня... — ответил Годиссар, приставляя к глазу, как монокль, монету в сорок франков.

В эту минуту послышались удары молотка во дворе, пустынном и тихом в воскресные дни, когда все рабочие покидают мастерские и расходятся по домам.

— Вот мой верный слуга с улицы Потри. Видите, — продолжал прославленный Годиссар, — важнее не «я», а «у меня»!

И правда, официант из ресторана и два поваренка принесли в трех корзинках обед и шесть бутылок вина, выбранного со знанием дела.

— Да разве мы справимся со всеми этими яствами? — спросил Попино.

— А наш литератор? — воскликнул Годиссар. — Фино любит пиршества и суету сует, наивное вы дитя. Он явится со сногсшибательным проспектом. Хорошее словечко, а? Ну, а проспекты всегда жаждут. Хочешь получить цветы, поливай посеянные семена. Удалитесь, рабы, — рисуясь, сказал он поварятам, — вот золото.

И жестом, достойным Наполеона, своего кумира, он протянул им десять су.

— Спасибо, господин Годиссар, — ответили поварята, более довольные шуткой, чем деньгами.

— Ты же, сын мой, — сказал он лакею, который остался прислуживать, — разыщи привратницу. Она живет в глубине пещеры, там иногда она стряпает, ради отдохновения, подобно тому как некогда Навзикая стирала белье. Предстань пред ней, преклони колена пред ее чистотой и упроси ее подогреть эти блюда. Скажи ей, что за это ее будет благословлять, а главное — уважать, глубоко уважать, Феликс Годиссар, сын Жака-Франсуа Годиссара, внук Годиссара, потомок многих Годиссаров, презираемых плебеев, его предков. Ступай, и да сопутствует тебе удача, не то получишь такую взбучку, что своих не узнаешь.

Снова раздался удар молотка.

— Вот и остроумец Андош! — возвестил Годиссар.

Вошел толстый, с пухлыми щеками молодой человек среднего роста, сын шляпочника с головы до пят, с расплывчатыми чертами лица, скрывавшими хитрость под маской степенности. Печальное, как у всякого истомленного нуждой человека, лицо его приняло веселое выражение при виде накрытого стола и бутылок с красноречивыми этикетками.

В ответ на возглас Годиссара бледно-голубые глаза его засверкали, он покачал своей огромной головой с калмыцким носом и обернулся к друзьям; с Попино он поздоровался как-то особенно, без заискивания и даже без малейшей почтительности, — как человек, который чувствует себя не на своем месте и не согласен ни на какие уступки. К этому времени Фино уже начинал понимать, что не обладает ни в какой мере литературным талантом, и подумывал о том, чтобы утвердиться в литературном мире иным путем: в роли эксплуататора способностей одаренных людей и делать дела, вместо того чтобы писать плохо оплачиваемые произведения. Как раз в эту пору, убедившись в том, что смиренными просьбами и самоунижением ничего не добьешься, он решил, подобно крупным финансистам, резко изменить курс и усвоить наглые манеры. Он нуждался для начала карьеры в средствах. Годиссар указал ему на возможность нажить деньги, продвигая масло Попино.

— Договаривайтесь за его счет с газетами, но не надувайте Ансельма, иначе я вам враг не на живот, а на смерть. Пусть его деньги даром не пропадут!

Попино с тревогой поглядывал на «сочинителя». Торговый люд смотрит на писателей со смешанным чувством боязни, жалости и любопытства. Хотя Попино получил хорошее образование, но взгляды и предрассудки его родственников, притупляющая ум работа в лавке и кассе сказались на его взглядах, подчинив их нравам и обычаям среды; подобное явление можно наблюдать, следя за изменениями, происходящими за десять лет с сотней школьных товарищей, мысливших примерно одинаково при окончании коллежа или пансиона. Андош принял растерянность Попино за глубокое восхищение.

— Давайте-ка до обеда обсудим как следует проспект, а потом отложим все заботы и выпьем, — предложил Годиссар. — На сытый желудок читать трудненько. Язык ведь тоже участвует в пищеварении.

— Сударь, — сказал Попино, — иной раз проспект — это целое богатство.

— А для такого бедняка, как я, богатство только в проспекте.

— Здорово сказано! — восхитился Годиссар. — У нашего шутника Андоша остроумия хватит на сорок человек.

— На сто, — воскликнул Попино, ошеломленный шуткой Фино.

Нетерпеливый Годиссар схватил рукопись и прочитал громко и напыщенно:

— «Кефалическое масло»!

— Я предпочел бы «Цезарево» или «Кесарево масло», — вставил Попино.

— Друг мой, — возразил Годиссар, — ты не знаешь провинциалов: существует хирургическая операция под этим названием, и провинциалы так глупы, что примут твое масло за родовспомогательное средство. А тогда попробуй докажи им, что они ошибаются.

— Не настаиваю, — заметил автор проспекта, — только позвольте заметить, что «Кефалическое масло» в переводе значит «масло для головы», — и, следовательно, это название вполне выражает вашу мысль.

— Посмотрим, — с нетерпением сказал Попино.

Вот этот проспект, который до сих пор рассылается повсюду в десятках тысяч экземпляров. (Второй *исторический документ* .)

«КЕФАЛИЧЕСКОЕ МАСЛО»

*Золотая медаль на выставке 1827 г.*

*Патент на изобретение*

*и усовершенствование*

Никакое косметическое средство не способствует росту волос, равно как химический красящий препарат не остается безвредным для вместилища разума. Наука открыла недавно, что волосы представляют собой мертвое вещество и никакими средствами нельзя приостановить ни их выпадения, ни седины. Чтобы предотвратить высыхание волос и облысение, достаточно предохранять корни волос от внешнего влияния воздуха и поддерживать свойственную голове температуру. На основании принципов, установленных Академией наук, и было изготовлено «Кефалическое масло», способствующее сохранению волос, к чему стремились уже древние римляне, греки и северные народы, дорожившие богатой шевелюрой. Исследования ученых доказали, что представители знати, которые раньше отличались длинными волосами, не употребляли никакого иного средства: был только утрачен способ изготовления масла, ныне искусно восстановленный А. Попино, изобретателем «Кефалического масла».

Сохранять волосы, вместо того чтобы добиваться невозможного или вредного на них воздействия, — таково назначение «Кефалического масла». Масло это, препятствующее образованию перхоти, обладает приятным запахом благодаря своему составу, в основу которого положена ореховая эссенция; предохраняя голову от воздействия окружающего воздуха, оно таким образом предупреждает простуду, насморки и всякого рода болезненные явления, вредные для головного мозга. Таким образом, корни волос, содержащие питательную влагу, никогда не подвергаются действию ни холода, ни жары. Волосы — это великолепное украшение, которым так дорожат мужчины и женщины, — у лиц, употребляющих наше масло, сохраняют вплоть до преклонных лет блеск, тонкость, глянец, придающие такую прелесть детским головкам.

Способ употребления напечатан на обертке каждого флакона.

Совершенно бесполезно намазывать маслом волосы; это не только смешной предрассудок, но и неудобная привычка, ибо масло всюду оставляет следы. Достаточно каждое утро, расчесав предварительно волосы щеткой и гребнем, обмакнуть в масло небольшую мягкую губочку и постепенно, разделяя волосы на пряди, смазывать их у корней так, чтобы кожа была покрыта тонким слоем масла.

«Кефалическое масло» продается во флаконах, снабженных подписью изобретателя во избежание подделки. Цена — три франка за флакон. Обращаться к господину А. Попино, улица Сенк-Диаман, Ломбардский квартал — Париж.

Покорнейше просим оплачивать почтовые расходы.

Примечание — Торговый дом «Попино и К°» поставляет также аптечные масла: померанцевое, лавандовое, миндальное, масло какао, кофейное, касторовое и другие».

— Дорогой друг, — сказал прославленный Годиссар, улыбаясь Фино, — написано великолепно. Черт побери! Здорово мы ударились в науку! Мы не виляем, берем быка за рога. Ах! Я вас от души поздравляю. Вот это — полезная литература.

— Изумительный проспект! — с восторгом воскликнул Попино.

— Проспект с первого же слова губит «Макассарское масло», — заявил Годиссар и, встав с важным видом, произнес, отчеканивая каждое слово и подкрепляя его жестами парламентского оратора: «Ничто не способствует — росту — волос! Нет — безвредной — краски — для — волос!» О, о, вот в чем залог успеха: современная наука не опровергает обычаев древних. Убедительно и для старых, и для молодых. Старику вы скажете: «Да, да, сударь, древние греки и римляне были правы, не так-то уж они были глупы, как некоторые думают». А молодому человеку заявите: «Милый юноша, вот еще новое открытие, которым мы обязаны просвещению, мы движемся вперед! Чего только не даст нам еще пар, разные там телеграфы и прочие открытия. Это масло — результат исследований господина Воклена!» А не напечатать ли нам выдержку из сообщения господина Воклена в Академии наук, подтверждающую наши заверения! Вот будет замечательно! А сейчас, Фино, за стол! Закусим и выпьем на славу! Осушим бокал шампанского за успех нашего Попино!

— Мне думается, — скромно сказал автор, — что время легкомысленных и шутливых проспектов миновало; мы вступаем в эру науки, — необходим докторальный, авторитетный тон, иначе не завоюешь публику.

— Вспрыснем же это масло. Язык у меня так и чешется, руки зудят, — я стану представителем всех, кто возится с волосами. Никто из них не дает больше тридцати процентов скидки, надо пойти на сорок процентов, и я берусь продать сто тысяч флаконов в полгода. Я атакую аптекарей и москательщиков, бакалейщиков и парикмахеров, и за сорок процентов они околпачат своих покупателей.

Молодые люди ели, как львы, пили, как мушкетеры, и опьянялись будущим успехом «Кефалического масла».

— Это масло крепко ударяет в голову! — со смехом воскликнул Фино.

Годиссар исчерпал все возможные каламбуры со словами «масло», «волосы», «голова». За десертом среди взрывов гомерического хохота три приятеля, несмотря на тосты и взаимные пожелания всяческого благополучия, расслышали удары дверного молотка.

— Верно, дядя надумал прийти навестить меня! — воскликнул Попино.

— Дядя? — сказал Фино. — А у нас даже нет лишнего стакана!

— Дядя моего друга Попино — судья, — пояснил Годиссар Андошу Фино. — Не вздумай подтрунивать над ним, он спас мне жизнь. Ах, кто побывал в моем положении, лицом к лицу с гильотиной, когда — «чик, и прощай шевелюра!», — прибавил он, жестом изображая движение рокового ножа, — тот вечно будет помнить почтенного следователя, сохранившего ему глотку для шампанского! Даже мертвецки пьяный, он не забудет своего спасителя. Да и ты, Фино, не зарекайся. Может, и тебе понадобится когда-либо господин Попино. Черт побери! не будем же скупиться на поклоны.

«Почтенный следователь» действительно справлялся у привратницы о племяннике. Узнав его голос, Ансельм, чтобы посветить ему, спустился вниз со свечой в руке.

— Здравствуйте, господа, — сказал судья.

Прославленный Годиссар низко поклонился. Фино вперил в судью пьяный взор и нашел его простоватым.

— Здесь не роскошно, — заметил судья, окидывая взглядом комнату. — Ничего, дитя мое, хочешь стать большим человеком — начинай с малого.

— Какой глубокий ум! — шепнул Годиссар Андошу.

— Фраза из газетной статьи! — ответил журналист.

— А! Это вы, сударь! — сказал судья, узнав коммивояжера. — Какими судьбами?

— Сударь, я по мере своих слабых сил хочу способствовать преуспеянию вашего любезного племянника. Мы только что обсуждали проспект, прославляющий его масло, а вот перед вами и автор этого проспекта, который представляется мне лучшим образцом, так сказать, парикмахерской литературы.

Судья взглянул на Фино.

— Сударь, — продолжал Годиссар, — позвольте представить вам господина Андоша Фино, одного из самых выдающихся молодых литераторов, он пишет в правительственных газетах и о высокой политике, и о маленьких театрах. Пока он — орудие в руках других, но будет и сам вершить чужие судьбы.

Фино дернул Годиссара за полу сюртука.

— Отлично, дети мои, — сказал судья, которому остатки невинного пиршества на столе объяснили эти слова. — Дружок, — обратился он к Ансельму, — переоденься, мы сейчас отправимся к господину Бирото, я должен отдать ему визит. Вы с ним подпишете товарищеский договор, я внимательно все обдумал. Фабрика, изготовляющая масло, находится на принадлежащей ему земле в предместье Тампль, и, я полагаю, Бирото должен передать тебе ее в аренду, позднее могут объявиться наследники; когда хорошо обо всем договоришься, недоразумений не бывает. Стены здесь, по-моему, сырые; повесь циновки над кроватью, Ансельм.

— Видите ли, господин судья, — заговорил Годиссар с вкрадчивостью придворного, — мы сегодня сами оклеивали стены обоями, они... еще... не просохли.

— Похвальная бережливость, — одобрил судья.

— Послушай, — шепнул Годиссар на ухо Фино, — мой друг Попино добродетельный молодой человек, он проведет вечер с дядюшкой, а мы отправимся к кузиночкам.

Журналист вывернул наизнанку жилетный карман. Попино понял его жест и сунул двадцать франков автору проспекта.

Судью поджидал на углу фиакр, и старик повез племянника к Бирото. Когда они прибыли к Бирото, г-н Пильеро, супруги Рагон и Роген играли в бостон, а Цезарина вышивала косынку. Роген, сидевший напротив г-жи Рагон и Цезарины, заметил, как обрадовалась девушка приходу Ансельма, как щеки ее зарделись, словно спелый гранат, и подмигнул своему старшему клерку.

— Видно, нам сегодня суждено только и делать, что подписывать акты, — заметил парфюмер, когда судья, поздоровавшись, объяснил цель своего визита.

Цезарь, Ансельм и судья поднялись на третий этаж, во временную спальню парфюмера, обсудить условия аренды фабрики и товарищеский договор, составленный стариком Попино. Договор на аренду заключили на восемнадцать лет, соответственно сроку найма помещения на улице Сенк-Диаман, — обстоятельство это, казалось бы малозначительное, позднее послужило на пользу Бирото. Когда Цезарь и судья спустились вниз, старик Попино, удивленный разгромом, царившим в квартире, и присутствием рабочих в воскресный день в доме столь религиозного человека, как Бирото, попросил объяснить ему, что тут творится. Парфюмер только того и ждал.

— Хотя вы и не поклонник светских удовольствий, вы, надеюсь, не осудите нас за то, что мы собираемся отпраздновать освобождение Франции. Но это еще не все. Я приглашаю друзей также и для того, чтобы отметить награждение меня орденом Почетного легиона.

— А! — протянул судья, не имевший ордена.

— Быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом суда... коммерческого, конечно, и сражался за Бурбонов тринадцатого вандемьера на ступенях...

— Да, знаю, знаю, — проговорил судья.

— ...церкви святого Роха, там я был ранен Наполеоном. Надеюсь...

— Охотно приду, — сказал судья. — Если жена будет здорова, я приду с ней.

— Ксандро, — сказал, уходя, Роген своему клерку, — ты и думать перестань о женитьбе на Цезарине. Месяца через полтора оценишь мой добрый совет.

— Почему? — спросил Кротта.

— Бирото собирается истратить тысяч сто на бал, да еще, вопреки моим советам, вкладывает все свое состояние в спекуляцию земельными участками. Через полтора месяца эти люди останутся без куска хлеба. Женись-ка лучше, мой милый, на мадмуазель Лурдуа, дочери подрядчика малярных работ. У нее триста тысяч франков приданого; я приберег для тебя этот выход. Отсчитай мне всего лишь сто тысяч франков, и завтра же можешь получить мою контору.

О великолепном бале, затеваемом парфюмером, газеты протрубили на всю Европу, купечество же узнало о нем совсем иным путем, — по толкам, вызванным ночными работами. Утверждали, что Цезарь Бирото снял три дома, что залы у него будут раззолочены, что к обеду подадут специально по этому случаю изобретенные блюда; одни рассказывали, что купцов на бал не пригласят, что праздник дается лишь для представителей власти; другие строго осуждали честолюбие парфюмера, высмеивали его политические претензии, некоторые даже сомневались, был ли он когда-либо ранен. Немало интриг породил бал во втором округе; друзья не надоедали Бирото, но люди едва знакомые с парфюмером не считались ни с чем в своих притязаниях. Всякое благополучие порождает льстецов. Нашлось немало лиц, которые всеми средствами добивались приглашения. Супруги Бирото были напуганы количеством дотоле неизвестных им друзей. Эта жажда попасть на бал испугала г-жу Бирото, она становилась все мрачнее и мрачнее с приближением дня торжества. Констанс призналась Цезарю, что не знает, как ей себя держать, ее страшили бесчисленные мелочи подобного празднества: где раздобыть серебро, хрусталь, прохладительные напитки, посуду, слуг? И кто будет за всем следить? Она просила Бирото встречать гостей у дверей и впускать только приглашенных, ибо наслушалась странных историй о людях, являвшихся на балы в буржуазные дома и ссылавшихся на каких-то друзей, имена которых они не могли назвать.

За десять дней до знаменательного воскресенья 17 декабря Брашон, Грендо, Лурдуа и Шафару, подрядчик строительных работ, заверили, что квартира будет готова в срок; вечером в маленькой гостиной состоялось забавное совещание между Цезарем, его женой и дочерью: они занялись составлением списка приглашенных и заготовлением пригласительных билетов; присланные типографом еще утром, эти приглашения были отпечатаны изящным шрифтом на розовой бумаге по всем правилам кодекса буржуазной учтивости.

— Ах, как бы не забыть кого-нибудь! — воскликнул Бирото.

— Если мы кого и забудем, — ответила Констанс, — каждый сам себя не забудет. Госпожа Дервиль, никогда у нас не бывавшая, пожаловала вчера во всем параде.

— Она мне понравилась, — заметила Цезарина.

— А до замужества ее положение было еще скромнее моего, — сказала Констанс, — она работала в бельевой лавке на Монмартре и шила сорочки твоему отцу.

— Итак, внесем в список сначала самых знатных, — провозгласил Бирото. — Пиши, Цезарина: герцог и герцогиня де Ленонкур...

— Господи, Цезарь! — взмолилась Констанс. — Не посылай, пожалуйста, приглашений лицам, которых знаешь лишь как поставщик. Не собираешься же ты пригласить княгиню де Бламон-Шоври, а она еще более близкая родственница твоей крестной матери, покойной маркизы д'Юкзель, чем герцог де Ленонкур? Да, может быть, ты думаешь пригласить заодно и обоих Ванденесов, де Марсе, де Ронкероля, д'Эглемона, — ну, словом, всех покупателей? Ты с ума сошел, почести вскружили тебе голову.

— Прости, но уж графа-то де Фонтэна с семьей я приглашу. Еще до памятного дня тринадцатого вандемьера он заходил в «Королеву роз» под именем «Большого Жака» вместе с «Молодцом» — маркизом Монтораном и господином де ла Биллардиером, известным в то время под кличкой «Нантиец». Что за горячие были тогда рукопожатия!.. «Смелей, дорогой Бирото, смелей! Умрем за правое дело!» Мы с ним — старые товарищи по заговору.

— Ну, хорошо, впиши его, — согласилась Констанс. — Надо же господину де ла Биллардиеру и его сыну с кем-нибудь поговорить, если они придут.

— Пиши, Цезарина, — сказал Бирото. — «Primo» — префект департамента Сены; придет он или не придет, дело его, но он глава муниципалитета, а «по месту и честь»! Господин де ла Биллардиер с сыном, мэр. Число приглашенных пиши сбоку. Мой коллега, господин Гране, помощник мэра, с женой. Она ужасная уродина, но все равно, нельзя ее обойти! Господин Кюрель, ювелир, полковник национальной гвардии, с женой и двумя дочерьми. Ну, начальство, кажется, все. Теперь — знать! Граф и графиня де Фонтэн и их дочь мадмуазель Эмилия де Фонтэн...

— Дерзкая особа, она вечно вызывает меня из лавки, и изволь стоять и разговаривать с ней у дверцы кареты в любую погоду, — сказала г-жа Бирото. — Поверь, если она и придет, то лишь для того, чтобы поиздеваться над нами.

— Ну, тогда она, наверно, придет, — сказал Цезарь, жаждавший видеть у себя знатных особ. — Пиши дальше, Цезарина: граф де Гранвиль с супругой, мой домовладелец, самая светлая голова при дворе, как утверждает Дервиль. — Ах, да, господин де ла Биллардиер представит меня завтра графу де Ласепеду, который лично вручит мне орден. Следовало бы послать приглашение на бал и обед великому канцлеру ордена Почетного легиона. Затем — господин Воклен; отметь, Цезарина, — на бал и обед. Да, чтоб не забыть, запиши всех Шифревилей и Протесов. Далее: господин Попино, судья департамента Сены с женой, господин Тирион, придверник кабинета короля с супругой, — это знакомые Рагонов, их дочь скоро выходит замуж за одного из сыновей господина Камюзо от первого брака.

— Цезарь, не забудь Opaca Бьяншона — племянника господина Попино и кузена Ансельма, — напомнила Констанс.

— Ну еще бы! Цезарина уже написала четыре приглашения для Попино. — Господин Рабурден, начальник канцелярии господина де ла Биллардиера, с женой; из того же ведомства — господин Кошен с женой и сыном — компаньон Матифа, да заодно и господин Матифа с супругой и дочерью.

— Супруги Матифа, — заметила Цезарина, — просили за своих друзей — Кольвилей и Гюнне, а также за Сандеров.

— Посмотрим, — ответил Цезарь. — Наш биржевой маклер Жюль Демаре с женой.

— Она будет первой красавицей на балу, лучше всех! — воскликнула Цезарина. — Она мне так нравится.

— Супруги Дервиль.

— Впиши супругов Коклен, преемников дяди Пильеро, — попросила Констанс— Они так рассчитывают на приглашение! Бедняжка заказала у моей портнихи великолепный бальный наряд, тюлевое, расшитое цветами цикория платье на белом шелковом чехле. Хорошо еще, что она не додумалась заказать себе расшитое золотом платье, как на придворный бал! Если их не пригласить, — наживем себе заклятых врагов.

— Внеси их в список, Цезарина; мы должны оказать честь купечеству, мы сами к нему принадлежим. Дальше — супруги Роген.

— Мама, госпожа Роген наверняка наденет бриллиантовое ожерелье, все свои драгоценности и платье, отделанное кружевами.

— Супруги Леба, — диктовал Цезарь. — Затем господин председатель коммерческого суда с супругой и двумя дочерьми. Я забыл о них, перечисляя начальство. Господин Лурдуа с женой и дочерью. Господин Клапарон, банкир, господин дю Тийе, господин Грендо, господин Молине. Пильеро и его домовладелец, супруги Камюзо, богатые торговцы шелком, с сыновьями; один из них — преподаватель в Политехнической школе, другой — адвокат.

— Он скоро получит назначение на пост судьи в провинции, — заметила Цезарина. — Правда, благодаря женитьбе на мадмуазель Тирион.

— Господин Кардо, тесть Камюзо-старшего, с семейством. Подожди, чуть не забыл. Гильомы с улицы Коломбье, тесть и теща Леба; старички будут подпирать стенки. Александр Кротта, Селестен...

— Папа, не забудь господина Андоша Фино и господина Годиссара: эти молодые люди очень нужны господину Ансельму Попино.

— Годиссар! Он был под следствием. Ну, ладно, ведь он через несколько дней покидает Париж и отправляется в провинцию сбывать наше масло... пиши! Ну, а господин Андош Фино, он-то нам зачем?

— Господин Попино говорит, что Фино далеко пойдет, он умен, как Вольтер.

— Сочинитель? Все они безбожники.

— Запишем его, папа: у нас мало танцующих. Затем, ведь он написал прекрасный проспект, расхваливающий ваше масло.

— Он верит в наше масло? — сказал Цезарь. — Внеси его в список, дочка.

— И у меня оказались подопечные, — заметила Цезарина.

— Впиши господина Митраля, нашего судебного пристава, господина Одри, нашего доктора, — конечно, ради соблюдения приличий: он-то не придет.

— Придет ради карт, — сказала Цезарина.

— Надеюсь, Цезарь, ты не забыл пригласить на обед господина аббата Лоро?

— Я ему уже написал, — ответил Цезарь.

— Давайте пригласим еще свояченицу Леба, Августину де Сомервье, — вспомнила Цезарина. — Бедняжка, она так страдает, — Леба говорил, она умирает от горя.

— Вот что значит выйти замуж за художника, — воскликнул парфюмер. — Смотри-ка, мать задремала, — тихо шепнул он дочери. — Баю-бай! спокойной ночи, женушка. А когда будет готово платье для мамы? — спросил он у Цезарины.

— Вовремя, папа. А мама думает, что у нее будет шелковое платье, такое, как у меня; портниха уверена, что обойдется без примерки.

— Сколько всего приглашенных? — громко спросил Цезарь, видя, что жена открывает глаза.

— Сто девять, вместе с приказчиками, — ответила Цезарина.

— Куда мы их всех поместим? — сказала г-жа Бирото. — Но в конце концов это воскресенье когда-нибудь закончится, — простодушно добавила она.

Ничего не делается просто у людей, которые подымаются с одной ступени социальной лестницы на другую. Ни г-жа Бирото, ни Цезарь не хотели заранее осмотреть второй этаж. Цезарь обещал рассыльному Раге новый костюм ко дню бала, если тот будет добросовестно караулить у входа и не пропускать посторонних. Бирото, подобно Наполеону в Компьене, когда к свадьбе его с Марией-Луизой Австрийской обновлялся дворец, желал обозреть все сразу, насладиться неожиданностью. Итак, два старинных врага, сами того не подозревая, столкнулись еще раз, но не на поле сражения, а на почве буржуазного тщеславия. Г-ну Грендо пришлось взять Цезаря под руку и показать ему квартиру, подобно тому как чичероне показывает любопытному путешественнику картинную галерею. Мало того, каждый в доме готовил свой сюрприз. Цезарина, милое дитя, истратила свой скромный капитал в сто луидоров и купила отцу книги. Г-н Грендо как-то утром сказал ей по секрету, что в кабинете Цезаря будет два книжных шкафа — сюрприз, подготовленный архитектором. Цезарина выложила на прилавок книготорговца все свои девичьи сбережения и купила отцу в подарок сочинения Боссюэ, Расина, Вольтера, Жан-Жака Руссо, Монтескье, Мольера, Бюффона, Фенелона, Делиля, Бернарден де Сен-Пьера, Лафонтена, Корнеля, Паскаля, Лагарпа, — словом, трафаретную библиотеку, книги которой заведомо не стал бы читать Бирото. Со страхом ожидала она огромного счета от переплетчика. Знаменитый и не отличавшийся точностью переплетчик-художник Тувенен обещал доставить переплетенные книги к полудню шестнадцатого числа. Цезарина призналась в своем затруднении дядюшке, и Пильеро оплатил счет. Цезарь готовил сюрприз жене — бархатное вишневого цвета платье, отделанное кружевами, о нем-то он и спрашивал у дочери, тайной своей сообщницы. Подарок г-жи Бирото вновь испеченному кавалеру ордена Почетного легиона состоял из двух золотых пряжек и алмазной булавки. Наконец, сюрпризом для всех была заново отделанная квартира, а затем, через две недели, последний, самый большой сюрприз — подлежащие оплате счета.

Цезарь немало размышлял над тем, кому передать приглашения лично, а кому отправить с рассыльным. Он нанял фиакр, уселся в него вместе с женой, надевшей обезобразившую ее шляпу с перьями и последний подарок мужа — кашемировую шаль, предмет ее пятнадцатилетних мечтаний. Принарядившаяся чета парфюмеров в одно утро сделала двадцать два визита.

Цезарь избавил жену от хлопот, связанных с приготовлением различных яств для роскошного празднества. Он заключил дипломатическое соглашение со знаменитым Шеве. Шеве обязался предоставить великолепное серебро, приносившее ему больше дохода, чем иному — сдача земли в аренду, приготовить обед, доставить вина, прислать — под началом благообразного метрдотеля — слуг, образцовых по своему поведению и работе. Он потребовал в свое распоряжение кухню и столовую на антресолях для устройства там штаб-квартиры и брался приготовить к шести часам вечера обед на двадцать персон и великолепный холодный ужин к часу ночи. В «Кафе Фуа» Бирото заказал фруктовое мороженое, которое полагалось подавать на серебряных подносах, в красивых вазочках с позолоченными ложечками. Танрад, другая знаменитость, обязался доставить прохладительные напитки.

— Не беспокойся, — сказал Цезарь жене вечером, накануне празднества, заметив, что она очень волнуется. — Шеве, Танрад и «Кафе Фуа» займут антресоли, Виржини будет охранять третий этаж, лавка будет заперта. Для бала мы отведем только второй этаж.

Шестнадцатого декабря в два часа дня г-н де ла Биллардиер заехал за Цезарем, чтобы направиться вместе с ним в канцелярию капитула ордена Почетного легиона, где Бирото вместе с десятком других кавалеров должен был получить от графа де Ласепеда орден. Мэр застал парфюмера растроганным до слез: Констанс только что преподнесла мужу золотые пряжки и бриллиантовую булавку.

— Как сладко быть столь нежно любимым, — сказал парфюмер, садясь в фиакр, до которого его провожали приказчики, Цезарина и Констанс.

Все они глаз не спускали с Цезаря, облаченного в черные шелковые панталоны, шелковые чулки и новый василькового цвета фрак, который вскоре должна была украсить ленточка, «обагренная кровью», как выразился Молине.

Цезарь вернулся к обеду бледный от радости; он любовался крестом в каждом зеркале, ибо в первом порыве опьянения не удовольствовался ленточкой и без ложной скромности надел орден.

— Жена, — сказал он, — великий канцлер ордена — обаятельный человек; стоило господину де ла Биллардиеру только заикнуться, как он принял мое приглашение, он приедет вместе с господином Вокленом. Господин де Ласепед — великий человек, да, не менее великий, чем господин Воклен: он написал сорок томов! Но он не только писатель, он и пэр Франции. Не забудьте называть его «ваше сиятельство» или «граф».

— Не забудь пообедать! — прервала его Констанс — Право, отец твой, что малое дитя, — пожаловалась она дочери.

Как украшает орден! — сказала Цезарина. — Тебе будут отдавать честь, пройдемся с тобой по улице.

— Да, теперь все часовые должны отдавать мне честь.

В эту минуту вошли Грендо и Брашон. Они предложили Цезарю после обеда вместе с женой и дочерью осмотреть квартиру; старший десятник Брашона уже кончал укреплять в зале розетки для занавесей, а три человека зажигали свечи.

— Понадобится сто двадцать свечей, — заметил Брашон.

— Счет на двести франков от Трюдона, — пролепетала Констанс, но кавалер Бирото одним взглядом остановил ее причитания.

— Ваш праздник будет великолепен, господин кавалер, — сказал Брашон.

Бирото подумал: «Вот уже и льстецы завелись. Недаром предостерегал меня аббат Лоро от их сетей и призывал к скромности. Я всегда должен помнить о своем происхождении».

Цезарь не понял намека богатого обойщика с улицы Сент-Антуан. Одиннадцать раз Брашон безуспешно пытался добиться приглашения для себя, жены, дочери, тещи и тетки, и он сделался врагом Бирото. Уходя, Брашон уже не величал больше парфюмера «господин кавалер».

Генеральная репетиция началась. Цезарь с женой и дочерью вышли из лавки и поднялись к себе по парадной лестнице. Входная дверь была переделана в монументальном стиле, она была превращена в двустворчатую и разделена на равные квадраты, украшенные посредине отлитым из чугуна орнаментом. Теперь такие двери — самые обычные в Париже, тогда же они прельщали новизной. В глубине вестибюля между двумя крыльями лестницы находился столь беспокоивший Бирото цоколь, напоминавший собою своеобразный ящик, где могла бы устроить себе жилище какая-нибудь старуха. Пол в вестибюле был выложен белым и черным мрамором, стены выкрашены под мрамор, сверху спускалась люстра в античном стиле с четырьмя рожками. В отделке квартиры архитектор сочетал богатство и простоту. Узкая красная дорожка подчеркивала белизну ступеней, вытесанных из твердого песчаника, отшлифованного пемзой. С первой площадки открывался вид на антресоли. Внутренняя дверь была выдержана в том же стиле, что и входная, но украшена резьбой.

— Какое изящество! — воскликнула Цезарина. — А между тем ничто не бросается в глаза.

— Мадмуазель, изящество создается соблюдением пропорций между архитектурными украшениями, плинтусами, карнизами и орнаментом; у меня нигде нет позолоты, тона мягкие, не яркие.

— Да это целая наука! — заметила Цезарина.

Вошли в переднюю, просторную комнату с паркетным полом, отделанную и выдержанную в прекрасном стиле. Дальше шла белая с красным гостиная с тремя выходящими на улицу окнами, изящно вылепленными карнизами, с обоями красивого рисунка; тут не было ничего пестрого. На камине белого мрамора с колонками стояли со вкусом подобранные безделушки, не оскорблявшие самого строгого вкуса и прекрасно сочетавшиеся со всей обстановкой. Словом, в гостиной царила та мягкая гармония, создать которую может только художник, искусно соблюдающий определенный стиль убранства даже в мелочах; гармония эта восхищает буржуа, но остается для него непостижимой. Люстра в двадцать четыре свечи бросала отсветы на красные шелковые драпировки, паркет так соблазнительно блестел, что Цезарине захотелось танцевать. Будуар, выдержанный в зеленых и белых тонах, соединял гостиную с кабинетом Цезаря.

— Я поместил здесь кровать, — сказал Грендо, распахивая полог алькова, искусно спрятанного между двумя библиотечными шкафами. — Вы или ваша супруга в случае недомогания сможете иметь как бы отдельную комнату.

— Но откуда тут библиотека? И все книги переплетены... О жена, жена! — воскликнул Цезарь.

— Нет, это — подарок Цезарины.

— Извините растроганного отца, — обратился Бирото к архитектору и принялся целовать дочь.

— Не стесняйтесь, сударь, не стесняйтесь, — ответил Грендо, — вы у себя дома.

Стены в кабинете Цезаря были коричневые, оживленные зеленой отделкой; нежные оттенки убранства создавали гармоничное единство всей квартиры. Основной цвет одной комнаты служил отделкой в другой, и наоборот. В кабинете Цезаря на стене красовалась гравюра «Геро и Леандр».

— Вот ты-то и окупишь все, — весело бросил Бирото, взглянув на картину.

— Эту прекрасную гравюру вам дарит Ансельм, — сказала Цезарина.

Ансельм тоже захотел приготовить сюрприз.

— Славный малый! Он поступил со мною так же, как я с господином Вокленом.

Затем вошли в комнату г-жи Бирото. Здесь архитектор не поскупился на роскошь, которая очаровывает простодушных людей, он сдержал слово и исключительно тщательно осуществил «реставрацию» квартиры. В спальне стены покрывал голубой шелк в белых разводах, мебель была обита белым казимиром с голубой отделкой. На камине стояли часы с изображением Венеры, сидящей на прекрасно высеченной мраморной глыбе; красивый турецкого рисунка бархатный ковер, лежавший в спальне, гармонировал с очень изящной, обтянутой персидской материей, комнаткой Цезарины: там стояло фортепьяно, хороший зеркальный шкаф, узкая девичья кровать со скромными занавесями и все пустячки, столь любезные сердцу молодых девушек. Столовая помещалась за кабинетом Цезаря и спальней его жены; в нее подымались по лестнице: она была выдержана в стиле Людовика XIV; убранство ее составляли часы работы Буля, буфеты с инкрустациями из меди и черепахи; стены были обтянуты материей, прибитой позолоченными гвоздиками. Невозможно описать радость всей семьи, особенно в ту минуту, когда г-жа Бирото, вернувшись в спальню, обнаружила на постели подарок мужа — отделанное кружевами платье вишневого бархата, которое, крадучись, пронесла туда Виржини.

— Господин Грендо, убранство этой квартиры делает вам честь, — сказала Констанс архитектору. — Завтра у нас соберется больше ста человек гостей, и вы от всех услышите похвалы.

— Я введу вас в общество, — прибавил Цезарь. — Вы познакомитесь с цветом купечества, и один вечер принесет вам больше известности, чем целая сотня построенных домов.

Растроганная Констанс больше не жаловалась на расточительность мужа и не осуждала его. И вот почему. Ансельм Попино, которого Констанс считала очень умным и способным человеком, придя утром с гравюрой «Геро и Леандр», заверил ее в успехе «Кефалического масла», ради чего он работал не покладая рук. Влюбленный ручался, что как бы ни были значительны безумные траты Бирото, его доля дохода от продажи масла за какие-нибудь полгода покроет все расходы. После девятнадцати лет треволнений так сладко было порадоваться хоть один день, и Констанс обещала дочери не отравлять счастья Цезаря никакими опасениями и отдаться течению событий. Было около одиннадцати часов вечера, когда ушел Грендо; Констанс бросилась мужу на шею и, расплакавшись от избытка чувств, воскликнула:

— Ах, Цезарь, ты дал мне столько счастья!

— Если бы только оно продлилось... — сказал, улыбаясь, Цезарь.

— Обязательно продлится, я уже больше не боюсь, — ответила г-жа Бирото.

— В добрый час, — сказал парфюмер, — наконец-то ты меня оценила.

Люди, достаточно умные, чтобы понимать собственные слабости, согласятся, что девушка-сирота, восемнадцать лет назад работавшая старшей продавщицей в «Маленьком матросе» на острове Сен-Луи, и бедный туренский крестьянин, пришедший в столицу пешком с палкой в руках, в грубых башмаках с подковками, должны были чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными, давая подобный праздник по столь достойному поводу.

— Господи, я согласился бы потерять сотню франков, только бы кто-нибудь пришел к нам сейчас с визитом, — проговорил Цезарь.

— Аббат Лоро, — доложила Виржини.

В комнату вошел аббат Лоро. В ту пору он состоял викарием церкви Сен-Сюльпис. Пожалуй, никогда еще сила духа не проявлялась ни в ком яснее, чем в этом старике священнике, общение с которым оставило неизгладимый отпечаток в памяти всех, кто его знал. Угрюмое лицо его было настолько уродливо, что возбуждало неприязнь, почти отвращение, но аскетический образ жизни этого человека одухотворил его христианскими добродетелями, и черты его, казалось, излучали небесное сияние. Непорочная душа освещала безобразное лицо, и любовь к ближнему облагораживала его, меж тем как порок придавал внешности Клапарона нечто низменное и грубо животное.

Морщинистое чело старика Лоро озарял свет трех благородных человеческих добродетелей: веры, надежды и любви к людям. Речь его была ласкова, нетороплива и проникновенна. Как все парижские священники, он носил темно-коричневый сюртук. Никакие честолюбивые помыслы не омрачали чистоты его души, которую ангелы должны были вознести к божьему престолу. Только кроткая настойчивость дочери Людовика XVI заставила аббата Лоро принять приход в Париже, да и то самый скромный. Тревожным взором окинул он роскошную обстановку гостиной Бирото, улыбнулся трем очарованным буржуа и покачал седой головой.

— Дети мои, — промолвил он, — не пристало мне бывать на суетных празднествах, я должен нести утешение в дома скорбящих. Господин Бирото, я пришел поблагодарить и поздравить вас. Я приду к вам лишь на один праздник — на свадьбу этой милой девушки.

Через четверть часа аббат удалился, и ни парфюмер, ни жена его не осмелились показать старику квартиру. Посещение сурового гостя как бы пролило несколько капель ледяной воды на кипучую радость Цезаря. Каждый лег спать в собственной роскошной комнате, наслаждаясь чудесной и красивой обстановкой. Цезарина помогла матери раздеться перед туалетом с оправленным в белый мрамор зеркалом. Цезарю тотчас же захотелось полюбоваться кое-какими купленными им совершенно ненужными безделушками. Все трое заснули, предвкушая радости завтрашнего дня. Отстояв обедню и вернувшись из церкви, Цезарина и ее мать оделись к четырем часам дня, предварительно передав антресоли во власть официантов, присланных от Шеве. Никогда ни один наряд не был так к лицу г-же Бирото, как бархатное вишневое платье с короткими рукавами, отделанное кружевом; богатая ткань великолепного цвета подчеркивала красоту ее рук, стройных, как у молодой девушки, ее белоснежную грудь и шею, великолепные плечи. Наивное удовлетворение, которое испытывает любая женщина, созерцая себя во всеоружии своих чар, придавало особенную пленительность греческому профилю Констанс, напоминавшему тонкой своей красотой камею. Цезарина, в белом креповом платье, с венком из белых роз на голове и розой у пояса, целомудренно прикрыла плечи и грудь легким шарфом; она свела с ума Попино.

— Эти люди затмили нас, — сказала г-жа Роген мужу, осматривая квартиру.

Жена нотариуса была в бешенстве, потому что не могла сравниться красотой с г-жой Бирото; а ведь любая женщина в глубине души всегда отлично знает, кто лучше — она или соперница.

— Чепуха! Все это недолговечно, и скоро ты сама обрызгаешь грязью эту женщину, когда они разорятся и ей придется плестись пешком по улице! — тихо прошептал Роген жене.

Воклен был отменно любезен, он явился вместе с г-ном де Ласепедом, своим коллегой по Академии, заехавшим за ним в карете. Двое ученых рассыпались перед сияющей парфюмершей в высокопарных комплиментах.

— Вы, сударыня, столь молоды и прекрасны, что бесспорно владеете каким-то секретом, неизвестным науке сказал Воклен.

— Вы здесь почти у себя дома, господин академик, — обратился к нему Бирото. — Да, господин граф, — продолжал он, повернувшись к великому канцлеру ордена Почетного легиона, — я обязан своим состоянием господину Воклену. Честь имею представить вашему сиятельству господина председателя коммерческого суда. — Его сиятельство, граф де Ласепед, пэр Франции, один из великих мужей нашей страны, автор сорока томов, — сказал он Жозефу Леба, сопровождавшему председателя коммерческого суда.

Гости съехались к назначенному часу. Обед прошел так, как обычно проходят званые обеды у купцов: чрезвычайно весело, с добродушными грубоватыми шутками, неизменно вызывающими смех; изысканные яства и тонкие вина были оценены по достоинству. Когда собравшиеся перешли в гостиную пить кофе, было уже половина десятого. Подъехало несколько экипажей с нетерпеливыми любительницами танцев. Через час зал был полон гостей, бал походил на торжественный прием. Г-н де Ласепед и г-н Воклен уехали, к великому огорчению Бирото, который проводил их до лестницы, безуспешно умоляя остаться. Ему удалось удержать судью Попино и г-на де ла Биллардиера. Только три женщины представляли здесь аристократию, финансовый мир и чиновничьи круги: Эмилия де Фонтэн, г-жа Жюль Демаре и г-жа Рабурден, — их ослепительная красота, туалеты и манеры резко выделялись на общем фоне; остальные женщины явились в безвкусных и аляповатых туалетах, поражавших какой-то особенной добротностью тканей, придающей буржуазкам вульгарный стиль, и тем сильнее оттенявших легкость и грацию упомянутых нами трех дам.

Буржуа с улицы Сен-Дени полностью воспользовались своим правом и торжественно выставляли напоказ всю свою комическую глупость. Это были те самые буржуа, которые одевают детей уланами и национальными гвардейцами, покупают «Победы и завоевания», «Солдата-пахаря», умиляются перед «Похоронами бедняка», восторгаются смотрами гвардии, по воскресеньям выезжают к себе на дачу, стараются подражать изысканным манерам аристократов, добиваются муниципальных почестей; они всем завидуют, и вместе с тем это добродушные, услужливые, отзывчивые, чувствительные, сострадательные люди, жертвующие деньги в пользу детей генерала Фуа, в пользу греков, о морском разбое которых они и не подозревают, жертвующие в пользу Шан д'Азиль, хотя Шан д'Азиль уже не существует; они страдают от своей добродетельности, светское общество высмеивает их недостатки, хотя само их не стоит, ибо им — этим добропорядочным мещанам — свойственна сердечность, пренебрегающая условностями; они воспитывают простодушных, трудолюбивых дочерей, наделенных хорошими качествами, которые исчезают при соприкосновении с высшими классами, бесхитростных девушек, среди которых добряк Кризаль[[17]](#footnote-17) охотно выбрал бы себе жену; буржуазия была ярко представлена на балу четой Матифа, москательщиками с Ломбардской улицы, чей торговый дом уже шестьдесят лет поставлял сырье «Королеве роз».

Госпожа Матифа, которая постаралась придать себе достойный вид, танцевала с тюрбаном на голове, в тяжелом пунцовом, расшитом золотом платье, под стать ее гордой осанке, римскому носу, малиновому цвету лица. Г-н Матифа, столь бесподобный на смотрах национальной гвардии, где за пятьдесят шагов бросалось в глаза его круглое брюшко с блестевшей на нем цепочкой от часов и связкой брелоков, был под башмаком у этой купеческой Екатерины II. Толстый и приземистый, с очками на носу, с подпиравшим затылок воротником сорочки, он привлекал внимание баритональным басом и богатством своего лексикона. Никогда он не говорил просто «Корнель», но обязательно — «возвышенный Корнель»; Расин был «сладостный Расин». Вольтер — о, Вольтер! «во всех жанрах он всегда на втором месте, у него больше остроумия, нежели гения, и тем не менее он — гениальный человек!» Руссо — «сумрачная душа, человек непомерной гордыни, кончивший тем, что повесился». Нестерпимо нудно рассказывал он пошлые анекдоты о Пироне, который слывет в кругу буржуазии человеком необычайным. Страстный поклонник кулис, он был несколько склонен к игривости и непристойным разговорам; по примеру старика Кардо и богача Камюзо, он содержал любовницу. Нередко г-жа Матифа, видя, что муж собирается рассказать какой-нибудь анекдот, говорила ему: «Пузанчик, подумай прежде о том, что собираешься рассказать». Она запросто называла его «пузанчик». Эта пышнотелая королева из москательной лавки заставила мадмуазель де Фонтэн изменить своей аристократической выдержке: высокомерная девица не удержалась от улыбки, услышав, как г-жа Матифа сказала: «Не набрасывайся на мороженое, пузанчик, это дурной тон».

Труднее, пожалуй, объяснить разницу между высшим светом и буржуазией, чем буржуазии эту разницу уничтожить. Все эти женщины, стесненные бальными туалетами, чувствовали себя расфранченными и простодушно выражали свою радость, доказывавшую, что бал был редким событием в их хлопотливой жизни; тогда как три дамы, каждая из которых представляла определенный круг высшего света, чувствовали себя совершенно спокойно, не казались нарочито блистающими своими туалетами, не любовались, словно необычайным чудом, своими драгоценностями, не беспокоились о впечатлении, какое они производят; всякая забота о туалете кончалась для них, когда они, в последний раз оглядев себя, отходили от зеркала; на балу их лица не выражали ничего необычайного, они танцевали с той непринужденной грацией, какую неведомые гении запечатлели в античных статуях. Наоборот, остальные женщины, отягощенные заботами, сохраняли вульгарные позы и не знали меры в веселье; взгляды их были излишне любопытны, голоса, не привыкшие к тому легкому шепоту, который придает бальным разговорам неподражаемую пикантность, были чрезмерно громки; главное же — им не была свойственна ни насмешливая серьезность, содержавшая в себе зародыш эпиграммы, ни спокойствие, присущее людям, привыкшим всегда владеть собой. Поэтому г-жа Рабурден, г-жа Жюль Демаре и мадмуазель де Фонтэн заранее предвкушали, как славно они позабавятся на балу у парфюмера; среди всех этих буржуазок они выделялись своей мягкой грацией, безупречной элегантностью туалетов, кокетливым изяществом; они блистали, как блистает примадонна оперы среди тяжелой кавалерии статисток. На них смотрели с растерянностью и завистью. Г-жа Роген, Констанс и Цезарина служили своего рода соединительным звеном между коммерческим миром и тремя аристократическими особами.

Как и на всех балах, на празднике Бирото наступил момент оживления, когда потоки света, веселье, музыка и танцы вызывают опьянение и все эти оттенки исчезают в общем подъеме. Бал становился шумным, и мадмуазель де Фонтэн решила удалиться; но только собралась она опереться на руку почтенного вандейца, как Бирото, его жена и дочь подбежали к ней, чтобы помешать аристократии покинуть их бал.

— Квартира обставлена с большим вкусом, вы меня, право, очень удивили, — заявила парфюмеру дерзкая девица, — поздравляю вас.

Упиваясь всеобщими похвалами и поздравлениями, Бирото не понял обиды, но жена его покраснела и ничего не ответила.

— Настоящий национальный праздник, он делает вам честь, — сказал Камюзо.

— Бал был на редкость удачен, — сказал г-н де ла Биллардиер, солгав по своей обязанности легко и любезно.

Бирото все комплименты принимал за чистую монету.

— Что за восхитительное зрелище! Какой прекрасный оркестр. Вы теперь часто будете давать балы? — спросила г-жа Леба.

— Какая очаровательная квартира! Она отделана по вашему вкусу? — вставила г-жа Демаре.

Бирото, покривив душой, заверил, что обстановка выбрана им самим.

Цезарина, которую приглашали на все танцы, оценила деликатность Ансельма.

— Думай я только о собственном удовольствии, — шепнул он ей, когда выходили из-за стола, — я попросил бы у вас хотя бы одну кадриль, но боюсь, мое счастье обошлось бы слишком дорого и вашему и моему самолюбию.

Однако Цезарина, которая находила походку мужчин неизящной, если они не хромали, решила открыть бал с Попино. Ансельм, ободренный теткой, посоветовавшей ему быть смелее, дерзнул признаться в любви этой очаровательной девушке, танцуя с ней кадриль, но он говорил намеками, к каким прибегают робкие влюбленные.

— Мое состояние зависит от вас, мадмуазель.

— Как вас понять?

— Лишь надежда может побудить меня добиваться его.

— Надейтесь.

— Понимаете ли вы, как много говорит мне это слово? — воскликнул Попино.

— Надейтесь на успех, — ответила Цезарина с лукавой улыбкой.

— Годиссар, Годиссар! — взволнованно говорил после кадрили Ансельм своему другу, с геркулесовой силой сжимая его руку. — Добейся успеха, или я пущу себе пулю в лоб. Успех — это женитьба на Цезарине, она сама так говорит, а ты только посмотри, как она хороша!

— Да, она хорошенькая и притом богата, — заметил Годиссар. — Мы ее подрумяним на нашем масле.

Госпожа Бирото заметила добрые отношения, установившиеся между мадмуазель Лурдуа и Александром Кротта, будущим преемником Рогена; не без сожаления отказывалась она от мысли видеть свою дочь женою парижского нотариуса. Дядя Пильеро, раскланявшись с маленьким Молине, уселся в кресле у книжного шкафа: он посматривал на игроков, прислушивался к разговорам и время от времени подходил к дверям поглядеть на пляску цветочных корзин, на которые походили головы дам, танцевавших мулине. Он держался как истый философ. Мужчины были на редкость неинтересны, за исключением дю Тийе, уже успевшего перенять светские манеры, будущего денди — молодого де ла Биллардиера, г-на Жюля Демаре и официальных лиц. Но среди массы смехотворных физиономий, которым это празднество было обязано своим общим характером, внимание привлекала одна, особенно потертая, словно монета в сто су времен Республики; нелепость этого лица подчеркивал костюм. Читатель, вероятно, догадался, что речь идет о самодуре из Батавского подворья. Молине блистал тонким, пожелтевшим в шкафу, бельем и выставленным напоказ унаследованным от предков кружевным жабо, которое было приколото булавкой с голубоватой камеей; короткие черные шелковые панталоны облегали журавлиные ноги — непрочную опору его тела. Цезарь с гордостью показал ему четыре комнаты, перестроенные архитектором во втором этаже дома.

— Н-да, сударь, это ваше дело! — сказал Молине. — А в таком виде мой второй этаж будет стоить свыше тысячи экю.

Бирото ответил шуткой, но почувствовал словно булавочный укол, — его задел тон старикашки.

«Ко мне скоро вернется мой второй этаж, этот человек разорится!» — таков был смысл замечания Молине, а слова его «будет стоить», точно когтями, царапнули Цезаря.

Бледная физиономия и хищный взгляд домовладельца поразили дю Тийе; внимание его уже ранее привлекала часовая цепочка с навешанным на нее целым фунтом разнообразных звенящих брелоков и зеленый в светлую нитку фрак с нелепо поднятым воротником, который придавал старику сходство с гремучей змеей. Банкир подошел поговорить с этим маленьким ростовщиком, желая узнать, по какому случаю тот решил развлечься.

— Вот, сударь, — заявил Молине, ступая одной ногой в будуар, здесь я нахожусь во владениях графа де Гранвиля; но здесь, — прибавил он, указывая на другую ногу, — я нахожусь в своих собственных владениях, ибо эта комната расположена в моем доме.

Молине охотно пускался в разговоры со всяким, кто его слушал; очарованный вниманием дю Тийе, он, рисуясь, стал рассказывать о своих привычках, о наглости г-на Жандрена и о своем соглашении с парфюмером, прибавив, что без этого не бывать бы балу.

— Вот как! Господин Цезарь уплатил вам квартирную плату вперед? — сказал дю Тийе. — Это не в его привычках.

— О, я его упросил, я умею ладить со своими жильцами!

«Если папаша Бирото обанкротится, — подумал дю Тийе, — этот старикашка бесспорно будет превосходным синдиком конкурсного управления. Его придирчивость — драгоценное качество. Дома он, наверно, как Домициан[[18]](#footnote-18), развлекается тем, что ловит и давит мух».

Дю Тийе сел за карты, за которые уже засел послушный его требованиям Клапарон. Г-н дю Тийе рассчитывал, что, сидя за карточным столом в тени от абажура, его подставной банкир избежит внимательных взглядов. Разговаривали они друг с другом, как совершенно незнакомые люди, и даже самый подозрительный наблюдатель не заметил бы никакого сговора между ними. Годиссар, хорошо знавший Клапарона, не решился подойти к нему, встретив высокомерный и холодный взгляд выскочки, не пожелавшего поздороваться с товарищем.

Бал, подобно сверкающей ракете, потух к пяти часам утра. К этому времени из ста с лишним фиакров, запрудивших улицу Сент-Оноре, оставалось не более сорока. Гости танцевали уже буланжер и котильон, позднее вытесненные английским галопом. Дю Тийе, Роген, Кардо-младший, граф де Гранвиль, Жюль Демаре играли в буйот. Дю Тийе выиграл три тысячи франков. Наступил рассвет, пламя свечей померкло, и игроки пошли посмотреть на последнюю кадриль. В буржуазных домах последняя вспышка веселья почти всегда сопровождается какими-нибудь крайностями. Важные гости разъехались, опьянение пляской, духота, спирт, скрытый в самых, казалось бы, невинных напитках, смягчили чопорность пожилых дам, они снисходительно принимают участие в кадрили и на минуту предаются безудержному веселью; мужчины разгорячены, развившиеся пряди волос свисают на лица и придают им странное и забавное выражение; молодые женщины становятся легкомысленными, цветы из их причесок опадают. На сцену выступает буржуазный Момус[[19]](#footnote-19) со всеми своими проказами. Раздаются громкие взрывы хохота, каждый отдается веселью, помня, что завтра заботы снова предъявят свои права. Матифа плясал с дамской шляпкой на голове; Селестен передразнивал присутствующих; некоторые дамы с остервенением хлопали в ладоши, когда того требовали фигуры бесконечной кадрили.

— Как они веселятся! — воскликнул довольный Бирото.

— Только бы они ничего не разбили, — шепнула Констанс своему дяде.

— Вы дали блестящий бал, таких балов я не видел, а видывал я их немало, — сказал дю Тийе, прощаясь со своим бывшим хозяином.

Среди восьми симфоний Бетховена есть одна фантазия, величественная поэма, которой заканчивается финал симфонии до минор. Когда после медлительных подступов великого чародея, столь прекрасно понятого Габенеком, по мановению руки вдохновенного дирижера взвивается роскошная завеса над декорацией, смычок выводит восхитительный мотив, в котором воплощается вся пленительная сила музыки; поэты, чьи сердца тогда трепещут, верно, поймут, что бал оказал на Бирото то же действие, какое производят на их души живительные звуки этой финальной мелодии, благодаря которой симфония до минор превосходит своих блистательных сестер. Лучезарная фея, подняв волшебную палочку, несется вперед. Слышится шелест пурпурных шелковых занавесей, раздвигаемых ангелами. Скульптурные двери из золота, подобные дверям флорентийской часовни, поворачиваются на алмазных петлях. Взор ослеплен великолепием открывшихся ему чертогов чудесного дворца, откуда появляются неземные существа. Курятся благовония блаженства, сверкает алтарь счастья, воздух напоен ароматами! Перед вами проносятся нежные существа с божественной улыбкой в белых с голубым туниках, пленяя нечеловеческой красотою лица и воздушной стройностью стана. Порхают амуры с пылающими факелами! Вы чувствуете себя любимым, вы упиваетесь счастьем, вы вдыхаете его, погружаясь в волны гармонии, она струится и изливает на каждого амброзию, которой он жаждет. Сердцем своим вы устремляетесь к тайным надеждам, и на мгновение они осуществляются. Чародей сначала возносит вас на небеса, затем могучей и таинственной силой басов низвергает в болото холодной действительности, чтобы вновь вознести ввысь, когда, взалкав божественных мелодий, душа ваша молит: «Еще!» Смену переживаний человеческой души, отраженную в самых волнующих аккордах этой финальной мелодии, можно назвать историей чувств, пережитых супругами Бирото в вечер их праздника. Коллине сыграл на флейте финал их коммерческой симфонии.

Утомленные, но счастливые члены семьи Бирото задремали под утро, когда замерли отзвуки бала: строительные работы, ремонт, обстановка, угощение, туалеты, оплаченная Цезариной библиотека, все вместе стоило, — чего Цезарь и не предполагал, — сто шестьдесят тысяч франков. Вот как дорого обошлась роковая красная ленточка, пожалованная королем парфюмеру. Случись беда с Цезарем Бирото, и эти безумные траты окажутся достаточными, чтобы предать его в руки исправительной полиции. Купец может быть обвинен в банкротстве по неосмотрительности, если траты его признают чрезмерными. Предстать перед шестым отделением судебной палаты из-за какой-либо пустяковой ошибки или неосторожного шага, пожалуй, страшнее, чем оказаться перед судом присяжных за крупное мошенничество. В глазах некоторых людей лучше быть преступником, нежели глупцом.

## II

## ЦЕЗАРЬ В БОРЬБЕ С НЕСЧАСТЬЕМ

Через неделю после этого празднества — последней вспышки длившегося восемнадцать лет и готового угаснуть благоденствия Цезарь смотрел из окна своей лавки на прохожих, размышляя о размахе своих коммерческих дел, начинавших тяготить его. Жизнь его до той поры была несложной: он изготовлял и продавал парфюмерные товары или покупал и перепродавал их. Теперь же спекуляция земельными участками, пай в торговом доме «А. Попино и К°», необходимость изыскать сто шестьдесят тысяч франков — а для этого потребуются либо новые операции с векселями, что будет очень не по вкусу жене, либо невероятное преуспеяние Попино, — все пугало беднягу сложностью расчетов; он чувствовал, что в руках у него слишком много клубков и ему не удержать всех нитей. Как поведет Ансельм свое дело? Цезарь относился к Попино, как учитель риторики относится к своему ученику, — не доверял его способностям и сожалел, что не стоит за его спиной. Пинок, которым он наградил Ансельма, чтобы заставить его замолчать у Воклена, показывает, что парфюмер не слишком-то полагался на молодого купца. Бирото, старавшийся ничем себя не выдать жене, дочери или старшему приказчику, походил на простого лодочника с Сены, которому министр неожиданно поручил бы командовать фрегатом. Эти мысли словно туманом окутывали его мозг, мало приспособленный для размышлений, и, стоя у окна, он пытался разобраться в них. В это время на улице показался человек, внушавший ему живейшую антипатию, — его второй домохозяин, маленький Молине. Каждому случалось видеть сны, полные событий, словно отражающие всю жизнь, в которых снова и снова появляется некое фантастическое и зловещее существо — предвестник несчастий, играющий роль театрального злодея. Бирото казалось, что Молине по воле случая суждено сыграть в его жизни такую роль. На празднестве лицо старикашки было искажено дьявольской гримасой и глаза его злобно взирали на пышность торжества. Вновь увидя Молине, Цезарь тотчас же вспомнил о неблагоприятном впечатлении, произведенном на него «старым сквалыгой» (любимое словечко Бирото), ибо, внезапно появившись и прервав ход его размышлений, старикашка вызвал у парфюмера новый прилив отвращения.

— Сударь, — начал маленький человечек своим невыносимо слащавым голоском, — мы столь поспешно состряпали наше соглашение, что вы позабыли поставить на нем свою подпись.

Бирото взял контракт, чтобы исправить упущение. Вошел архитектор; он поздоровался с парфюмером и стал вертеться вокруг него с дипломатическим видом.

— Сударь, — шепнул он наконец Цезарю на ухо, — вы знаете, как трудно приходится всякому начинающему; вы мной довольны, и я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы со мною рассчитались.

Бирото, оставшийся без гроша, ибо, издержав наличные деньги, он пустил в ход и все свои ценные бумаги, велел Селестену заготовить вексель на две тысячи франков сроком на три месяца и составить расписку.

— Как мне повезло, что вы обязались внести квартирную плату за вашего соседа, — со скрытой насмешкой проговорил Молине. — Привратник предупредил меня нынче утром, что Кейрон сбежал и мировой судья наложил печати на имущество этого молодчика.

«Не попасться бы мне на пять тысяч франков!» — подумал Бирото.

— А ведь все считали, что дела у него идут превосходно, — сказал Лурдуа, который вошел в это время, чтобы вручить парфюмеру счет.

— Коммерсант застрахован от превратностей судьбы, только удалившись от дел, — изрек маленький Молине, тщательно складывая контракт.

Архитектор оглядел старикашку с тем удовольствием, какое испытывает любой художник при виде карикатуры, подтверждающей его мнение о буржуа.

— Когда над головой зонт, обычно думают, что дождя бояться нечего, — сказал Грендо.

Молине посмотрел с подчеркнутым интересом не в лицо архитектору, а на его усы и эспаньолку и преисполнился к Грендо таким же презрением, какое тот испытывал к нему; старикашка задержался в лавке с тем, чтобы, уходя, запустить в архитектора когти. Живя среди своих кошек, Молине многое у них позаимствовал: нечто кошачье было и в его повадках, и в выражении глаз.

Вошли Рагон и Пильеро.

— Мы говорили о нашем деле с судьей, — сказал Рагон на ухо Цезарю, — он утверждает, что при спекуляциях такого рода требуется расписка продавцов и ввод во владение, чтобы всем нам стать законными совладельцами...

— А, вы участвуете в деле с покупкой земли в районе церкви Мадлен? — заинтересовался Лурдуа. — Об этом много толков, — говорят, там будут строиться дома!

Подрядчик-маляр, явившийся, чтобы получить по счету, решил, что ему, пожалуй, выгодней не торопить парфюмера.

— Я вам представил счет, потому что год кончается, — шепнул он Цезарю на ухо. — Но мне не к спеху.

— Да что с тобой, Цезарь? — спросил Пильеро, заметив удивление племянника, который так был огорошен счетом, что не отвечал ни Рагону, ни Лурдуа.

— Ах, пустяки! Я согласился взять у соседа, торговца зонтами, на пять тысяч франков векселей, а он прогорел. Если он подсунул мне негодные векселя, я попался, как олух.

— Ведь я давно вам говорил, — воскликнул Рагон, — утопающий для своего спасения способен схватить за ногу родного отца и топит его вместе с собой. Уж я-то насмотрелся на банкротства! Когда человек прекращает платежи, он еще не мошенник: он становится им позже, — по необходимости.

— Это верно, — заметил Пильеро.

— Если я попаду когда-нибудь в палату депутатов или приобрету какое-либо влияние в правительственных кругах... — начал Бирото, приподнимаясь на носки и опускаясь на пятки.

— Что же вы сделаете? — спросил Лурдуа. — Ведь у вас — ума палата.

Молине, которого интересовало любое обсуждение вопросов права и законности, задержался в лавке; а так как, заметив внимание других, и сам становишься внимательней, — Пильеро и Рагон, знавшие взгляды Цезаря, слушали его так же сосредоточенно, как и трое посторонних.

— Я предложил бы учредить трибунал несменяемых судей с участием прокурора, как в уголовном суде, — сказал парфюмер, — По окончании следствия, во время которого обязанности нынешних агентов, синдиков и присяжного попечителя выполняет непосредственно сам судья, купец может быть признан *несостоятельным должником с правом реабилитации* или *банкротом*. Несостоятельный должник с правом реабилитации обязан уплатить все полностью; он становится хранителем как своего имущества, так и имущества жены; а все права его, включая право наследования, принадлежат с этого момента кредиторам; он продолжает вести свои дела в их пользу и под их наблюдением, подписываясь при этом *«несостоятельный должник такой-то»* — вплоть до полного погашения долга. Банкрот же присуждается, как встарь, к двухчасовому стоянию у позорного столба в зале Биржи с зеленым колпаком на голове. Все его имущество, равно как и имущество его жены, и все его права переходят к кредиторам, а его самого изгоняют из пределов королевства.

— Торговля стала бы надежней, — заметил Лурдуа, — каждому пришлось бы хорошенько подумать, прежде чем заключить какую-либо сделку.

— Существующий закон не соблюдается, — с раздражением сказал Цезарь. — Из ста купцов более пятидесяти так расширяют торговые обороты, что на семьдесят пять процентов не могут покрыть свои обязательства или же продают товары на двадцать пять процентов ниже настоящей цены и этим подрывают торговлю.

— Господин Бирото прав, — поддержал Цезаря Молине. — Действующий закон слишком мягок. Банкрот должен выбрать одно из двух: либо полный отказ от своего имущества, либо бесчестие.

— Черт побери! — воскликнул Цезарь. — Если так будет продолжаться — купец скоро станет заправским вором. Пользуясь своей подписью, он может запускать руку в любую кассу.

— Вы не слишком-то снисходительны, господин Бирото, — заметил Лурдуа.

— Он прав, — сказал старик Рагон.

— Все несостоятельные должники подозрительны, — изрек Цезарь, раздраженный денежной потерей, ошеломившей его, как первый клич охотника ошеломляет преследуемого оленя.

В это время метрдотель принес ему счет от Шеве. Затем явился мальчишка из кондитерской Феликса, лакей из «Кафе Фуа», кларнетист от Коллине — каждый со счетом.

— Час расплаты, — с улыбкой заметил Рагон.

— Да, вы задали пир на славу, — сказал Лурдуа.

— Я занят, — заявил Цезарь всем посланцам, и они удалились, оставив счета.

— Господин Грендо, — обратился Лурдуа к архитектору, заметив, что тот складывает подписанный Бирото вексель, — проверьте и подведите, пожалуйста, мой счет; осталось только произвести обмер — о ценах ведь вы со мной уже условились от имени господина Бирото.

Пильеро посмотрел сперва на Лурдуа, потом на Грендо.

— Архитектор с подрядчиком договаривались о ценах, — шепнул он на ухо племяннику, — хорошо же тебя обобрали.

Грендо вышел, Молине последовал за ним и с таинственным видом обратился к архитектору.

— Сударь, — сказал он Грендо, — хоть вы меня слушали, но, видно, не поняли: желаю вам завести зонт.

Грендо охватил страх. Чем менее законен барыш, тем упорнее за него держатся: такова уж человеческая натура. Архитектор, не жалея времени, с увлечением изучал квартиру парфюмера, вкладывая в это все свои познания, трудов он потратил на десяток тысяч франков, но из-за собственного тщеславия продешевил; и подрядчикам не стоило поэтому больших усилий соблазнить его. Однако самый неотразимый аргумент — возможность поживиться — и хорошо понятая угроза повредить ему клеветою не так сильно на него подействовали, как высказанное Лурдуа соображение о деле с земельными участками в районе церкви Мадлен: Бирото, видимо, не намерен строить там дома, он попросту спекулирует на цене участков. Архитекторы и подрядчики столь же тесно между собой связаны, как драматурги и актеры: они друг от друга зависят. Грендо, которому Бирото поручил договориться о ценах, держал руку подрядчиков против буржуа. Поэтому трое крупных подрядчиков — Лурдуа, Шафару и плотник Торен — заявили, что он *прекрасный малый* и что *работать с ним — одно удовольствие*. Грендо стало ясно, что счета, в которых он имел долю, так же как и его гонорар, будут оплачены векселями, а старикашка Молине вселил в него сомнение в надежности этих векселей. И архитектор решил быть безжалостным, как и подобает художникам, людям беспощадным к буржуа. К концу декабря у Цезаря набралось на шестьдесят тысяч франков счетов. Феликс, «Кафе Фуа», Танрад и мелкие кредиторы, которым полагается платить наличными, по три раза присылали к парфюмеру. Подобные мелочи в торговом деле хуже катастрофы, они — ее предвестники. Когда убыток выяснен — размер бедствия определился, но паника не знает границ. Касса Бирото была пуста. Страх охватил парфюмера: за всю его деловую жизнь с ним ничего подобного еще не случалось. Как и все, кого не закалила долгая борьба с нуждой, Цезарь был слаб духом, и положение, столь обычное для большинства мелких парижских торговцев, привело его в полное смятение.

Парфюмер приказал Селестену разослать клиентам счета; но ему дважды пришлось повторить свое приказание, прежде чем старший приказчик исполнил его. Клиенты — как называли торжественно своих покупателей розничные торговцы (Цезарь также употреблял это выражение вопреки протестам жены, заявившей ему в конце концов: «Называй их как знаешь, пусть только платят») — клиенты были большей частью люди богатые, от которых никогда не приходилось терпеть убытков, но платили они по счетам, когда вздумается, и нередко оставались должны Цезарю до пятидесяти — шестидесяти тысяч франков. Младший приказчик взял книгу счетов и начал выписывать самые крупные из них. Цезарь побаивался супруги. Чтобы скрыть от нее уныние, в которое ввергнул его вихрь бедствий, он собирался выйти из дому.

— Добрый день, сударь, — сказал Грендо с развязностью, которую напускают на себя обычно художники, собираясь говорить о денежных делах, по их утверждению им совершенно чуждых. — Мне ни гроша не удалось получить по вашему векселю и приходится просить вас обменять его на звонкую монету. Я крайне сожалею, что вынужден на этом настаивать; но мне не хотелось бы обращаться к ростовщикам — настолько-то я смыслю в коммерции, чтобы понимать, что таким путем я подорву ваш кредит: поэтому в ваших же интересах...

— Сударь, — сказал опешивший Бирото, — говорите, пожалуйста, потише, вы меня просто ошеломили.

Вошел Лурдуа.

— Понимаете, Лурдуа... — обратился к нему Бирото, улыбаясь.

Но он тут же запнулся. Бедняга собирался было, посмеявшись над архитектором, простодушно попросить Лурдуа, — как это может разрешить себе уверенный в своей кредитоспособности купец, — взять вексель у Грендо; но, заметив мрачный вид Лурдуа, он ужаснулся своей неосторожности. Невинная шутка могла оказаться смертельной для его поколебавшегося кредита. Богатый купец в таких случаях берет свой вексель обратно и больше никому его уже не предлагает. У Бирото закружилась голова, словно он заглянул в разверзшуюся перед ним бездну.

— Дорогой господин Бирото. — сказал Лурдуа, увлекая парфюмера в глубь лавки, — обмер произведен, счет мой подведен и проверен, приготовьте мне, пожалуйста, к завтрашнему дню деньги. Я выдаю дочь замуж за молодого нотариуса Кротта, а ему подавай наличными: нотариусам векселей учитывать не полагается, да к тому же я никогда векселей не подписывал.

— Пришлите послезавтра, — гордо ответил Бирото, надеявшийся получить по счетам, — и вы, сударь, также, обратился он к Грендо.

— А почему не сейчас? — осведомился архитектор.

— Я должен рассчитаться с рабочими на фабрике, — ответил никогда прежде не лгавший Цезарь.

Бирото взял шляпу, собираясь выйти вместе с подрядчиком и архитектором. Но едва он переступил через порог, его остановили каменщик, Торен и Шафару.

— Сударь, — обратился к нему Шафару, — нам до зарезу нужны деньги.

— Ну, знаете ли, у меня ведь нет золотых россыпей в Перу, — заявил выведенный из терпения Цезарь, стремительно отходя от них. «Это неспроста! Проклятый бал! Все теперь считают меня миллионером! У Лурдуа был, однако, какой-то странный вид, — подумал он, — тут что-то неладно!»

В полной растерянности он побрел бесцельно по улице Сент-Оноре и на одном из перекрестков наскочил на Александра Кротта, как натыкается на прохожих поглощенный решением задачи математик или баран налетает на барана.

— Ах, сударь, — обратился к нему будущий нотариус, — один вопрос! Передал ли Роген ваши четыреста тысяч франков Клапарону?

— Да ведь все происходило на ваших глазах. Господин Клапарон не дал мне никакой расписки... мои векселя надо было еще учесть... Роген должен был передать ему... моих двести сорок тысяч франков наличными... было условлено, что запродажные будут окончательно оформлены... Господин Попино, судья, полагает... расписка... Но... Почему вы задаете мне этот вопрос?

— Почему я задаю вам подобный вопрос? Да чтобы узнать, где ваши двести сорок тысяч франков — у Клапарона или у Рогена. Роген был связан с вами узами столь многолетней дружбы, что мог бы, щадя вас, передать эти деньги Клапарону, и вы бы счастливо отделались! Но где же у меня голова? Он увез их, конечно, вместе с деньгами господина Клапарона — тот, к счастью, успел ему дать лишь сто тысяч франков. Роген сбежал, от меня он получил сто тысяч франков за свою контору — без всякой расписки, я их доверил ему, как доверил бы вам свой кошелек. Продавцам участков он не дал ни гроша — они только что у меня были. Денег по закладной на ваши земельные участки не оказалось — ни на ваше имя, ни на имя вашего заимодавца: Роген растратил их, как и ваши сто тысяч франков... их у него уже давным-давно не было... Да и вторая ваша сотня тысяч франков также взята; вспоминаю, что сам же ходил за нею в банк.

Зрачки Цезаря непомерно расширились, и все перед его глазами затянулось огненно-красной пеленой.

— Ваши сто тысяч франков, взятые из банка, мои сто тысяч за нотариальную контору, сто тысяч господина Клапарона, — словом, Роген свистнул триста тысяч франков, не считая краж, которые еще обнаружатся, — продолжал молодой нотариус. — Госпожа Роген в отчаянном состоянии, господин дю Тийе не отходил от нее всю ночь. Сам-то дю Тийе дешево отделался! Роген целый месяц приставал к нему, пытаясь втянуть в аферу с земельными участками; но все средства дю Тийе были вложены, к счастью для него, в какую-то спекуляцию банкирского дома Нусингена. Роген оставил жене ужасное письмо — я только что прочел его. Оказывается, он целых пять лет расхищал фонды своих клиентов, и для чего бы вы думали? — для любовницы, Прекрасной Голландки; он расстался с ней за две недели до того, как сбежал. Эта мотовка осталась без гроша, выдала векселя, и вся ее обстановка пошла с молотка. Она укрылась от преследований в одном из заведений Пале-Рояля, и вчера вечером ее убил там какой-то капитан. Бог наказал ее, ведь это она, конечно, поглотила состояние Рогена. Есть женщины, для которых нет ничего святого; подумайте только, пустить по ветру нотариальную контору! Госпожа Роген останется без гроша, если не воспользуется своим законным правом на ипотеку, — имущество этого негодяя обременено долгами. Контора продана за триста тысяч франков. Я воображал, что сладил выгодное дельце! А вместо того заплатил на сто тысяч франков больше, чем следует: расписки у меня нет. Роген допускал такие злоупотребления, которые поглотят, пожалуй, и стоимость конторы, и залог: если же я хотя бы заикнусь о своих ста тысячах франков, — кредиторы решат, что я сообщник Рогена, а ведь, вступая на новое поприще, приходится особенно беречь свою репутацию. Вы получите не больше тридцати за сто. В мои годы влопаться вдруг в такую историю! А Роген-то!.. Человек в шестьдесят лет разорился из-за женщины!.. Старый плут! Три недели назад этот изверг сказал мне, чтобы я не женился на Цезарине, что вы останетесь вскоре без куска хлеба!

Александр мог бы еще долго разглагольствовать: Бирото застыл перед ним в неподвижности, словно громом пораженный. Что ни фраза — удар обухом но голове. Он ничего не слышал, кроме звона погребального колокола, как ничего сперва не видел, кроме полыхавшего перед ним пламени пожара. Александр Кротта, считавший почтенного парфюмера человеком сильным и стойким, был испуган его неподвижностью и бледностью. Преемник Рогена не знал, что нотариус похитил у Цезаря не одно только его состояние. У Бирото, человека глубоко верующего, мелькнула мысль о самоубийстве. В таких случаях кажется логичным покончить с собой — избегнуть тысячи смертей, предпочтя им одну. Александр Кротта взял Цезаря под руку и хотел повести его, но это оказалось невозможным: у парфюмера, как у пьяного, подкашивались ноги.

— Что с вами? — спрашивал Кротта. — Дорогой господин Бирото, мужайтесь! Ведь не все еще потеряно! Вы получите к тому же обратно свои сорок тысяч франков: у заимодавца такой суммы не оказалось в наличии, и она вам выплачена не была — есть основание требовать признания договора недействительным.

— Бал... орден, векселей на двести тысяч... пустая касса... Рагоны... Пильеро... И жена все это предвидела!

Поток бессвязных слов, порожденный нахлынувшими мучительными мыслями и невыносимыми душевными терзаниями, точно градом побил все цветники «Королевы роз».

— Я хотел бы, чтобы с меня сняли голову, — вырвалось наконец у Бирото, — она ни к чему мне... только мешает.

— Бедный панаша Бирото! — воскликнул Александр. — Неужели вам грозит разорение?

— Разорение!

— Ну, не падайте духом, нужно бороться!

— Бороться! — повторил парфюмер.

— Дю Тийе был у вас приказчиком, он человек с головой, он вам поможет.

— Дю Тийе?

— Пойдемте же!

— Господи! Я не хотел бы в таком виде возвращаться домой, — сказал Бирото. — Вы ведь мне друг, — если только существуют на свете друзья, — вы всегда мне внушали симпатию, вы у меня обедали, — ради моей жены прошу вас, Ксандро, помогите мне сесть в фиакр и поедемте со мной.

Новоиспеченный нотариус с трудом втащил в фиакр бесчувственное тело, именовавшееся Цезарем Бирото.

— Ксандро, — сказал парфюмер прерывающимся от слез голосом, ибо из глаз его в эту минуту хлынули слезы и голове его, словно сжатой железным обручем, стало немного легче, — поедем ко мне, вы поговорите вместо меня с Селестеном. Друг мой, скажите ему, что для меня и для моей жены это вопрос жизни. Пусть никто, ни под каким видом, не болтает об исчезновении Рогена. Вызовите Цезарину и попросите ее следить, чтобы при жене не заговорили об этой истории. Нужно остерегаться наших лучших друзей — Рагонов, Пильеро, всех, всех...

Кротта был поражен изменившимся голосом Бирото, он понял, какое значение для парфюмера имело это распоряжение. Улица Сент-Оноре была по пути к дому судьи, и Александр исполнил просьбу парфюмера; Селестен и Цезарина с ужасом увидали в глубине фиакра безмолвного, бледного и словно отупевшего Цезаря.

— Все это должно оставаться в строжайшей тайне, — сказал им парфюмер.

«Ага, — подумал Ксандро, — он, кажется, приходит в себя, а я уж было решил, что ему конец».

Совещание Александра Кротта со следователем длилось долго; послали за председателем нотариальной палаты; Цезаря, словно тюк, перетаскивали с места на место; он не шевелился и не проронил ни слова. В седьмом часу вечера Кротта отвез парфюмера домой. Мысль о том, что ему придется предстать перед Констанс, вернула Цезаря к жизни. Молодой нотариус проявил к нему участие: он прошел вперед и предупредил г-жу Бирото, что с мужем ее приключилось нечто вроде удара.

— У него помутилось в голове, — сказал он с жестом, которым обычно показывают, что человек тронулся, — придется, вероятно, пустить ему кровь или поставить пиявки.

— Этого следовало ожидать, — сказала Констанс, бесконечно далекая от мысли о разорении, — он не принимал в начале зимы прописанной ему микстуры, а два последних месяца работал как каторжный, словно ему нужно было заработать на кусок хлеба.

Упросив Цезаря лечь в постель, жена и дочь послали за стариком Одри, врачом, лечившим Бирото. Одри напоминал мольеровских лекарей: опытный врач и любитель старинных рецептов, он пичкал своих больных всякими снадобьями не хуже любого знахаря. Он явился и, ограничившись наружным осмотром Цезаря, предписал поставить ему немедленно горчичники к подошвам ног: он нашел признаки кровоизлияния в мозг.

— Чем же это могло быть вызвано? — спросила Констанс.

— Сырой погодой, — ответил доктор, которому Цезарина успела шепнуть несколько слов.

Врачам нередко приходится изрекать заведомые глупости, чтобы спасти жизнь или честь окружающих больного здоровых людей. Старый врач, много на своем веку повидавший, понял все с полуслова. Цезарина вышла за ним на лестницу спросить о режиме для больного.

— Тишина и покой, — ответил врач, — а потом, когда голове станет легче, попытаемся дать ему что-нибудь укрепляющее.

Госпожа Бирото провела двое суток у изголовья мужа, который, казалось ей, часто бредил. Его поместили в нарядной голубой спальне жены, и, глядя на драпировки, мебель, на всю дорого стоившую роскошь, Бирото бормотал какие-то непонятные Констанс слова.

— Он помешался, — сказала она дочери, когда Цезарь, приподнявшись на своем ложе, стал торжественным голосом повторять отрывки из параграфов торгового устава.

— «Если траты признаны чрезмерными!..» Снимите драпировки!

После трех ужасных дней, когда боялись за рассудок Цезаря, здоровый организм туренского крестьянина взял верх — в голове у Бирото прояснилось; врач предписал ему сердечные средства и усиленное питание. Однажды, выпив чашку крепкого кофе, Бирото ощутил прилив бодрости и почувствовал себя здоровым. Тогда слегла Констанс.

— Бедняжка! — сказал Цезарь, видя, что она заснула.

— Мужайтесь, папа! Вы такой выдающийся человек, вы, конечно, справитесь с бедой. Все уладится. Ансельм вам поможет.

Слова эти были сказаны таким нежным голосом, Цезарина вложила в них столько любви, сделавшей их еще проникновенней, что они могли бы вернуть мужество самому удрученному человеку, — так спетая матерью колыбельная песня убаюкивает ребенка, у которого режутся зубки.

— Да, дочь моя, я буду бороться; но никому об этом ни слова — ни Попино, хоть он и любит нас, ни дяде Пильеро. Я первым долгом напишу брату; он, кажется, каноник, викарий собора и, верно, ничего не тратит, у него должны водиться деньги. Откладывая хотя бы по тысяче экю в год, он вполне мог скопить за двадцать лет до ста тысяч франков. В провинции священники пользуются большим влиянием.

Цезарина принесла отцу маленький столик; торопясь подать ему все необходимое для письма, она захватила также и оставшиеся приглашения на бал, отпечатанные на розовой бумаге.

— Сожги все это! — крикнул купец. — Только дьявол мог внушить мне мысль дать этот бал. Если не удастся избегнуть катастрофы, все будут считать, что я плут. Да, да, сожги! Без возражений!

*Письмо Цезаря Франсуа Бирото*

«Дорогой брат!

У меня сейчас такие тяжелые деловые затруднения, что я умоляю тебя прислать мне все деньги, какими ты можешь располагать, даже если бы тебе пришлось их занять для этого.

Твой Цезарь.

Твоя племянница Цезарина, — я пишу это письмо в ее присутствии, пользуясь тем, что моя бедная жена уснула, — просит передать тебе привет и нежно тебя целует».

Эта приписка сделана была по просьбе Цезарины, которая отнесла письмо Раге.

— Отец, — сказала она, вернувшись, — здесь господин Леба, он хочет поговорить с вами.

— Господин Леба! — испуганно воскликнул Цезарь, словно, разорившись, он стал преступником. — Судья!

— Дорогой господин Бирото, я принимаю в вас слишком горячее участие, — сказал, входя, богатый суконщик, — мы так давно знаем друг друга, вместе были избраны первый раз в судьи, я не могу не предупредить вас, что у некоего ростовщика Бидо, по прозвищу Жигонне, имеются ваши векселя, переданные ему банкирским домом Клапарона *без поручительства*. Эти два слова — не только оскорбление, это — смерть вашему кредиту.

— Господин Клапарон желает вас видеть, — доложил вошедший Селестен, — может ли он к вам подняться?

— Сейчас мы узнаем, чем было вызвано это оскорбление, — сказал Леба.

— Сударь, — обратился парфюмер к вошедшему Клапарону, — это господин Леба, член коммерческого суда и мой друг...

— Ах, сударь, вы, стало быть, господин Леба, — перебил Клапарон, — господин Леба из коммерческого суда, господин Леба, к которому хорошо бы попасть на хлеба, есть ведь столько Леба...

— Он видел векселя, которые я вам выдал, — перебивая болтуна, продолжал Бирото, — вы уверяли, что они не будут пущены в обращение, а он их видел с надписью: *«без поручительства»*.

— Ну что ж, — сказал Клапарон, — они действительно не будут пущены в обращение. Они находятся в руках человека, с которым мы вместе ведем множество дел, — у папаши Бидо. Потому-то я и сделал надпись *«без поручительства»*. Если бы векселя должны были быть пущены в обращение, вы бы сделали на них обыкновенную бланковую надпись. Господин судья поймет мое положение. Что такое эти векселя? Цена недвижимости. Кем эта недвижимость должна быть оплачена? Бирото. Почему же вы хотите, чтобы я поручился за Бирото своей подписью? Каждый из нас должен внести свою долю. Так разве недостаточно нашего общего обязательства перед продавцами? Я придерживаюсь незыблемого коммерческого правила: не предоставлю без надобности своего поручительства, как не выдам расписки на не полученную еще сумму. Нужно все предусматривать. Кто даст свою подпись, — платит. А я не хочу быть вынужденным платить трижды.

— Трижды? — воскликнул Цезарь.

— Да, сударь, — ответил Клапарон. — Я поручился уже за Бирото перед продавцами участков, зачем же я буду еще ручаться за него и перед банкиром? Положение у нас сейчас не из легких, Роген увез у меня сто тысяч франков. Моя доля земельных участков обойдется мне таким образом уже не в четыреста, а в пятьсот тысяч франков. Роген увез также двести сорок тысяч франков Бирото. Что бы вы сделали, господин Леба, оказавшись в моем положении? Поставьте себя на мое место. Я имею честь быть вам известным не более, чем мне известен господин Бирото. Слушайте же внимательно. Мы с вами участвуем в деле на половинных началах; вы — вносите вашу долю наличными деньгами; я рассчитываюсь за свою — векселями; векселя эти я предлагаю вам; а вы — исключительно из любезности — беретесь обратить их в деньги. И вот вы узнаете, что банкир Клапарон — человек богатый, уважаемый, наделенный, скажем, всеми добродетелями на свете, что этот достойный Клапарон обанкротился и должен шесть миллионов франков. Согласитесь ли вы в этот самый момент поставить свою подпись на моих обязательствах? Да ведь это было бы безумием! Так вот, господин Леба, Бирото находится в таком именно положении, в какое я предположительно поставил Клапарона. Разве вам не ясно, что помимо уплаты своей доли за участки я, если поручусь за Бирото, вынужден буду уплатить еще и его долг в пределах суммы, на которую им выданы векселя, не получив при этом...

— Кому уплатить? — перебил его парфюмер.

— Не получив при этом его половины земельных участков, — продолжал Клапарон, не обращая внимания на вопрос Цезаря, — ибо никаких преимуществ у меня не будет и мне придется еще покупать тогда его половину. Вот и выходит — платить трижды.

— Но кому же платить? — снова спросил Бирото.

— Держателю векселей, конечно, если бы я сделал передаточную надпись, а с вами случилось бы несчастье.

— Я не прекращу платежей, сударь, — сказал Бирото.

— Прекрасно, — возразил Клапарон. — Но вы ведь были судьей, вы опытный коммерсант, вам известно, что следует все предвидеть, не удивляйтесь же, если я поступаю, как деловой человек.

— Господин Клапарон прав, — заметил Жозеф Леба.

— Я прав, — продолжал Клапарон, — прав с коммерческой точки зрения. Однако речь у нас идет о покупке земли. Так вот, что я должен получить?.. деньги, ибо нам придется платить деньгами. Не будем уж говорить о двухстах сорока тысячах франков, — господин Бирото их достанет, я в этом не сомневаюсь, — сказал Клапарон, глядя на Леба. — Я пришел попросить у вас безделицу — двадцать пять тысяч франков, — продолжал он, обращаясь к Бирото.

— Двадцать пять тысяч франков! — воскликнул Цезарь, чувствуя, что у него кровь леденеет в жилах. — Но за что, сударь?

— Дорогой господин Бирото, мы должны совершить купчую в нотариальном порядке. Насчет оплаты участков мы можем еще между собой столковаться, но объясняться с казной — слуга покорный. Казна пустых слов не любит, долго ждать она не согласна, и нам на этой неделе придется выложить ей сорок четыре тысячи франков гербового сбора. Я, когда шел сюда, никак не ожидал упреков; полагая, что эти двадцать пять тысяч франков могут вас затруднить, я намеревался вам сообщить, что благодаря чистейшей случайности я спас для вас...

— Что? — воскликнул Бирото с явным отчаянием в голосе.

— Безделицу! Двадцать пять тысяч франков в принадлежащих вам векселях разных лиц, которые Роген поручил мне реализовать. Я произвел за вас расходы по их учету и пришлю вам счет; после оплаты вашей доли за совершение купчей вы мне останетесь должны всего лишь шесть или семь тысяч франков.

— Все это мне кажется вполне правильным, — заметил Леба. — Господин Клапарон, видимо, прекрасно разбирается в делах; в отношении незнакомого мне человека я поступил бы на его месте точно так же.

— Господин Бирото от этого не умрет, — сказал Клапарон, — старого волка одним выстрелом не уложишь: мне приходилось видеть волков с простреленной головой, и они бегали... да, черт меня побери! как... ну, как настоящие волки...

— Кто бы подумал, что человек может совершить такую подлость, как Роген! — сказал Леба, пораженный молчанием Цезаря и размахом спекуляции, ничего общего с парфюмерией не имеющей.

— Я чуть было не выдал господину Бирото расписки в получении четырехсот тысяч франков, — сказал Клапарон. — Вот бы я влип! Только днем раньше я вручил Рогену сто тысяч франков. Спасло меня наше взаимное доверие. Всем нам казалось безразличным, где будут наши денежные фонды до окончательного оформления сделки: в нотариальной ли конторе или у меня.

— Лучше всего было бы каждому держать до платежа свои деньги в банке, — заметил Леба.

— Роген был для меня банком, — сказал Цезарь. — Однако он ведь и сам участвовал в деле, — прибавил парфюмер, взглянув на Клапарона.

— Да, но в четвертой доле и то лишь на словах, — ответил Клапарон. — Я уже совершил глупость, позволив ему увезти мои деньги; еще большей глупостью было бы сохранить за ним его долю в участках. Пусть пришлет сперва мои сто тысяч франков, да еще двести тысяч в уплату за свою долю, тогда поглядим! Но он и не подумает, конечно, вкладывать деньги в земельные участки, которые только через пять лет принесут свой первый урожай. Он, говорят, увез всего лишь триста тысяч франков, а ведь, чтобы жить прилично за границей, ему потребуется по меньшей мере пятнадцать тысяч франков годового дохода.

— Грабитель!

— Господи! Но Роген ведь дошел до этого под влиянием страсти, — заметил Клапарон. — Какой старик может поручиться, что устоит и не отдастся во власть своего последнего сумасшедшего увлечения? Никто из нас, благоразумных, не знает, чем он кончит. Последняя-то любовь и бывает безумной! Взгляните на всех этих Кардо, Камюзо, Матифа... Каждый из них обзавелся любовницей! Мы с вами влопались по собственной вине. Зачем мы доверились нотариусу, который занялся спекуляцией? Любой нотариус, любой биржевой маклер или комиссионер, пустившийся в аферы, уже подозрителен. Когда они объявляют себя несостоятельными — это ведь всегда злостное банкротство. Их бы следовало закатать в тюрьму, но они предпочитают укатить за границу. Это будет мне наукой. Право, мы слишком снисходительны, нам, видите ли, неудобно требовать заочного осуждения людей, у которых мы обедали, которые задавали нам балы, словом — людей светских. Никто не подает на них жалоб, — и напрасно!

— Совершенно напрасно, — подхватил Бирото, — закон о несостоятельности и банкротстве должен быть пересмотрен.

— Если я буду вам нужен, — обратился Леба к Цезарю, — я всегда к вашим услугам.

— Господин Бирото ни в ком не нуждается, — заявил неугомонный болтун, у которого дю Тийе открыл шлюзы. (Клапарон повторял урок, очень ловко подсказанный ему дю Тийе.) — Его дело ясно: ликвидация имущества Рогена, как утверждает молодой Кротта, даст кредиторам пятьдесят за сто. Господин Бирото получит сверх того сорок тысяч франков, которых не оказалось у его заимодавца; он может достать еще деньги и под залог своей недвижности. Нам придется внести двести тысяч франков продавцам земельных участков не раньше чем через четыре месяца. Господин Бирото расплатится до тех пор по своим векселям, — ведь для уплаты по ним он не должен был рассчитывать на то, что похитил Роген. А если господину Бирото и будет туговато... что ж, несколько удачных маневров — и он вывернется.

Услыхав, как Клапарон, разбираясь в его деле, приходит к определенным выводам и намечает за него план действий, парфюмер воспрянул духом. Он стал держать себя увереннее, тверже и возымел высокое мнение о способностях бывшего коммивояжера. Дю Тийе счел для себя выгодным прикинуться в глазах Клапарона жертвой Рогена. Он вручил Клапарону сто тысяч франков для передачи Рогену, а нотариус вернул их ему обратно. Обеспокоенный Клапарон был вполне искренен, когда твердил каждому встречному, что Роген нагрел его на сто тысяч франков. Дю Тийе не считал Клапарона вполне надежным человеком; полагая, что в нем сохранилось еще слишком много порядочности и чести, Фердинанд не хотел посвящать его полностью в свои планы; а что Клапарон не сумеет разгадать их, дю Тийе был уверен.

— Ежели наш первый друг не стал бы первой жертвой наших плутней, — где бы мы нашли вторую? — заявил Фердинанд в тот день, когда, выслушав упреки Клапарона, этого коммерческого сводника, он отшвырнул его, как отслужившее орудие.

Леба и Клапарон вышли вместе.

«Я могу еще выпутаться, — подумал Бирото. — Я должен по векселям, срок которым истекает, двести тридцать пять тысяч франков, семьдесят пять тысяч из них за дом и сто семьдесят пять тысяч за земельные участки. Чтобы расплатиться по этим векселям, у меня будет то, что я получу при ликвидации конторы Рогена, — возможно, до ста тысяч франков. Я могу добиться, чтобы ссуду под залог моих участков признали несостоявшейся — итак, всего сто сорок тысяч франков. Надо, стало быть, заработать на «Кефалическом масле» сто тысяч франков и дотянуть с помощью дружеских векселей или кредита у какого-нибудь банкира до того дня, когда мне удастся вернуть потери и когда земельные участки подскочат в цене».

Если человек путем более или менее правильных рассуждений сумеет создать себе в несчастье сладостную поэму надежды и если она станет изголовьем для его усталой головы, — иной раз он бывает спасен. Нередко люди принимают веру, порожденную иллюзиями, за проявление энергии. Надежда, быть может, — залог мужества; недаром же католическая религия возвела ее в добродетель. Разве надежда не служит поддержкой для слабых, помогая им дождаться счастливого случая? Бирото решил отправиться к дяде жены и рассказать ему о своих денежных затруднениях, прежде чем искать помощи у посторонних; дойдя по улице Сент-Оноре до улицы Бурдонне, он ощутил вдруг никогда еще не испытанную им жестокую боль в груди и подумал, что серьезно захворал. Внутри у него все горело. Люди, наделенные чувствительностью, ощущают боль в сердце, а те, кто воспринимает все умом, — страдают от головных болей. В зависимости от темперамента человека его организм в минуты сильных потрясений испытывает боль там, где находится его жизненный центр: у слабых бывают желудочные колики, на Наполеона нападала сонливость. Прежде чем пойти на приступ и завоевать чье-либо доверие, преодолев сперва преграды собственной гордости, люди чести не раз должны ощутить в своем сердце острые шпоры неумолимой наездницы — необходимости. Цезарь два дня терпел такое пришпоривание, прежде чем направился к дяде, да и то решился на этот шаг из родственных чувств: он как-никак обязан был рассказать о своем положении суровому торговцу скобяными товарами. И все же перед дверью Пильеро он почувствовал внезапную слабость, как ребенок у порога дантиста. Но трепетал он потому, что на карту была поставлена вся его жизнь, а не из страха перед минутной болью. Бирото медленно поднялся по лестнице. Он застал старика у камина за чтением «Конститюсьонеля»; около него стоял маленький круглый столик со скромным завтраком: булочкой, маслом, сыром бри и чашкой кофе.

— Вот истинный мудрец! — позавидовал Бирото спокойной жизни дяди.

— Ну, — сказал Пильеро, снимая очки, — я узнал вчера в кафе «Давид» об этой истории с Рогеном и об убийстве его любовницы, Прекрасной Голландки. Надеюсь, что после нашего разговора — ведь мы хотели стать фактическими владельцами земли — ты получил у Клапарона расписку?

— Увы, дяди! Вы бередите мою рану, в том-то и горе, что нет!

— Ах, проклятье! Значит, ты разорен! — воскликнул Пильеро, роняя газету, которую Бирото поспешил поднять, хотя эта газета была «Конститюсьонель».

Пильеро так был захвачен своими мыслями, что его строгое, точно из бронзы отлитое лицо приобрело чеканность медали: он слушал долгий рассказ Бирото, застыв в полной неподвижности, устремив сквозь окно невидящий взгляд на стену соседнего дома. Он слушал и судил, взвешивая, очевидно, все «за» и «против» с беспристрастием нового Миноса, который переплыл через Стикс коммерции, сменив набережную Морфондю на скромную квартирку в четвертом этаже.

— Так как же, дядя? — спросил Бирото, закончив свой рассказ просьбой продать на шестьдесят тысяч франков ренты и ожидая ответа.

— Увы, мой бедный племянник, я не могу этого сделать, ты слишком запутался. Рагоны и я, мы потеряем по пятьдесят тысяч франков каждый. Эти достойные люди, по моему совету, продали акции Ворчинских копей, и раз они понесут убыток, я считаю своим долгом если не вернуть им капитал, то хотя бы помочь им, помочь также своей племяннице и Цезарине. Всем вам, быть может, понадобится кусок хлеба, и вы его у меня найдете...

— Кусок хлеба, дядя?

— Да, да, кусок хлеба! Посмотри правде в глаза: *тебе не выпутаться*. Из пяти тысяч шестисот франков ренты я могу отдать четыре тысячи, поделив их между вами и Рагонами. Я хорошо знаю Констанс; коль скоро случилась беда, она будет работать не покладая рук, она во всем будет себе отказывать, да и ты тоже, Цезарь!

— Ведь не все еще пропало, дядя!

— Ну, я держусь другого мнения.

— Вы не правы, и я докажу вам это.

— Что ж, буду только рад.

Бирото ушел от дяди, ничего ему не ответив. Он приходил за утешением и за поддержкой, но получил еще один удар, на этот раз, правда, менее сокрушительный, но то был удар не в голову, а в сердце; а ведь в сердце была сосредоточена вся жизнь бедняги. Он спустился уже на несколько ступеней, но потом поднялся обратно.

— Сударь, — холодно сказал он Пильеро, — Констанс ни о чем не знает, сохраните, по крайней мере, все это в тайне. И попросите Рагонов не лишать меня домашнего покоя, — он необходим мне для борьбы с несчастьем.

Пильеро в знак согласия кивнул головой.

— Мужайся, Цезарь! — сказал он. — Ты, я вижу, на меня сердит; но позднее, подумав о жене и дочери, ты поймешь, что я был прав.

Цезарь пал духом, услышав мнение дяди, которого почитал человеком очень проницательным; с высоты своих надежд и упований он низвергся в топкое болото неуверенности. Среди жестоких коммерческих бурь человек, не обладающий, как Пильеро, закаленной душой, становится игрушкой событий: он то прислушивается к чужим мнениям, то действует по собственному разумению, подобно путнику, устремляющемуся за блуждающими огоньками. Он позволяет вихрю закружить себя, вместо того чтобы, зажмурившись, лечь на землю и дать ему пронестись мимо, либо, взвившись вверх, включиться в движение этого вихря и потом из него вырваться.

Бирото среди своих терзаний вспомнил о тяжбе из-за несостоявшегося займа. Он направился на улицу Вивьен к своему стряпчему Дервилю; он хотел как можно скорей начать дело, если тот найдет, что есть надежда добиться признания сделки недействительной. Парфюмер застал Дервиля дома, — он сидел у камина в белом фланелевом халате, спокойный и невозмутимый, как и подобает стряпчему, привыкшему к самым потрясающим признаниям. Бирото впервые заметил эту намеренную холодность; она заставляла остыть любого уязвленного, охваченного страстями человека, лихорадочно трепещущего за свое благосостояние, за жену и детей, болезненно ущемленного в своих жизненных интересах и чести, подобно самому Цезарю, который рассказывал теперь о постигшем его несчастье.

— Если будет доказано, — заявил, выслушав его, Дервиль, — что у Рогена уже не было в наличии той суммы, которую он должен был выдать вам за счет заимодавца, то, поскольку деньги выданы не были, сделка может быть признана недействительной и заимодавец будет взыскивать эту сумму, как и вы свои сто тысяч франков, с залога за контору. Я в таком случае отвечаю за исход процесса, насколько это вообще возможно, ибо заранее выигранных дел не бывает.

Выслушав мнение столь опытного юриста, парфюмер приободрился; он попросил Дервиля добиться судебного решения в течение двух недель. Но стряпчий ответил, что решения об отмене сделки удастся добиться лишь месяца через три.

— Через три месяца! — воскликнул парфюмер, полагавший уже, что часть необходимых ему средств найдена.

— Если мы даже добьемся скорого разбирательства дела, нам не заставить противника шагать с нами в ногу: он воспользуется всеми законными поводами для проволочки; адвокаты не всегда являются в суд; кто знает, быть может, противная сторона пойдет на заочное решение дела? Не все идет так, как нам хочется, уважаемый, — закончил, улыбаясь, Дервиль.

— А как же в коммерческом суде? — спросил Бирото.

— О, между судом коммерческим и судом уголовным и гражданским огромная разница, — ответил адвокат. — Там, у себя, вы решаете все дела сплеча! У нас же в суде все делается по форме. Форма — оплот законности. Пришлось бы вам по вкусу скороспелое решение, которое лишило бы вас сорока тысяч франков? Так вот и ваш противник, увидав, что его деньги в опасности, будет защищаться. Отсрочки — это судебные рогатки.

— Вы правы, — сказал Бирото. Простившись с Дервилем, он вышел от него совершенно убитый.

— Все они правы. Денег! Денег! — стонал он, шагая по улице и разговаривая сам с собой, подобно всем озабоченным людям в неистово клокочущем Париже, который кто-то из современных поэтов назвал кипящим котлом. Когда он вернулся в лавку, приказчик, разносивший счета, встретил его сообщением, что все клиенты, в связи с приближением Нового года, расписавшись в получении счетов, оставили их у себя.

— Значит, негде достать денег! — громко, на всю лавку сказал парфюмер и тут же прикусил себе язык: все приказчики повернули к нему головы.

Так прошло пять дней, пять дней, в течение которых Брашон, Лурдуа, Торен, Грендо, Шафару — словом, все кредиторы, ничего не получившие по своим векселям, — претерпели, подобно хамелеону, ряд превращений, обычных для заимодавца, прежде чем от мирного состояния доверия он перейдет к кровожадной ярости богини войны Беллоны. В Париже люди легко поддаются скупому недоверию, а великодушному порыву уступают лишь с трудом; но, ступив однажды на путь опасений и коммерческих предосторожностей, кредитор доходит до таких гнусностей, которые ставят его ниже должника. Приторная любезность кредиторов сменилась злобным нетерпением, назойливостью, взрывами негодования, леденящим холодом бесповоротного решения, наглостью заготовленной судебной повестки. Брашон, богатый обойщик из Сент-Антуанского предместья, кредитор с задетым самолюбием, — ибо он не был приглашен на бал, — первым протрубил атаку: он требовал уплаты ему долга в двадцать четыре часа, требовал гарантий, и не в виде какой-то там описанной мебели, а в виде закладной на недвижимое имущество в предместье Тампль. Как ни яростны были преследования кредиторов, у Бирото все же бывали минуты передышки. Но вместо того чтобы принять твердое решение и как-то справиться с первыми передрягами, вызванными его тяжелым положением, Цезарь все свои помыслы сосредоточил на том, чтобы жена — единственно, кто мог бы помочь ему советом, — ничего о них не узнала. Стоя у дверей своей лавки, он охранял ее, точно часовой. Он посвятил Селестена в тайну своих временных затруднений, и тот с удивлением и любопытством приглядывался к хозяину: Цезарь терял в его глазах все свое значение, как теряют его в час катастрофы все посредственные люди, преуспевавшие лишь в силу приобретенной сноровки и житейского опыта. Не обладая энергией, необходимой для борьбы с надвигавшейся со всех сторон бедой, Цезарь все же нашел в себе достаточно мужества, дабы разобраться в своем положении. Чтобы рассчитаться за перестройку дома, уплатить за квартиру, произвести срочные платежи, ему требовалось к 30 декабря и к 15 января шестьдесят тысяч франков наличными, из них тридцать тысяч к 30 декабря; все же ресурсы его едва достигали двадцати тысяч франков; ему не хватало, стало быть, десяти тысяч франков. Но положение отнюдь не казалось ему безнадежным, ибо он теперь уже не заглядывал вперед, а жил изо дня в день, подобно искателям приключений. Пока слух о его денежных затруднениях еще не распространился, Цезарь решил предпринять ловкий, по его мнению, ход — обратиться к знаменитому Франсуа Келлеру, банкиру, оратору и филантропу, известному своей благотворительностью и готовностью быть полезным парижскому торговому миру, чтобы удержать тем самым за собой в палате место представителя города Парижа. Банкир был либерал; Бирото — роялист; но парфюмер мерил всех на свою мерку и видел в разнице убеждений только лишнее основание для получения кредита. Если бы от него потребовали гарантий, Бирото рассчитывал попросить у Ансельма тысяч на тридцать векселей — в преданности Попино он не сомневался; получение кредита помогло бы ему выиграть тяжбу и расплатиться с самыми алчными из кредиторов. Парфюмер, человек общительный, привыкший рассказывать перед сном своей милой Констанс о всех своих треволнениях, черпая в этом мужество, и приходивший к правильному решению, только выслушав возражения жены, не мог поговорить о своих затруднениях ни с ней, ни со старшим приказчиком, ни с дядей. И заботы ложились на него двойным бременем. Однако самоотверженный мученик предпочитал терзаться сам, лишь бы не заронить искру тревоги в душу жены; он собирался рассказать ей обо всем, когда опасность минует. У него не хватало решимости на это ужасное признание. Страх за жену придавал ему силу сносить терзания. Каждое утро Цезарь отправлялся в церковь св. Роха и поверял свои горести богу.

«Если по дороге домой я не встречу ни одного солдата — значит, моя молитва будет услышана. Это послужит мне небесным знамением», — думал он, вознеся богу мольбу о помощи.

И Цезарь бывал счастлив, если не встречал солдата. Все же у него было бесконечно тяжело на сердце, и он нуждался в близкой душе, перед которой мог бы излить свою тоску. Цезарине он уже доверился, получив роковое известие, и теперь она полностью была посвящена в его тайну. Они украдкой обменивались взглядами, в которых сквозило отчаяние или надежда, возносили горячие мольбы, задавали участливые вопросы и друг другу отвечали на них, — словом, между ними царило полное взаимопонимание. Для спокойствия жены Бирото притворялся веселым и жизнерадостным. Спросит его о чем-нибудь Констанс, — о! все идет отлично! Попино, о котором Цезарь и думать позабыл, процветает! «Масло» — нарасхват! Векселя Клапарону будут оплачены, беспокоиться нечего. На эту деланную веселость было жутко смотреть. Когда Констанс засыпала на своем пышном ложе, Бирото садился в постели и погружался в мысли о своем несчастье. Иной раз к нему прибегала Цезарина — босиком, в одной сорочке, накинув на белые плечи шаль.

— Ты плачешь, папа, я слышу, — говорила она, обливаясь слезами.

Отправив великому Франсуа Келлеру письмо с просьбой принять его, Бирото впал в такое оцепенение, что дочь повела его погулять по Парижу. Тогда только он впервые заметил громадные красные афиши, расклеенные на улицах, и в глаза ему бросились слова: «Кефалическое масло».

В то время как «Королева роз» трагически клонилась к своему закату, на горизонте в блеске успеха всходило новое светило — «Торговый дом А. Попино». Руководствуясь советами Годиссара и Фино, Ансельм отважно выпустил в продажу свое масло. За три дня на самых видных местах в столице были расклеены две тысячи афиш. Нельзя было не наткнуться на «Кефалическое масло», не прочесть сочиненных Фино лаконичных фраз о том, что заставить волосы вырасти вновь — невозможно, а красить их — опасно, фраз, подкрепленных цитатами из доклада Воклена в Академии наук; то была гарантия продлить жизнь волос, выданная каждому, кто будет пользоваться «Кефалическим маслом». Все парижские брадобреи, парикмахеры и парфюмеры украсили свои двери золоченой рамкой с превосходно отпечатанной на веленевой бумаге рекламой, вверху которой в уменьшенном виде красовалась гравюра «Геро и Леандр» со следующим изречением в виде эпиграфа: «Народы древности сохраняли свои волосы благодаря употреблению «Кефалического масла».

— Он придумал постоянные рамки! Да ведь это — вечная реклама! — пробормотал пораженный Бирото, разглядывая витрину «Серебряного колокола».

— Разве ты не видел у нас в лавке такой же рамки? — спросила его дочь. — Ее принес нам сам господин Попино, а еще он принес и передал Селестену триста флаконов масла.

— Нет, не видел, — ответил Бирото.

— Пятьдесят флаконов Селестен уже продал случайным покупателям, а шестьдесят — нашим постоянным клиентам.

— А! — произнес Цезарь.

Парфюмер, ошеломленный гудением тысячи колоколов, которыми нужда оглушает свои жертвы, жил в состоянии непрерывного головокружения; Попино прождал его накануне целый час и ушел, поговорив с Констанс и Цезариной; он узнал от них, что Цезарь всецело поглощен каким-то крупным делом.

— Ах да, земельные участки!

Попино целый месяц не покидал улицы Сенк-Диаман, проводил ночи напролет и все воскресные дни на фабрике и поэтому не видел, к счастью, ни Рагонов, ни Пильеро, ни своего дяди-судьи. Бедный юноша спал не более двух часов в сутки. Он обходился пока двумя приказчиками, а его разросшемуся делу их требовалось уже четыре. В торговле случай решает все. Кто не оседлает успеха, точно коня, тот проворонит свое счастье. Попино надеялся, что дядя и тетка встретят его с распростертыми объятиями, когда он скажет им через полгода: «Я прочно стал на ноги и сколотил себе состояние», — и что Бирото так же хорошо его примет, когда через шесть месяцев он вручит парфюмеру его долю — тридцать или сорок тысяч франков. Ансельм ничего не знал ни о бегстве Рогена, ни о несчастье, постигшем Бирото, ни о его денежных затруднениях и не мог поэтому обмолвиться каким-нибудь неосторожным словом в присутствии г-жи Бирото. Он обещал Фино по пятьсот франков за рекламу в большой газете — а их было с десяток! — и по триста франков за рекламу в газете помельче — таких тоже было около десяти, — если в каждой из них по три раза в месяц будет упоминаться о «Кефалическом масле». Фино видел, что из этих восьми тысяч франков ему отчислится тысячи три — первая ставка, которую он сможет бросить на необъятный игорный стол спекуляции. И он ринулся, как лев, на своих друзей и знакомых; он проникал по утрам в спальни редакторов, сновал по вечерам во всех театральных фойе, не вылезал из редакций. «Помни о моем масле, дружище, я-то лично ничуть в нем не заинтересован, просто товарищеская услуга кутиле Годиссару». Этой фразой начинался и кончался любой его разговор. Он взял штурмом нижние колонки последних газетных полос, помещая там собственноручно написанные заметки, а гонорар за них оставлял в пользу сотрудников. Хитрый, как статист, стремящийся выбиться в актеры, проворный, словно мальчишка на побегушках, выколачивающий шестьдесят франков в месяц, он строчил льстивые письма, играл на людском самолюбии, оказывал грязненькие услуги редакторам — только бы протолкнуть свои статейки о «Кефалическом масле». Деньги, обеды, заискивания — в своей лихорадочной деятельности он не брезговал ничем. Он подкупал театральными билетами наборщиков, заполняющих в полночь последнюю газетную колонку какой-либо заметкой из кучи «смеси», всегда имеющейся про запас в любой газете; Фино вертелся с озабоченным видом в это время в типографии, словно ему надо было еще раз просмотреть какую-нибудь статью. Приятель всех и каждого, он помог «Кефалическому маслу» одержать верх над «Кремом Реньо», над «Бразильским бальзамом» и другими косметическими средствами, хотя у изобретателей их и хватило гениальности догадаться первыми, какое огромное влияние на публику оказывает повторяющаяся в газетных заметках реклама. В те блаженные времена многие журналисты, подобно волам, не сознавали собственной силы и были заняты актрисами — Флориной, Туллией, Мариеттой и другими. Они всем командовали, но ничего от этого не получали. Андош не добивался ни аплодисментов для актрисы, ни устройства пьесы в театр, ни принятия своего водевиля, ни гонорара за статьи; наоборот, он сам в нужный момент предлагал деньги взаймы и умел кстати пригласить позавтракать; а потому не оказалось ни одной газеты, которая не говорила бы о «Кефалическом масле», не утверждала бы, что оно по составу своему соответствует анализам Воклена, не издевалась бы над теми, кто верит, что можно заставить волосы расти, не предупреждала бы, что красить их опасно.

Заметки эти радовали сердце Годиссара, который, пользуясь газетами, как оружием в своей борьбе с предрассудками, производил в провинции то, что впоследствии с его легкой руки спекулянты стали называть «лихой атакой». Парижские газеты в ту пору безраздельно господствовали в провинции — она, несчастная, собственными органами печати еще не обзавелась. Газеты изучались там тщательнейшим образом, от заголовка до фамилии типографа — строчки, где могла как раз скрываться насмешка людей, преследуемых за убеждения. Опираясь на прессу, Годиссар достиг блестящих успехов в первых же городах, которые он штурмовал своим красноречием. Все провинциальные лавочники пожелали иметь рамки с рекламой и гравюрой «Геро и Леандр». Фино высмеивал «Макассарское масло» в очаровательной шутке, вызывавшей столько смеха в театре «Фюнамбюль»: Пьеро хватает половую щетку, в которой остались одни дырочки, мажет ее «Макассарским маслом», и щетка становится вдруг густой, словно лесная чаща. Эта забавная сценка вызывала хохот всего зала.

Впоследствии Фино, весело посмеиваясь, признавался, что без этой тысячи экю он погиб бы от нищеты и горя. Тысяча экю была для него целым состоянием. Эта газетная кампания помогла ему первому догадаться о могуществе рекламы, которой он потом так широко и умело пользовался. Через три месяца Фино уже был редактором небольшой газетки, а в конце концов купил ее, и она-то послужила основой его состояния. Своим процветанием «Торговый дом А. Попино» обязан был лихой атаке, предпринятой в провинции и за границей прославленным Годиссаром, этим Мюратом коммивояжеров; популярность же свою среди публики фирма приобрела благодаря отчаянному штурму газет, породившему широковещательную рекламу, к которой прибегли, впрочем, также и «Бразильский бальзам», и «Крем Реньо». Этот штурм общественного мнения, положивший начало трем состояниям, трем карьерам, вызвал затем нашествие целого полчища людей, алчущих наживы, ринувшихся на газетную арену, где они и произвели настоящий переворот, создав платные объявления. Но в описываемое нами время реклама «Торгового дома А. Попино и К°» красовалась уже на всех стенах и во всех витринах. Бирото не способен был постигнуть значение этой рекламы и удовольствовался тем, что сказал Цезарине: «Маленький Попино пошел по моим стопам!»; он не понимал того, что времена изменились, не умел оценить могущества новых методов, стремительность и размах которых позволяют несравненно быстрее захватить рынок. Со дня бала Бирото ни разу не был на своей фабрике и не знал, какую кипучую деятельность развил там Попино. Ансельм забрал на фабрику всех рабочих Бирото и сам проводил там ночи напролет. Ему везде мерещилась Цезарина: она сидела на каждом ящике, лежала в каждой отправляемой посылке, смотрела на него со всех накладных. Он говорил себе: «Она будет моей женой», когда, сняв сюртук и засучив рукава по локоть, лихорадочно заколачивал ящики вместо разосланных с поручениями приказчиков.

Продумав всю ночь над тем, что надо сказать и чего не говорить одному из крупнейших представителей банковских сфер, Цезарь отправился на другой день на улицу Гуссэ и с замиранием сердца подошел к особняку банкира-либерала, принадлежавшего к партии, которую обвиняли — и с полным основанием — в стремлении низвергнуть Бурбонов. Парфюмер, как и все парижские торговцы, ничего не знал о людях и нравах банковских сфер. В Париже между высшими банковскими кругами и торговым миром есть связующее звено — второстепенные банкирские дома, удобные для банков посредники, которые служат для них еще одной лишней гарантией. Констанс и Цезарь, никогда не выходившие за пределы своих возможностей, никогда не остававшиеся с пустой кассой, хранившие векселя у себя в портфеле, ни разу не обращались в эти второстепенные банкирские дома; еще меньше они были известны, конечно, в высоких банковских сферах. Возможно, что это ошибка — не заручиться заранее кредитом, хотя бы в нем даже и не было надобности: существуют различные мнения на этот счет. Как бы то ни было, Бирото очень сожалел теперь, что ни разу не пускал в ход свою подпись. Он, впрочем, полагал, что ему, помощнику мэра, человеку причастному к политике и пользующемуся некоторой известностью, достаточно будет назвать себя, чтобы быть принятым; он и не подозревал даже, что аудиенции у этого банкира добиваются не меньше посетителей, чем у короля. Войдя в приемную — преддверие кабинета столь знаменитого во многих отношениях человека, — Цезарь Бирото оказался среди многолюдного общества: тут были депутаты, писатели, журналисты, биржевые маклеры, крупные коммерсанты, дельцы, инженеры, но больше всего было «своих людей», которые, пробравшись сквозь группы посетителей и на особый лад постучавшись в дверь кабинета, входили туда вне очереди.

«Что значу я в этой грандиозной машине?» — подумал Бирото, оглушенный шумом и суетой на этой мельнице идей, выпекавшей для оппозиции хлеб насущный, и где разучивали роли великой трагикомедии, разыгрывавшейся представителями «левой».

Справа от него обсуждали вопрос о займе для окончания работ на основных линиях каналов; заем этот был предложен ведомством путей сообщения, и речь шла о миллионах! Слева — журналисты, которых банкир подкармливал из тщеславия, толковали о вчерашнем заседании палаты и об импровизированной речи патрона. За два часа ожидания Бирото три раза наблюдал, как банкир-политик выходил из своего кабинета, провожая шага на три особо важных посетителей. Последнего из них, генерала Фуа, Франсуа Келлер проводил до самой передней.

«Я погиб!» — с замиранием сердца подумал Бирото.

Когда банкир возвращался обратно в свой кабинет, толпа приближенных, друзей и просителей бросалась к нему, как псы, преследующие красивую суку. Несколько дерзких шавок даже пробрались помимо его воли в святилище. Разговор там длился минут пять — десять, иной раз — четверть часа. Одни уходили огорченные, другие — с подчеркнуто довольным видом или напустив на себя важность. Время шло, и Бирото с тревогой поглядывал на часы. Никто не замечал тайных терзаний, беззвучных воплей человека, сидевшего в золоченом кресле в углу возле камина, у дверей кабинета, этого храма кредита, спасителя от всех зол. Цезарь с болью думал, что не так еще давно и он, правда недолго, был у себя таким же царьком, каким этот человек бывает каждое утро, и измерял всю глубину своего падения. Горестная мысль! Как много невыплаканных слез накипело за этот час! Сколько раз Бирото молил бога расположить к нему банкира, ибо под мягкой оболочкой доступности и напускного добродушия он угадывал в Келлере заносчивость, нетерпеливый деспотизм и самое жестокое властолюбие, повергавшие в ужас кроткую душу парфюмера. Наконец в приемной осталось всего лишь десять — двенадцать посетителей, и Бирото решил, что как только скрипнет дверь кабинета, он встанет, приблизится к знаменитому оратору и скажет ему: «Я — Бирото!» Гренадер, первый ринувшийся на редут у Москвы[[20]](#footnote-20), проявил не больше мужества, чем потребовалось парфюмеру, чтобы отважиться на этот шаг.

«Все же я помощник мэра», — подумал он, вставая, чтобы назвать себя.

Франсуа Келлер придал лицу своему приветливое выражение; взглянув на орденскую ленточку парфюмера, он, явно стараясь быть любезным, отступил на шаг, распахнул дверь своего кабинета и жестом пригласил Цезаря войти; сам он немного задержался, чтобы поговорить с двумя, вихрем на него налетевшими, посетителями.

— Деказ хочет побеседовать с вами, — сообщил один из них.

— Нужно покончить с павильоном Марсан! Король все прекрасно понимает, он нас поддержит! — воскликнул другой.

— Мы вместе поедем в палату, — изрек банкир, надувшись, как лягушка, старающаяся сравняться с волом.

«Как он успевает еще думать о своих делах?» — удивился потрясенный Бирото.

Лучезарный блеск могущества ослепил парфюмера, как слепит ночную бабочку, любящую сумерки или полутьму ясной ночи, яркий солнечный свет. Цезарь заметил громадный стол, заваленный печатными отчетами о заседаниях палаты, проектами бюджета, раскрытыми комплектами газеты «Монитер», просмотренными и размеченными для того, чтобы бросить в лицо какому-нибудь министру сказанные им некогда, а теперь позабытые слова и заставить его от них отречься под аплодисменты простодушной толпы, не способной понять, что все на свете меняется в зависимости от обстоятельств. На другом столе — груды папок, проспектов, докладных записок, тысячи справок, составленных для человека, чьей кассой стремились воспользоваться все зарождающиеся промышленные предприятия. Королевская роскошь этого кабинета, полного картин, статуй и других произведений искусства; камин, заставленный дорогими безделушками, целые кипы ценных бумаг, — отечественных и иностранных, — все это подавляло Бирото, заставляло его чувствовать собственное ничтожество, усиливало его трепет и леденило кровь. На письменном столе Франсуа Келлера пачками лежали векселя, чеки, торговые циркуляры. Банкир сел и принялся быстро подписывать письма, не требующие просмотра.

— Чему я обязан честью видеть вас, сударь? — спросил он, в то время как его проворная и цепкая рука продолжала сновать по бумаге.

При этих словах человека, к которому прислушивалась вся Европа и который обращался на этот раз к нему одному, бедняге парфюмеру показалось, что ему словно всадили в живот кусок раскаленного железа. На лице у него появилось то искательное выражение, какое финансист уже лет десять наблюдал на лицах людей, старавшихся втянуть его в какую-нибудь аферу, выгодную только для них самих, выражение, сразу же дававшее ему перевес над посетителем. А потому Франсуа Келлер бросил на Цезаря пронизывающий наполеоновский взгляд. Подражание взгляду Наполеона было в то время смешной причудой многих выскочек, которые при императоре были мелкими пешками. Под этим взглядом Бирото — сторонник «правой», ярый приверженец существующего порядка, избиратель-монархист — почувствовал себя так, словно он был товаром, прищелкнутым пломбой таможенного чиновника.

— Сударь, я не хочу злоупотреблять вашим временем и буду краток. Я явился по чисто коммерческому делу — узнать, не могу ли получить у вас кредит. Я — бывший член коммерческого суда, известен в банке, и, если бы в портфеле у меня имелись векселя, я мог бы, как вы сами понимаете, обратиться непосредственно в банк, в правлении которого вы состоите. Я имел честь заседать в коммерческом суде вместе с бароном Тибоном, председателем учетного комитета, и он бы не отказал мне, конечно. Но мне никогда еще не приходилось прибегать к кредиту и подписывать векселя. Подпись свою я сохранил, так сказать, во всей неприкосновенности, а вам известно, как трудно в таких случаях учесть вексель.

Келлер покачал головой, и Бирото счел это знаком нетерпения.

— Сударь, — продолжал он, — вот в чем суть дела. Я вложил капитал в операцию с земельными участками, не связанную с моей торговлей...

Франсуа Келлер, который все еще читал и подписывал бумаги и, казалось, не слушал Цезаря, повернулся к нему и одобрительно кивнул головой. Это придало парфюмеру храбрости. Бирото решил, что дело идет на лад, и облегченно вздохнул.

— Продолжайте, я слушаю вас, — добродушно сказал Келлер.

— Я покупаю половину земельных участков, расположенных в районе церкви Мадлен.

— Да, я уже слышал у Нусингена об этом грандиозном деле, предпринятом банкирским домом Клапарона.

— Так вот, кредит в сто тысяч франков, гарантированный моей долей в этом деле, или моими торговыми предприятиями, — продолжал Бирото, — дал бы мне возможность спокойно дождаться момента, когда я получу прибыль от одной чисто парфюмерной операции. Если понадобится, я могу предложить в обеспечение векселя одной вновь открывшейся фирмы — «Торгового дома Попино», основанного недавно, но...

«Торговый дом Попино», видимо, очень мало заинтересовал Келлера, и Бирото понял, что пошел по ложному пути; он остановился, потом, напуганный молчанием Келлера, продолжал:

— Что же касается процентов, мы...

— Да, да, — сказал банкир, — возможно, что это дело и устроится. Не сомневайтесь в моем желании пойти вам навстречу. Но я ужасно занят, на моих плечах — финансы Европы, палата не оставляет мне свободной минуты, вас не удивит поэтому, что большинство дел я передаю на рассмотрение в свою контору. Спуститесь вниз к моему брату Адольфу, разъясните ему, какие гарантии вы можете предложить; если он одобрит операцию, зайдите ко мне завтра или послезавтра ранним утром, когда я внимательно изучаю дела. Мы будем счастливы и горды заслужить ваше доверие; вы один из тех убежденных роялистов, уважением которых гордятся даже их политические противники...

— Сударь, — воскликнул парфюмер, воспламененный этой ораторской фразой, — я в такой же мере достоин чести, которую вы мне оказываете, как и ордена — знака монаршей милости... Я заслужил его, заседая в коммерческом суде и сражаясь...

— Да, знаю, знаю, — перебил банкир, — ваша репутация говорит за вас, господин Бирото. Вы можете предложить только приемлемое дело, — рассчитывайте на наше содействие.

Приоткрыв незамеченную Бирото дверь, в кабинет заглянула женщина — г-жа Келлер, одна из дочерей графа де Гондревиля, пэра Франции.

— Друг мой, я хотела бы повидать тебя перед тем, как ты поедешь в палату, — сказала она.

— Уже два часа? — воскликнул банкир. — Бой начался. Простите, сударь, нам нужно свалить министерство... Поговорите с братом.

Он довел парфюмера до дверей приемной и приказал одному из слуг:

— Проводите к господину Адольфу.

Положившись на «авось», окрыленный самыми сладостными надеждами, Бирото устремился по лабиринту лестниц вслед за слугой в ливрее, который повел его к менее роскошному, но более деловому кабинету; думая о лестных словах знаменитого человека, казавшихся ему хорошим предзнаменованием, парфюмер удовлетворенно поглаживал подбородок. Цезарь сожалел лишь о том, что враг Бурбонов оказался таким обходительным, наделенным столькими талантами человеком и к тому же великим оратором.

Полный этих иллюзий, он вошел в почти пустой, холодный кабинет, вся обстановка которого состояла из двух секретеров с задвижными крышками и нескольких жалких кресел; убранство его дополняли пыльные занавеси и дрянной ковер. Кабинет этот по отношению к первому был тем же, чем кухня бывает по отношению к столовой, а фабрика — к лавке. Здесь резали и потрошили торговые и банковские предприятия, изучали коммерческие планы и заранее сдирали долю барышей со всех промышленных начинаний, признанных хоть сколько-нибудь выгодными. Здесь подготовлялись те дерзкие комбинации, которыми Келлеры славились в коммерческом мире и с помощью которых они в несколько дней создавали монополии и немедленно их использовали. Здесь изучались пробелы законодательства и бесстыдно обуславливался договорами барыш, именуемый на биржевом языке «жирным куском», — огромные комиссионные, взимаемые за малейшие услуги: за поддержку предприятия своим именем, за предоставленный кредит. Здесь вынашивались мошенничества, искусно прикрытые цветами законности: не взяв на себя никаких обязательств, субсидировали какое-либо сомнительное предприятие, а затем, дождавшись его процветания, требовали в критический момент свои капиталы обратно и, задушив дело, прибирали его к рукам, — жестокий маневр, с помощью которого удалось опутать стольких акционеров.

Братья распределили между собой роли. Наверху Франсуа, блестящий человек, политик, с королевской щедростью расточал любезности и посулы, стараясь сказать каждому что-нибудь приятное. С ним все казалось просто: он был так великодушен на словах, опьянял новичков и неоперившихся еще спекулянтов дурманом своего вкрадчивого красноречия и благосклонности, развивая перед ними их же собственные идеи. Внизу — Адольф, извинившись за поглощенного политикой брата, ловко сгребал ставки с игорного стола; он взял на себя роль человека несговорчивого и требовательного. Чтобы вступить в сделку с этой коварной фирмой, нужно было, таким образом, дважды заручиться ее согласием. Часто милостивое «да», сказанное в роскошном кабинете Франсуа, обращалось в кабинете Адольфа в сухое «нет». Такая система проволочек давала возможность поразмыслить и позволяла нередко поводить за нос неискушенных коммерсантов. Когда Цезарь вошел, брат банкира беседовал с пресловутым Пальма, советчиком и доверенным лицом банкирского дома Келлеров; при появлении парфюмера он вышел из кабинета. Бирото объяснил причину своего прихода, и Адольф, который был еще хитрее брата, — настоящая рысь, с пронзительными глазами, тонкими губами, желчным цветом лица, — наклонил голову и поверх очков окинул Бирото характерным взглядом банкира, сочетанием взгляда коршуна и стряпчего: сумрачный и яркий, он ясен и непроницаем, полон алчности и в то же время равнодушен.

— Пришлите мне документы по делу о покупке участков в районе церкви Мадлен, — сказал Адольф Келлер, — они могут послужить гарантией для открытия вам кредита, но прежде чем открыть его и договариваться с вами о процентах, я должен ознакомиться с ними. Если это дело стоящее, мы можем, чтобы не обременять вас, взамен учетного процента удовольствоваться частью прибыли.

«Ясно, — думал Бирото по дороге домой, — вижу, к чему дело клонится. Мне, как загнанному бобру, придется, видимо, расстаться с клочком своей шкуры. Что ж, лучше лишиться его, нежели погибнуть».

В этот день Бирото возвратился, радостно улыбаясь, и веселость его на сей раз была искренней.

— Я спасен, — сказал он Цезарине, — я получаю у Келлеров кредит.

Лишь 29 декабря Бирото удалось наконец попасть опять в кабинет Адольфа Келлера. Когда парфюмер пришел к нему в первый раз, Адольф уехал осматривать какое-то имение в шести лье от Парижа, которое хотел приобрести великий оратор. В другой раз Келлеры все утро были заняты: дело касалось размещения займа, внесенного на рассмотрение парламента, и они просили господина Бирото зайти в следующую пятницу. Отсрочки убивали парфюмера. Но наступила наконец пятница. Бирото очутился в кабинете; он сидел возле камина против света, падавшего из окна, — по другую сторону камина восседал Адольф Келлер.

— Все это прекрасно, сударь, — сказал Цезарю банкир, указывая на документы. — Но сколько вы уже внесли за участки?

— Сто сорок тысяч франков.

— Деньгами?

— Векселями.

— Они погашены?

— Срок только еще истекает.

— Что же послужит для нас гарантией, если вы заплатили за участки выше их нынешней стоимости? Гарантия это состояла бы лишь в доверии, которое вы внушаете, и в уважении, которым вы пользуетесь. Но в делах руководствоваться чувствами нельзя. Если бы вы уплатили двести тысяч франков, то, предположив даже, что сто тысяч вы переплатили, чтобы получить эти земельные участки, мы имели бы в качестве гарантии за выданные вам под залог сто тысяч вторую сотню тысяч франков. А так, уплатив за вас что следует, мы в результате окажемся собственниками вашей доли; надо, однако, еще выяснить, выгодное ли это дело. Придется ждать пять лет, чтобы капитал удвоился, не лучше ли нам вложить его в банковские операции? Мало ли что может случиться! Вы хотите как-нибудь обернуться, чтобы заплатить по векселям, срок которых истекает, — опасный маневр: вы отступаете, чтобы лучше взлететь; смотрите, как бы в трубу не вылететь. Нет, дело нам не подходит.

Слова эти так потрясли бедного Бирото, точно палач заклеймил его плечо раскаленным железом; парфюмер совершенно потерял голову.

— Послушайте, — обратился к нему Адольф, — брат принимает в вас живейшее участие, он говорил мне о вас. Попробуем разобраться в ваших делах, — продолжал банкир, бросив на парфюмера взгляд куртизанки, которой срочно нужно уплатить за квартиру.

Бирото уподобился старику Молине, над которым сам так высокомерно насмехался. Банкиру доставляло удовольствие выпытывать у бедняги всю подноготную, он допрашивал его, как следователь Попино допрашивал преступников, — и одураченный Цезарь рассказал обо всех своих делах: тут фигурировали и «Двойной крем султанши», и «Жидкий кармин», и дело Рогена, и закладная, по которой не было получено ни гроша. Видя, как сосредоточенно улыбается Келлер, как он кивает головой, Бирото думал: «Он меня слушает, я заинтересовал его, я получу кредит». Адольф Келлер потешался над Бирото так же, как парфюмер потешался над Молине. Поддавшись болтливости, свойственной людям, одурманенным горем, Цезарь обнаружил подлинного Бирото: он показал свою истинную цену, предложив в виде гарантии «Кефалическое масло» и «Торговый дом Попино» — свою последнюю ставку. Простак, обольщенный ложными надеждами, позволил основательно прощупать себя, и Адольф Келлер обнаружил в парфюмере тупицу-роялиста, стоящего на пороге разорения. Келлер был в восторге от неминуемого банкротства помощника мэра их округа, сторонника правительства, человека, только что награжденного орденом; в конце концов он решительно заявил Бирото, что не может ни открыть ему кредит, ни дать о нем благоприятный отзыв великому оратору, своему брату Франсуа. А если бы даже Франсуа, уступая нелепому порыву великодушия, вздумал оказывать поддержку людям враждебных ему убеждений, своим политическим противникам, — он, Адольф, всячески воспротивится тому, чтобы брат разыгрывал из себя такого простофилю; он не позволит ему протянуть руку помощи давнему врагу Наполеона, раненному на ступенях церкви св. Роха. Доведенный до отчаяния Бирото хотел было что-то сказать об алчности представителей банковских сфер, об их черствости и притворном человеколюбии; но он был так подавлен, что лишь с трудом пробормотал несколько слов о Французском банке, откуда Келлеры черпали свои средства.

— Французский банк ни за что не произведет учета векселя, от которого отказывается обыкновенный банкирский дом, — возразил Адольф Келлер.

— Мне всегда казалось, — сказал Бирото, — что банк не отвечает своему назначению: представляя отчет о прибылях, он ставит себе в заслугу, что потерял на парижской торговле всего лишь сто или двести тысяч франков, а ведь он — опекун этой торговли.

Адольф улыбнулся и встал с видом человека, которому разговор наскучил.

— Если бы банк вздумал поддерживать всех прогорающих парижских купцов — то есть коммерсантов из чрезвычайно ненадежного и жульнического торгового мира, он и сам бы через год потерпел крах. Ему и так уж трудно бороться против наплыва дутых ценностей и чрезмерного выпуска акций; где уж тут разбираться в делах всякого, кто ищет помощи.

«Как раздобыть десять тысяч франков, которые нужны мне завтра, в субботу, тридцатого декабря?» — думал Бирото, проходя через двор.

Если тридцать первое — день неприсутственный, принято платить тридцатого. Выйдя из ворот, Бирото сквозь слезы, застилавшие его глаза, с трудом разглядел, что у дома остановилась взмыленная прекрасная английская лошадь; она была впряжена в один из самых изящных кабриолетов, разъезжавших в ту пору по мостовым Парижа. Бирото захотелось попасть под колеса этого кабриолета: он погиб бы от несчастного случая, и этим объяснили бы расстройство в его делах. Цезарь не узнал дю Тийе: стройный, в элегантном утреннем костюме, Фердинанд бросил вожжи слуге и накинул попону на вспотевшую спину своей чистокровной лошади.

— Какими судьбами? — спросил дю Тийе своего бывшего хозяина.

Фердинанд прекрасно знал, что Келлеры навели у Клапарона справки и тот, сославшись на дю Тийе, основательно подорвал установившуюся репутацию парфюмера. Как ни быстро сдержал свои слезы несчастный купец, они были достаточно красноречивы.

— Неужели вы обращались за какой-нибудь услугой к этим разбойникам, к этим душителям торговли? — спросил дю Тийе. — Ведь они пускаются на самые гнусные проделки: скупают, например, индиго, а затем вздувают на него цену или, сбив цену на рис и скупив его по дешевке, диктуют цену рынку; у этих бездушных людей — ни совести, ни чести. Вы, стало быть, не знаете, на что они способны? Если у вас есть какое-нибудь выгодное дельце, Келлеры откроют вам кредит и, дождавшись, когда вы вложите в это предприятие все свои средства, они этот кредит закроют и заставят вас уступить им дело за бесценок. В Гавре, Бордо, Марселе многое могли бы вам порассказать на их счет. Политическая деятельность помогает им покрывать немало мерзостей, поверьте! Потому-то я и эксплуатирую их без зазрения совести. Давайте прогуляемся, дорогой Бирото! Жозеф! Лошадь вся в мыле, надо ее поводить; тысяча экю как-никак деньги! — И дю Тийе направился в сторону бульваров.

— Вот что, дорогой хозяин, — ведь вы же были когда-то моим хозяином, — вам нужны деньги? А эти негодяи требовали от вас гарантий? Я дам вам денег под простой вексель, я ведь вас хорошо знаю. Мое состояние нажито честным путем, ценой невероятных усилий. За ним, — за своим состоянием, — я ездил в Германию. Теперь я могу уже рассказать вам: я скупил долговые обязательства короля с шестидесятипроцентной скидкой, и ваше поручительство сослужило мне тогда немалую службу. А я, — я умею быть благодарным! Если вам нужны десять тысяч франков — они ваши.

— Как, дю Тийе, это серьезно? Вы не шутите? — воскликнул Цезарь. — Да, я действительно несколько стеснен, но это ненадолго...

— Знаю, дело Рогена, — ответил дю Тийе. — Э, я и сам попался на десять тысяч франков, мошенник занял их у меня, чтобы сбежать. Но госпожа Роген вернет их мне из причитающейся ей по закону части. Я посоветовал бедной женщине не глупить и не жертвовать своим состоянием для уплаты долгов, сделанных ради продажной девки; это имело бы еще смысл, если бы она могла расплатиться полностью, но как отдать предпочтение одним кредиторам перед другими? Вы не какой-нибудь Роген, я знаю вас, — сказал дю Тийе, — вы скорее пустите себе пулю в лоб, чем заставите меня потерять хотя бы су. Вот мы и дошли до улицы Шоссе д'Антен, зайдем ко мне.

Выскочка доставил себе удовольствие: он не прошел с Бирото в контору, а повел бывшего своего хозяина через всю квартиру; он проходил по анфиладе высоких покоев медленно, чтобы Цезарь успел разглядеть красивую, роскошно обставленную столовую, увешанную картинами, купленными в Германии, и две гостиные — их великолепное и изящное убранство парфюмер мог сравнить лишь с тем, что ему довелось видеть у герцога де Ленонкура. Буржуа был ослеплен обилием позолоты, произведениями искусства, баснословно дорогими безделушками, драгоценными вазами, тысячью художественных мелочей, перед которыми совершенно померкла роскошь квартиры Бирото; и, зная, во что обошлось ему собственное безрассудство, Цезарь Бирото спрашивал себя: «Где Фердинанд нажил миллионы?»

Он вошел в спальню; сравнительно с ней спальня его жены показалась ему такой же убогой, как комнатка какой-нибудь хористки, ютящейся на четвертом этаже, в сравнении с особняком примадонны. Потолок был затянут фиолетовым атласом, оттененным заложенной в складку белой атласной полосой; белый горностаевый коврик у кровати выделялся красивым пятном на лиловатом фоне левантского ковра. Мебель и все предметы убранства поражали оригинальностью формы и причудливой изысканностью. Парфюмер остановился перед восхитительными часами с Амуром и Психеей; они были сделаны по заказу известного банкира, и дю Тийе удалось раздобыть единственную имевшуюся копию. Бывший приказчик привел наконец своего бывшего хозяина в кабинет — щегольскую, изящную, кокетливую комнату, наводившую скорее на мысль о делах любовных, чем финансовых. Г-жа Роген, вероятно в благодарность за заботы о ее состоянии, преподнесла дю Тийе золотой чеканный нож для разрезания бумаги, малахитовые пресс-папье и множество роскошных, умопомрачительно дорогих безделушек. Великолепный ковер, образец бельгийского искусства, радовал глаз прекрасными узорами, в его густом и мягком ворсе утопала нога. Дю Тийе усадил у камина несчастного оробевшего и ослепленного парфюмера.

— Не желаете ли позавтракать со мной? — спросил банкир.

Он позвонил. Вошел лакей, одетый лучше Бирото.

— Скажите господину Легра, чтобы он поднялся ко мне, затем велите Жозефу вернуться домой, — вы найдете его у особняка Келлеров; зайдите к Адольфу Келлеру и передайте, что я не заеду к нему, а жду его у себя до открытия биржи. Скажите, чтоб подавали завтрак, да поживее!

Слова эти ошеломили парфюмера.

«Как! он посылает за этим страшным Адольфом Келлером, свистнул ему, как собачонке! Он, дю Тийе!»

Грум ростом с ноготок расставил складной столик, такой хрупкий, что Бирото его раньше и не приметил, и подал паштет из гусиной печенки, бутылку бордо и всякие изысканные блюда, появлявшиеся в доме парфюмера лишь по большим праздникам. Дю Тийе наслаждался. Ненависть к единственному человеку, имевшему право презирать его, пышно расцвела в нем; Бирото возбуждал в своем бывшем приказчике то остро волнующее чувство, какое он испытал бы, глядя на ягненка, бьющегося в когтях у тигра. Порыв великодушия коснулся души Фердинанда: он спрашивал себя, не достаточно ли он уже отомщен, и колебался между проснувшимся состраданием и угасавшей ненавистью.

«Мне ничего не стоит уничтожить этого человека как коммерсанта, — думал дю Тийе, — в моих руках жизнь и смерть его самого, его жены, когда-то меня отвергшей, его дочери, добиться руки которой казалось мне некогда верхом удачи. Деньги его достались мне; не удовольствоваться ли тем, что этот жалкий глупец будет держаться на поверхности с помощью каната, конец которого будет у меня?»

У людей честных не хватает такта; прямолинейные и бесхитростные в своей добродетели, они лишены чувства меры. Бирото довершил свою гибель; сам того не подозревая, он разъярил тигра одним своим словом, одной похвалой, одной нравоучительной фразой; своим честным простодушием он пронзил сердце дю Тийе, и банкир вновь стал безжалостным. Когда кассир вошел, дю Тийе указал ему на Бирото.

— Господин Легра, принесите мне десять тысяч франков и заготовьте вексель на эту сумму моему приказу, сроком на три месяца, от имени господина Бирото — вы его знаете.

Дю Тийе положил парфюмеру паштета и налил ему стакан бордо, а тот, почувствовав себя спасенным, судорожно смеялся, теребил цепочку часов и лишь тогда отправлял кусочек в рот, когда бывший приказчик говорил ему: «Почему вы ничего не кушаете?»

Своим поведением Бирото выдавал, как глубока была бездна, в которую ввергла его рука дю Тийе, откуда она его сейчас извлекла и куда могла снова низвергнуть. Когда вернулся кассир и Цезарь, подписав вексель, почувствовал десять банковых билетов в кармане, — он уже не мог больше совладать с собой. Еще только минуту назад его квартал, банк, все должны были узнать о его несостоятельности, ему пришлось бы признаться в своем разорении жене; а теперь все уладилось! Радость избавления была столь же сильной, как мучительный страх перед угрожавшей ему гибелью, — и на глазах бедняги невольно выступили слезы.

— Что с вами, дорогой патрон? — спросил дю Тийе. — Разве вы завтра не сделали бы для меня того же, что я делаю для вас сегодня? Ведь это вполне естественно.

— Дю Тийе! — торжественно и с пафосом провозгласил простак, поднимаясь и беря за руку своего бывшего приказчика. — Полностью возвращаю тебе свое уважение!

— А почему оно было утрачено? — спросил, покраснев, дю Тийе, глубоко уязвленный, несмотря на свое благоденствие.

— Не то чтобы утрачено... — запинаясь, сказал парфюмер, ужаснувшись собственной глупости. — Но мне рассказывали о вашей связи с госпожой Роген. Черт побери! сойтись с чужой женой...

«Околесицу несешь, старый колпак!» — подумал дю Тийе, вспомнив жаргон своей старой профессии. И он мгновенно вернулся к своему плану — уничтожить, растоптать эту добродетель, уронить, смешать с грязью во мнении парижского торгового мира честного и почтенного человека, поймавшего его когда-то на месте преступления. В основе всякого чувства ненависти мужчины к мужчине или женщины к женщине, будь то в политике или в частной жизни, всегда лежит какое-нибудь неожиданное уличающее открытие. Ненавидят друг друга не за причиненный ущерб, не за нанесенную рану, даже не за пощечину — все это поправимо. Но попасться с поличным, совершая подлость!.. Дуэль между подлецом и тем, кто его уличил, может кончиться лишь смертью одного из них.

— О, госпожа Роген? — насмешливо протянул дю Тийе. — Да ведь это только лишний листочек в лавровом венке молодого человека! Понимаю, дорогой патрон: вам, верно, говорили, что она ссужала меня деньгами? Ну, так вот, как раз наоборот, — это я помог ей восстановить состояние, расстроенное в связи с делами ее мужа. Источник моего богатства, как я уже вам докладывал, совершенно чист. У меня не было ни гроша, вам это хорошо известно. Молодые люди иной раз могут оказаться в очень стесненных обстоятельствах, дойти даже до крайней нищеты; и если они, подобно Республике, прибегают иногда к принудительному займу, — что ж, этот долг они впоследствии уплачивают и становятся тогда честнее Франции.

— Это верно, — поспешил согласиться Бирото. — Дитя мое... господь... Ведь это Вольтер, кажется, сказал: «Раскаянье возвел в людскую добродетель».

— Если только, — продолжал дю Тийе, еще глубже задетый этой цитатой, — они не расхищают подло и низко имущества ближнего, как это может случиться, если вы в ближайшие три месяца обанкротитесь и мои десять тысяч франков пойдут прахом...

— Мне обанкротиться?.. — воскликнул Бирото, выпивший три стакана вина, а еще более захмелевший от радости. — Нет, нет... Всем известны мои взгляды на банкротство! Банкротство — смерть для купца! Я бы умер!

— За ваше здоровье! — сказал дю Тийе.

— За твое будущее потомство, — ответил парфюмер. — Почему вы не покупаете у меня в лавке, дю Тийе?

— Сказать по правде, я, честное слово, побаиваюсь госпожи Бирото. Она всегда мне нравилась! И не будь вы моим хозяином, я, право...

— Не ты первый находишь ее красивой, она многим внушала страсть, но она меня любит! Вот что, дю Тийе, друг мой, — продолжал Бирото, — доведите уж дело до конца.

— Что вы хотите этим сказать?

Бирото посвятил дю Тийе в спекуляцию с земельными участками, и тот, прикинувшись изумленным, одобрил эту операцию и похвалил парфюмера за проницательность и дальновидность.

— Я очень рад твоему одобрению; ведь вы, дю Тийе, слывете одной из умнейших голов в банковском мире! Дитя мое, вы могли бы помочь мне получить кредит во Французском банке; это дало бы мне возможность дождаться прибыли от «Кефалического масла».

— Я могу направить вас в банкирский дом Нусингена, — ответил дю Тийе, решивший заставить свою жертву проделать все пируэты пляски, которые приходится обычно проделывать банкротам.

Фердинанд сел к столу и написал следующее письмо:

*«Господину барону де Нусингену.*

Париж.

Дорогой барон!

Податель сего письма, господин Цезарь Бирото — помощник мэра второго округа и один из наиболее известных представителей парфюмерной промышленности Парижа; он желает завязать с вами деловые сношения. Отнеситесь же с полным доверием ко всему, о чем он вас будет просить; оказав ему услугу, вы обяжете тем самым

Вашего друга Ф. дю Тиие ».

В своей подписи дю Тийе написал вместо *«и»* краткого простое *«и»*. Для всех, с кем он вел дела, эта умышленная небрежность служила условным знаком. Самые горячие рекомендации, самые настойчивые, неотступные просьбы в его письме ничего в таком случае не стоили. Подобное письмо, в котором дю Тийе коленопреклоненно о чем-либо просил, в котором умоляли, казалось, даже восклицательные знаки, написано было, следовательно, по каким-то веским соображениям, он не мог отказать в рекомендации, но ей не полагалось придавать ни малейшего значения. Увидев вместо *«и»* краткого простое *«и»*, приятель дю Тийе отделывался от просителя пустыми обещаниями. Немало светских людей с большим весом, как дети, позволяют дурачить себя таким образом всяким дельцам, банкирам, адвокатам, которые пользуются двумя подписями: одной — настоящей, другой — не имеющей силы. На эту удочку попадаются самые проницательные люди. Чтобы разгадать такую уловку, надо испытать на себе различное действие рекомендации действительной и мнимой.

— Вы меня спасаете, дю Тийе, — сказал Цезарь, прочитав письмо.

— Господи! — воскликнул дю Тийе. — Отправляйтесь же за деньгами; ознакомившись с моим письмом, Нусинген отвалит их вам, сколько пожелаете. Сам я лишен, к сожалению, на несколько дней свободной наличности; иначе я не отправил бы вас к этому банковскому магнату, — ведь Келлеры по сравнению с бароном Нусингеном просто пигмеи. Нусинген — это новый Лоу[[21]](#footnote-21). Мое письмо поможет вам расплатиться пятнадцатого января, а там видно будет. Мы с Нусингеном в самых дружеских отношениях, и он ни за какие миллионы не захочет отказать мне в услуге.

«Это все равно что поручительство на векселе, — думал преисполненный благодарности Бирото, уходя от дю Тийе. — Да, доброе дело даром не пропадает!» — И он пустился философствовать. Все же радость его омрачалась одной неотвязной мыслью. Несколько дней ему удавалось не давать жене заглядывать в торговые книги, он поручил ведение кассы Селестену и сам помогал ему, — мог же он пожелать, чтоб жена и дочь полностью насладились прекрасной квартирой, которую он для них устроил и обставил! Но, вкусив первые радости этого скромного счастья, г-жа Бирото скорее согласилась бы умереть, чем оставить лавку без хозяйского глаза и *не наводить самой*, как она говорила, *порядок в деле*. Бирото чувствовал, что зашел в тупик: он истощил уже все уловки, чтобы скрыть от жены денежные затруднения. Констанс очень рассердилась, узнав об отправке счетов, она выбранила приказчиков и обвинила Селестена в желании разорить фирму, решив, что мысль эта всецело принадлежит ему. Селестен, по распоряжению Бирото, ни слова ей не возразил. По мнению приказчиков, г-жа Бирото держала мужа под башмаком: в вопросе о том, кто действительно глава семьи, можно еще обмануть посторонних, но уж никак не домочадцев. Бирото приходилось признаться жене в своих денежных затруднениях — расчеты с дю Тийе нужно было провести по книгам. Вернувшись домой, Цезарь с трепетом душевным увидел Констанс за конторкой; она проверяла сроки векселей и, очевидно, подсчитывала кассу.

— Чем ты собираешься завтра платить? — шепотом спросила она, когда муж сел возле нее.

— Деньгами, — ответил Цезарь, вытаскивая банковые билеты из кармана и передавая их Селестену.

— Откуда у тебя эти деньги?

— Вечером расскажу. Селестен, запишите: конец марта, вексель на десять тысяч франков приказу дю Тийе.

— Дю Тийе! — с испугом повторила Констанс.

— Я пойду к Попино, — сказал Цезарь. — Нехорошо, что я до сих пор у него еще не был. Как его масло? Продается?

— Триста флаконов, которые он дал нам, уже проданы.

— Не уходи, Бирото, мне нужно поговорить с тобой, — сказала Констанс и, схватив Цезаря за руку, повлекла к себе в комнату с поспешностью, показавшейся бы при других обстоятельствах забавной.

— Дю Тийе! — воскликнула она, оставшись наедине с Цезарем и убедившись, что никто, кроме Цезарины, не может их услышать. — Дю Тийе, который стащил у нас тысячу экю... Ты имеешь дело с этим чудовищем дю Тийе... пытавшимся меня обольстить... — прошептала она ему на ухо.

— Юношеские проказы, — заявил Бирото, ставший вдруг вольнодумцем.

— Послушай, Бирото, ты чем-то встревожен, ты не бываешь больше на фабрике. Что-то случилось, я чувствую! Ты должен мне все рассказать, я хочу знать!

— Ну так вот, — сказал Бирото, — мы чуть было не разорились, так обстояло дело еще нынче утром, но теперь все обошлось.

И он рассказал ей о том, что пережил в эти ужасные две недели.

— Так вот причина твоей болезни! — воскликнула Констанс.

— Да, мама, — сказала Цезарина. — Отец проявил редкое мужество. Единственное, чего я хочу, — быть любимой так, как он любит тебя. Он только и думал о том, как бы не причинить тебе горя.

— Мой сон сбылся, — с ужасом сказала бедная женщина, смертельно побледнев и бессильно опускаясь на диванчик, стоявший возле камина. — Я все это предвидела. Ведь говорила же я тебе в ту роковую ночь в нашей прежней спальне, которую ты разрушил, что мы все глаза себе выплачем. Бедняжка Цезарина! Я...

— Ну вот, начинается! — воскликнул Бирото. — Ты отнимаешь у меня мужество, а оно мне так нужно!

— Прости, друг мой, — сказала Констанс, взяв Цезаря за руку и пожимая ее с нежностью, которая потрясла беднягу до глубины души. — Я виновата. Пришла беда, и нужно быть стойкой; я все вынесу безропотно. Никогда ты не услышишь от меня ни единой жалобы. — Она бросилась в объятия Цезаря и воскликнула, обливаясь слезами: — Не падай духом, друг мой! Если понадобится, у меня хватит мужества на нас обоих!

— Мое «Масло», жена, мое «Масло» спасет нас!

— Да поможет нам господь! — сказала Констанс.

— Неужели Ансельм не выручит тебя, папа? — спросила Цезарина.

— Я пойду к нему, — воскликнул Цезарь, потрясенный надрывающим сердце тоном жены, которую он, оказывается, еще недостаточно знал даже после девятнадцати лет совместной жизни. — Успокойся, Констанс. На вот, прочти письмо дю Тийе к господину де Нусингену. Кредит нам обеспечен. К тому времени я выиграю процесс. И у нас ведь есть еще дядя Пильеро, — добавил он, прибегая к спасительной лжи, — не нужно только падать духом.

— Если бы дело было только в этом! — ответила, улыбаясь, Констанс.

Бирото испытывал огромное облегчение, точно выпущенный на свободу узник; но он чувствовал какое-то изнеможение, обычно следующее за напряженной душевной борьбой, когда тратится больше нервной энергии, больше усилий воли, нежели их полагается ежедневно расходовать; тогда приходится, так сказать, заимствовать из основного капитала жизненных сил. Цезарь как-то сразу постарел.

«Торговый дом А. Попино» на улице Сенк-Диаман стал за два месяца неузнаваем. Лавка была заново окрашена. Подновленные шкафы, полные флаконов, радовали глаз каждого опытного торговца, как явный признак процветания. Пол в лавке завален был кипами оберточной бумаги, склад заставлен бочонками с различными маслами, которые стараниями преданного Годиссара сданы были Попино на комиссию. Бухгалтерия и касса помещались наверху, над лавкой. Старуха кухарка готовила еду для Попино и трех его приказчиков. Сам Попино, помещавшийся в маленькой конторе за застекленной перегородкой в углу лавки, поминутно выбегал оттуда в переднике из саржи и зеленых нарукавниках, с пером за ухом, — если только не утопал в ворохе бумаг, как это было в тот момент, когда явился Бирото, заставший его за разборкой почты — целой груды заказов и переводных векселей. Когда бывший хозяин окликнул его: «Ну, как, мой мальчик?» — Попино поднял голову, замкнул на ключ свою каморку и радостно бросился к нему навстречу; кончик носа у Ансельма сильно покраснел: печь в лавке не топилась, а дверь на улицу оставалась открытой.

— Я уж боялся, что вы никогда не придете, — почтительно сказал Попино.

Сбежались приказчики — поглазеть на компаньона их хозяина, столпа парфюмерии, помощника мэра, награжденного орденом. Это безмолвное поклонение польстило Бирото. Цезарь, еще недавно чувствовавший себя у Келлеров таким ничтожным, ощутил теперь потребность подражать им: погладил подбородок, горделиво приподнялся на носках, опустился на пятки и начал изрекать избитые истины.

— Ну что, дружок, рано встаете? — спросил он Попино.

— Да зачастую и вовсе не ложимся, — ответил Ансельм. — За успех нужно цепко держаться.

— А что я тебе говорил? Мое «Масло» — это клад.

— Да, сударь. Но ведь важно еще пустить его в ход. Ваш бриллиант я вставил в достойную оправу.

— Ну, и как же обстоят дела? — осведомился парфюмер. — Есть уже прибыль?

— Как, через месяц? — воскликнул Попино. — Что вы! Милейший Годиссар уехал всего лишь каких-нибудь три недели назад и даже нанял, ничего мне не сказавши, почтовую карету. О, он так нам предан! Мы можем быть благодарны дяде! А газеты, — шепнул он на ухо Бирото, — влетят нам в двенадцать тысяч франков.

— Газеты! — удивился помощник мэра.

— Да разве вы их не читали?

— Нет.

— Так вы ничего не знаете! — сказал Попино. — Двадцать тысяч франков ушло на одни только афиши, рамки и печатные рекламы. Заготовлено сто тысяч флаконов! Ах, сейчас нужно все поставить на карту! Производство мы ведем на широкую ногу. Если бы вы заглянули в предместье, на фабрику — я нередко провожу там ночи напролет, — вы увидели бы механические щипцы для орехов — мое изобретение, и, могу сказать, неплохое. За последние пять дней я на одних только парфюмерных маслах заработал три тысячи франков комиссионных.

— Ну и голова! — сказал Бирото, запустив руку в волосы Попино и взъерошив их, словно Ансельм был еще мальчуганом. — Я это всегда предсказывал.

Вошли покупатели.

— Итак, до воскресенья; мы обедаем у твоей тетушки Рагон, — сказал Бирото и предоставил Попино заниматься делами, поняв, что свежая туша, привлекшая его сюда своим запахом, еще не разделана.

«Вот чудеса! Приказчик за сутки становится купцом, — думал Бирото, который был не менее поражен успехом и самоуверенностью Попино, чем роскошью в доме дю Тийе. — Когда я положил руку на голову Ансельму, он, видите ли, скорчил такую недовольную гримасу, будто он и впрямь уже Франсуа Келлер».

Цезарь не подумал о том, что на них смотрели приказчики, а главе фирмы подобает охранять свой авторитет. Здесь, как и у дю Тийе, добряк в простоте душевной совершил глупость: он не сдержал своих, хотя и искренних, но по-мещански выраженных чувств. Всякого другого, кроме Ансельма, Цезарь этим оскорбил бы.

Воскресному обеду у Рагонов суждено было стать последней радостью девятнадцатилетнего счастливого супружества Бирото, и радостью, ничем не омраченной. Рагоны жили на улице Пти-Бурбон-Сен-Сюльпис, на третьем этаже почтенного старинного дома, в старой квартире с простенками, украшенными танцующими пастушками в фижмах и пасущимися барашками, в духе того самого XVIII века, степенное и важное купечество которого, с его забавными нравами, преклонением перед знатью, преданностью королю и церкви, достойно представляли бывшие владельцы «Королевы роз». Мебель, часы, посуда, белье — все здесь было отмечено печатью старины и потому именно казалось необычным. В гостиной, обитой старинным узорчатым штофом с драпировками из шерстяной материи, с широкими и удобными креслами и дамскими письменными столиками, висел портрет кисти Латура, изображавший Попино, старшину города Сансера, отца г-жи Рагон; удачно воспроизведенный художником, он надменно улыбался, как выскочка в зените своей славы. Дома неизменным дополнением г-жи Рагон была маленькая английская собачка из породы кинг-чарльз, которая выглядела необычайно эффектно на небольшой жесткой софе в стиле рококо, никогда, конечно, не игравшей роли софы, описанной Кребильоном. Среди прочих достоинств Рагоны славились запасом старых вин, правда, почти совсем уже исчерпанным, и ликерами госпожи Анфу, которые некогда привозили г-же Рагон с Антильских островов ее упорные, но, как утверждали, безнадежные обожатели. Не удивительно, что обеды Рагонов так ценились друзьями! Кухарка, старуха Жаннетта, была беззаветно предана своим хозяевам и готова была красть ягоды, чтобы варить для них варенье. Она не относила своих денег в сберегательную кассу, а покупала на них лотерейные билеты, надеясь в один прекрасный день сорвать крупный выигрыш для стариков Рагонов. По воскресеньям, когда в доме собирались гости, она, несмотря на свои шестьдесят лет, с такой легкостью носилась из кухни, где готовила, к столу, за которым прислуживала, что смело могла бы поспорить проворством с мадмуазель Марс в роли Сюзанны из «Женитьбы Фигаро».

К обеду были приглашены: судья Попино, дядюшка Пильеро, Ансельм, трое Бирото, трое Матифа и аббат Лоро. Г-жа Матифа, недавно танцевавшая на балу у парфюмера в тюрбане, на этот раз явилась в синем бархатном платье, толстых бумажных чулках, козловых башмаках, в замшевых перчатках с зеленым бархатным кантом, в шляпе, подбитой розовой тафтой и украшенной цветами примулы. Все десять приглашенных собрались к пяти часам. Старики Рагоны умоляли гостей не опаздывать. Когда эту почтенную чету куда-либо приглашали, обед предупредительно подавали именно в этот час, ибо желудки семидесятилетних стариков не могли уже приноровиться к иному обеденному часу, установленному хорошим тоном.

Цезарина знала, что г-жа Рагон посадит ее рядом с Ансельмом: все женщины, даже ханжи и простушки, прекрасно разбираются в любовных делах. Дочь парфюмера принарядилась, чтобы окончательно вскружить голову Попино. Констанс, с болью в сердце отказавшаяся от зятя-нотариуса, который в ее представлении был чем-то вроде наследного принца, с грустью помогала дочери одеваться. Дальновидная мамаша опустила пониже целомудренную газовую косынку, чтобы слегка открыть плечи Цезарины и показать на редкость изящную линию ее шеи. Корсаж в греческом стиле, заложенный пятью складками и перекрещивавшийся слева направо, мог слегка приоткрываться, обнаруживая при этом очаровательные округлости. Мериносовое платье свинцово-серого цвета с оборками, отделанными зеленым аграмантом, обрисовывало талию, никогда еще не казавшуюся столь тонкой и гибкой. Уши Цезарины украшали золотые филигранные серьги с подвесками. Волосы, поднятые кверху по китайской моде, позволяли любоваться прелестной свежестью кожи с просвечивающими голубыми жилками, под матовой белизной которой, казалось, трепетала сама жизнь. Словом, Цезарина была соблазнительно хороша, и г-жа Матифа не могла удержаться, чтобы не признать этого, не догадываясь, что мать и дочь поняли необходимость обворожить молодого Попино.

Ни Бирото, ни жена его, ни г-жа Матифа — никто не прерывал нежной беседы, которую влюбленные вели вполголоса в амбразуре окна, не замечая холодного ветра, проникавшего сквозь щели. Впрочем, разговор старших заметно оживился, когда судья Попино упомянул о бегстве Рогена, заметив, что это уже второй случай банкротства нотариуса и что в былые времена о таких преступлениях и не слыхивали. При имени Рогена г-жа Рагон толкнула брата ногой, Пильеро заговорил громче, чтобы заглушить слова судьи, и оба они указали ему на г-жу Бирото.

— Я уже все знаю, — печально и кротко сказала друзьям Констанс.

— Сколько же он у вас похитил? — спросила г-жа Матифа у Бирото, смиренно потупившего голову. — Если верить слухам — вы разорены.

— У Рогена было моих двести тысяч франков. Что касается сорока тысяч, которые он якобы занял для меня у одного из своих клиентов, — то из-за них мы судимся.

— Дело будет слушаться на этой неделе, — сказал Попино. — Я подумал, что вы ничего не будете иметь против, если я объясню ваше положение председателю суда; он приказал рассмотреть бумаги Рогена в распорядительном заседании, чтобы выяснить, как давно были растрачены вклады заимодавца, и познакомиться с доказательствами этой растраты, представленными Дервилем, который сам выступает по делу, чтобы избавить вас от расходов.

— Выиграем ли мы тяжбу? — спросила г-жа Бирото.

— Не знаю, — ответил Попино. — Хотя дело поступило в то отделение суда, по которому я числюсь, я воздержусь от его обсуждения, если бы даже меня назначили.

— Неужели могут возникнуть сомнения в таком простом деле? — спросил Пильеро. — Разве в акте не должно быть указаний на передачу сумм и разве нотариус не должен удостоверить, что в его присутствии произведено вручение денег заимодавцем должнику? Попадись Роген в руки правосудия, его отправили бы на каторгу.

— Я считаю, — ответил Попино, — что заимодавец должен получить возмещение из залога за нотариальную контору Рогена и из денег, вырученных за ее продажу; но в суде, даже в более ясных делах, голоса судей делятся иной раз поровну — шесть против шести.

— Как, мадмуазель, господин Роген сбежал? — спросил Ансельм, услышав наконец, о чем говорят вокруг него. — Господин Бирото ни слова не сказал мне об этом, а ведь я готов отдать за него последнюю каплю крови...

Цезарина поняла, что это *за него* распространяется на всю их семью, и если простодушная девушка и могла ошибиться насчет интонации, то не понять устремленного на нее пламенного взгляда было невозможно.

— Я знаю это, я так ему и говорила; но он все скрыл даже от мамы и доверился только мне одной.

— Вы ему напомнили обо мне в тяжелую минуту? — сказал Попино. — Вы, стало быть, читаете в моем сердце, но все ли вы в нем прочли?

— Быть может.

— Я бесконечно счастлив, — сказал Попино. — Избавьте меня от сомнений, и я через год буду настолько богат, что отец ваш уже не встретит меня так плохо, когда я заговорю с ним о нашем браке. Теперь я буду спать не больше пяти часов в сутки...

— Только не захворайте, — сказала Цезарина с непередаваемым выражением, бросив на Попино взгляд, в котором можно было прочесть все, что она не высказала словами.

— Жена, — сказал, вставая из-за стола, Цезарь, — похоже, что молодые люди любят друг друга.

— Ну и что ж, тем лучше, — серьезным тоном ответила ему Констанс. — Значит, у нашей дочери будет хороший муж, умный и энергичный человек. Талант — лучше всякого состояния.

Она поспешила уйти из гостиной в комнату г-жи Рагон. В нескольких сказанных за обедом фразах Цезарь проявил такое невежество, что вызвал у Пильеро и судьи Попино улыбку; это напомнило несчастной женщине, как беспомощен ее муж в борьбе с бедой. У Констанс было тяжело на душе, она чувствовала инстинктивное недоверие к дю Тийе, ибо, даже не зная латыни, каждая мать понимает смысл выражения: «Timeo Danaos et dona ferentes»[[22]](#footnote-22). Она плакала в объятиях дочери и г-жи Рагон, но не захотела объяснять им причину своих слез.

— Нервы, — сказала она.

Конец вечера старики провели за картами, а молодежь играла в фанты — игра, которая называется «невинной», очевидно, потому, что прикрывает невинные хитрости мещанской любви. Супруги Матифа тоже приняли в ней участие.

— Цезарь, — сказала Констанс по дороге домой, — ступай третьего числа к барону Нусингену. Надо узнать заблаговременно, сможешь ли ты заплатить пятнадцатого. Ведь в случае какого-нибудь затруднения ты не раздобудешь сразу нужные средства.

— Хорошо, жена, пойду, — отвечал Цезарь и, пожав руки Констанс и Цезарине, прибавил: — Дорогие мои кошечки, невеселый новогодний подарок я вам преподнес!

В полутьме фиакра обе женщины не могли видеть лицо бедного парфюмера, но почувствовали, как на руки им закапали горячие слезы.

— Не падай духом, друг мой! — сказала Констанс.

— Все будет хорошо, папенька. Господин Ансельм Попино сказал мне, что готов отдать за тебя последнюю каплю крови.

— За меня, а главное, за мою дочку, не так ли? — подхватил Цезарь, стараясь казаться веселым.

Цезарина пожала отцу руку, давая ему понять, что Ансельм стал ее женихом.

За первые три дня нового года Бирото получили сотни две поздравительных карточек. Этот поток лицемерных знаков дружеского внимания, эти свидетельства мнимой приязни ужасны для людей, чувствующих, что их затягивает водоворот несчастья. Бирото три раза тщетно наведывался в особняк знаменитого банкира. Новый год и связанные с ним празднества вполне оправдывали отсутствие финансиста. В последний раз парфюмер проник до самого кабинета банкира, где старший служащий банка, какой-то немец, заявил ему, что г-н де Нусинген только в пять часов утра вернулся с бала у Келлеров и не сможет в половине десятого начать прием посетителей. Бирото сумел вызвать участие этого служащего и беседовал с ним около получаса. Днем сей министр банкирского дома Нусингена письменно уведомил Цезаря, что барон примет его завтра, 12 января, в полдень. Хотя каждый час ожидания приносил с собой новую каплю горечи, день промелькнул с ужасающей быстротой. Бирото приехал в фиакре и приказал кучеру остановиться неподалеку от особняка, двор которого был полон экипажей. При виде роскоши этого знаменитого банкирского дома у честного малого болезненно сжалось сердце.

«А ведь он дважды прибегал к ликвидации», — подумал Цезарь, поднимаясь по великолепной, украшенной цветами лестнице и проходя по пышно убранным покоям, которыми славилась баронесса Дельфина де Нусинген. Баронесса стремилась соперничать с богатейшими особняками Сен-Жерменского предместья, где она тогда еще не была принята. Барон и его супруга завтракали. Хотя в конторе ожидало множество посетителей, Нусинген заявил, что друзей дю Тийе он готов принять в любое время. Сердце Бирото радостно затрепетало от надежды, когда он увидел, как изменилось при этих словах наглое лицо лакея.

— *Исфините, моя торокая*, — сказал барон, приподнявшись и слегка кивнув Бирото, — *но этот каспатин топрый роялист и плиский трук тю Тийе. В топафок он помошник мэра фторофо окрука и сатает палы с фостошной пышностью. Ты пес сомнения с утофольстфием с ним поснакомишься.*

— Мне будет очень лестно поучиться у госпожи Бирото, ведь Фердинанд («Как! — подумал Бирото, — она называет его просто Фердинанд!») так восторженно отзывался о вашем бале; это тем более ценно, что обычно он ничем не восторгается. Фердинанд — критик строгий, значит, все действительно было бесподобно. Скоро ли вы собираетесь дать второй бал? — с самым любезным видом осведомилась баронесса де Нусинген.

— Сударыня, такие небогатые люди, как мы, редко развлекаются, — ответил парфюмер, не зная, насмешка это с ее стороны или простая любезность.

— *Кто рукофотил оттелкой фашей кфартиры? Кашется, каспатин Кренто?* — спросил барон.

— А, Грендо! Тот красивый молодой архитектор, что вернулся недавно из Рима? — воскликнула Дельфина де Нусинген. — Я без ума от него: он украсил мой альбом такими очаровательными рисунками!

Венецианский заговорщик, подвергавшийся средневековой пытке, вряд ли чувствовал себя хуже в «испанском сапоге», чем чувствовал себя Бирото в обычной своей одежде. В каждом слове ему чудилась насмешка.

— *Мы тоше таем непольшие палы*, — сказал барон, бросая на парфюмера инквизиторский взгляд. — *Как фитите, фсе этим понемношку санимаются.*

— Позавтракайте с нами запросто, господин Бирото, — предложила Дельфина, указывая на роскошно сервированный стол.

— Баронесса, я пришел по делу, и я...

— *Та*, — подтвердил барон, — *мы путем иметь маленький телофой раскофор. Фы расрешите?*

Утвердительно кивнув головой, Дельфина спросила мужа:

— Разве вы собираетесь покупать парфюмерные товары?

Барон пожал плечами и повернулся к доведенному до отчаяния Цезарю.

— *Тю Тийе прояфляет к фам шифейший интерес*, — сказал он.

«Наконец-то мы подходим к делу», — подумал несчастный купец.

— *С ефо письмом фы имеете полушить ф моем панке кретит, сколько посфолит мое сопстфенное состояние...*

Целительный бальзам, содержавшийся в воде, которой ангел напоил в пустыне Агарь, походил, вероятно, на живительную влагу, заструившуюся в жилах парфюмера при этих словах, сказанных на ломаном французском языке. Хитрый банкир, чтобы иметь возможность отказываться от собственных слов, якобы плохо понятых его собеседником, нарочно сохранял ужасное произношение немецких евреев, воображающих, что они говорят по-французски.

— *Мы фам откроем текуший шот. Фот как мы поступим*, — с чисто эльзасским добродушием сказал этот добрый и достойный великий финансист.

У Бирото уже не оставалось никаких сомнений, — как коммерсант, он хорошо знал, что тот, кто не собирается дать взаймы, не станет входить в подробности сделки.

— *Фы сами понимаете, што и от польших и от малых лютей трепуется три потписи. Итак, принесите фекселя прикасу нашефо трука тю Тийе; я неметленно отсылаю их ф панк со сфоей потписью, и ф тот ше тень ф шетыре шаса фы полушите ту сумму, на которую утром потписали фекселя. Ни комиссионных, ни ушотнофо просента, нишефо мне не нушно, только, панкофский просент: путу ошень рат окасаться фам полесным... Но стафлю отно услофие*, — сказал он с неподражаемым лукавством, поднося указательный палец к носу.

— Готов принять любые условия, барон, — сказал Бирото, полагая, что речь идет об удержании какой-то части из его прибылей.

— *Услофие, которому я притаю ошень польшое снашение: пусть моя супрука перет, как она скасала, уроки у фашей супруки.*

— Умоляю вас, барон, не смейтесь надо мной.

— *Нет, нет*, — с самым серьезным видом продолжал банкир, — *ми услофились: фи приклашаете нас на фаш слетуюший пал. Моя шена сафитует, она хотела пы фитеть фашу кфартиру, о которой фсе столько кофорят.*

— Господин барон!

— *О, если фи нам откасываете, — и я откасыфаюсь иметь с фами тело! Фи в польшой слафе. Та, я снаю, фас сопирался нафестить сам префект Сены.*

— Господин барон!

— *У фас пыл ла Пиллартиер, камеркер тфора, старый фантеец, — он тоше пыл ранен у серкфи святого Роха.*

— Тринадцатого вандемьера, барон!

— *У фас пыл каспатин те Лассепетт, акатемик Фоклен...*

— Господин барон!..

— *Ах, шорт попери, не скромнишайте, каспатин помошник мэра. Король кофорил, как я слышал, што фаш пал...*

— Король? — спросил Бирото. Но ему так и не пришлось ничего больше узнать.

В комнату развязно вошел молодой человек; узнав еще издали его шаги, прекрасная Дельфина де Нусинген зарделась.

— *Топрый тень, торокой те Марсе!* — сказал барон де Нусинген. — *Сатитесь на мое место. Ф моей конторе, кофорят, мношестфо посетителей. Я снаю отшефо: фортшинские копи приносят тфойной тифитент. Каспаша те Нусинкен, у фас теперь на сто тысяш франкоф польше тохота. Мошете накупить ceпe всяких нарятов и упоров, штопы стать еще красифее, хотя фы как путто ф этом не нуштаетесь.*

— Господи! А Рагоны-то продали свои акции! — воскликнул Бирото.

— Это кто такие? — спросил, улыбаясь, молодой щеголь.

— *Фот*, — сказал Нусинген, возвращаясь, так как был уже у самой двери, — *эти люти, кашется... Те Марсе, это — каспатин Пирото, фаш парфюмер. Он сатает палы с фостошной пышностью, и король накратил ефо ортеном.*

Подняв к глазам лорнет, де Марсе сказал:

— Да, правда, его лицо показалось мне несколько знакомым. Вы что же, собираетесь надушить ваши дела какими-нибудь ароматическими веществами, умастить их маслами?..

— *Так фот, эти Раконы*, — с недовольным видом продолжал барон, — *тершали у меня теньки, и я помок пы им состафить cene состояние, но они не сумели потоштать лишний тень.*

— Господин барон! — воскликнул Бирото.

Видя, что дело его в очень неопределенном положении, бедняга, не простившись даже с баронессой и де Марсе, устремился за банкиром. Тот уже спускался по лестнице, и парфюмер догнал его только внизу, у входа в контору. Открывая дверь, Нусинген увидел отчаянный жест несчастного купца, чувствовавшего, что он летит в бездну, и сказал ему:

— *Так решено? Пофитайтесь с тю Тийе и опо фсем с ним токофоритесь.*

Бирото решил, что де Марсе имеет влияние на барона; быстрее ласточки он взлетел вверх по лестнице и проскользнул в столовую, где должны были еще находиться баронесса и де Марсе: ведь когда он уходил, Дельфина ждала кофе со сливками. Кофе стоял на столе, но баронесса и молодой щеголь исчезли. Заметив недоумение посетителя, лакей ухмыльнулся; Бирото медленно спустился по ступенькам к подъезду. Он устремился к дю Тийе, но, как ему сказали, банкир уехал за город, к г-же Роген. Парфюмер нанял кабриолет и щедро заплатил кучеру, чтобы тот быстро, как на почтовых, доставил его в Ножан-сюр-Марн. Однако в Ножан-сюр-Марне привратник сказал ему, что господа уехали обратно в Париж. Бирото вернулся домой совершенно разбитый. Рассказав о своих мытарствах жене и дочери, он поражен был тем, что Констанс, встречавшая обычно зловещей птицей малейшую коммерческую неудачу, принялась нежно утешать его, уверяя, что все образуется.

На другой день Бирото в семь часов утра, хотя только еще рассветало, был уже у дома дю Тийе. Вручив швейцару десять франков, он попросил вызвать камердинера. Добившись чести поговорить с этим важным лакеем, он сунул ему в руку два золотых и упросил провести его к банкиру, как только тот проснется. Эти маленькие денежные жертвы и большие унижения, знакомые придворным и просителям, помогли парфюмеру достигнуть цели. В половине девятого его бывший приказчик, зевая и потягиваясь, вышел к нему с заспанным лицом, извинившись, что принимает его в халате. Бирото очутился лицом к лицу с кровожадным тигром, в котором он все еще упорно видел своего единственного друга.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, — сказал Бирото.

— Что вам угодно, *милейший* Цезарь? — спросил дю Тийе.

С замиранием сердца Бирото передал ему ответ и требования барона де Нусингена; невнимательно слушая его, дю Тийе разыскивал мехи для раздувания огня и бранил лакея, недостаточно быстро растопившего камин.

Лакей прислушивался, и Цезарь, сперва не замечавший этого, в конце концов увидел его любопытную физиономию и смущенно замолчал; но банкир рассеянно бросил:

— Продолжайте, продолжайте, я вас слушаю!

У несчастного Бирото взмокла от пота сорочка. Но его охватил ледяной холод, когда дю Тийе вперил в него пристальный взгляд своих стальных с золотыми прожилками глаз, дьявольский блеск которых пронзил парфюмера до глубины сердца.

— Дорогой патрон, чем же я виноват, что банк отказался учесть ваши векселя, которые переданы Жигонне банкирским домом Клапарона с надписью: «без поручительства»? Как это вас, старого члена коммерческого суда, угораздило попасть впросак? Я прежде всего — банкир. Я могу дать вам денег, но не знаю, примет ли банк мою подпись, и не хочу рисковать. Я существую только благодаря кредиту. Все мы им только и держимся. Хотите денег?

— А можете ли вы дать, сколько мне требуется?

— Зависит от суммы. Сколько вам нужно?

— Тридцать тысяч франков.

— Все шишки на мою голову! — расхохотался дю Тийе.

Услышав этот смех, парфюмер, ослепленный роскошью, окружавшей дю Тийе, подумал, что так может смеяться только богач, для которого подобная сумма — сущий пустяк; он вздохнул с облегчением. Банкир позвонил.

— Попросите сюда ко мне кассира.

— Он еще не приходил, сударь, — ответил лакей.

— Бездельники смеются надо мной! Уже половина девятого, к этому времени можно наворотить дел на миллион франков.

Минут через пять явился Легра.

— Сколько у нас в кассе денег?

— Всего двадцать тысяч. Ведь вы распорядились купить на тридцать тысяч франков ренты с уплатой наличными пятнадцатого.

— Да, правда, я еще не совсем проснулся.

Как-то странно посмотрев на Бирото, кассир вышел.

— Если бы истину изгнали с земли, последнее свое слово она поручила бы сказать кассиру, — заявил дю Тийе. — Не участвуете ли вы в деле, которое открыл недавно маленький Попино? — спросил он после долгого гнетущего молчания, во время которого лоб парфюмера покрылся каплями пота.

— Да, — простодушно ответил Бирото, — а не могли бы вы учесть его векселя на более или менее крупную сумму?

— Принесите мне его векселей на пятьдесят тысяч франков, я помогу вам учесть их под небольшой процент у некоего Гобсека, человека весьма покладистого, когда у него много свободных денег, а их у него всегда вдоволь.

Бирото вернулся домой удрученный, не понимая еще, что банкиры перебрасывали его друг другу, точно мяч; но Констанс уже догадалась, что ни о каком кредите не может быть и речи: если три банкира отказали, все они, стало быть, справлялись о таком видном человеке, как помощник мэра, и рассчитывать на Французский банк больше не приходится.

— Попытайся отсрочить векселя, — сказала она, — пойди к Клапарону, — он твой компаньон; пойди ко всем, у кого есть твои векселя, которым приходит срок пятнадцатого, и попроси отсрочить их. А учесть векселя Попино ты всегда успеешь.

— Завтра тринадцатое! — прошептал совершенно убитый Бирото.

Говоря словами его же собственного проспекта, Бирото обладал сангвиническим темпераментом; волнения и умственное напряжение поглощали у него слишком много сил, восстановить которые мог только сон. Цезарина увела отца в гостиную и, чтобы развлечь его, сыграла «Сновидение Руссо» — прелестную вещицу Герольда, а Констанс села подле мужа с работой. Бедняга уронил голову на подушку дивана и всякий раз, как подымал глаза на жену, видел на губах ее нежную улыбку; так он и уснул.

— Бедняжка! — сказала Констанс. — Сколько ему предстоит пережить терзаний! Только бы у него хватило сил!

— Что с тобой, мама? — спросила Цезарина, заметив, что мать плачет.

— Доченька, я вижу, как надвигается банкротство. Если отцу придется объявить себя несостоятельным, нечего рассчитывать на чью-либо жалость. Будь готова, дитя мое, стать простой продавщицей. Когда я увижу, что ты стойко переносишь удары судьбы, я найду в себе силы начать жизнь сызнова. Твой отец не утаит ни гроша — я знаю его; я также откажусь от своих прав, и все, что у нас есть, пойдет с молотка. Отнеси завтра свои платья и драгоценности к дяде Пильеро, ведь ты, деточка, не несешь никакой ответственности.

Слова эти, сказанные с благочестивым смирением, повергли Цезарину в ужас. Она решилась было повидать Ансельма, но не могла преодолеть своей застенчивости.

На следующий день в девять часов утра Бирото уже был на улице Прованс: теперь его терзала тревога совсем иного рода, чем прежде. Добиваться кредита — самое обычное дело в коммерции. Затевая какое-нибудь предприятие, всегда изыскивают средства; но просьба об отсрочке векселя — это первый шаг к банкротству, и в коммерческой практике он равносилен первому проступку, который в судебной практике ведет виновного сначала в суд исправительной полиции, а затем к уголовному преступлению, подлежащему суду присяжных. Тайна ваших денежных затруднений и вашей неплатежеспособности становится известна всем. Купец, связанный по рукам и ногам, отдает себя во власть другого купца, а милосердие — добродетель, которая на бирже не котируется.

Парфюмер, недавно еще с самоуверенным видом расхаживавший по улицам Парижа, был теперь измучен сомнениями и не решался войти в дом Клапарона; он начинал уже понимать, что у банкиров сердце — всего лишь орган кровообращения. Клапарон с его шумной веселостью казался Цезарю таким бесцеремонным и грубым, что парфюмер боялся к нему подступиться.

«Но он ближе к народу и, может статься, будет менее бездушным!» — таков был первый упрек, подсказанный Бирото его отчаянным положением.

Собрав остатки мужества, Цезарь поднялся по лестнице на неприглядные антресоли, в окнах которых успел заметить порыжевшие от солнца зеленые занавески. На прибитой к дверям овальной медной дощечке черными буквами было выгравировано: *«Контора»*; Бирото постучался, ответа не последовало, и он вошел. Более чем скромное помещение говорило о скудости, скупости или полной заброшенности. За медной решеткой, укрепленной на некрашеном деревянном барьере, стояли почерневшие столы и конторки, но не видно было ни одного служащего. Пустовавшие столы были уставлены чернильницами с заплесневевшими чернилами, а из этих чернильниц высовывались гусиные перья, растрепанные, как вихры уличных мальчишек, или расходящиеся венчиком, как утренние лучи солнца; тут же навалены были никому, видимо, не нужные папки, бумаги и бланки. Паркет походил на пол в приемной пансиона: сырой, грязный, затоптанный. Следующая комната, на двери которой значилось *«Касса»*, вполне соответствовала нелепому и мрачному виду первой. В одном из углов ее находилась большая дубовая загородка с решеткой из медной проволоки и с задвигающимся окошечком; внутри этой клетки стоял огромный железный сундук, в котором, наверное, уже завелись крысы. За открытой дверью виднелся еще какой-то несуразный письменный стол, а перед ним безобразное зеленое кресло с продавленным сиденьем, из которого торчал конский волос, закручиваясь множеством игривых завитков, как кудряшки на парике самого Клапарона. Главным украшением этой комнаты, служившей, очевидно, гостиной до того, как квартиру превратили в контору банка, был круглый стол, покрытый зеленым сукном; вокруг него стояли старые, обитые черной кожей стулья с некогда позолоченными гвоздиками. В довольно изящном по форме камине и на чугунной его доске незаметно было ни малейших следов копоти, которая свидетельствовала бы о том, что этот камин топили. Засиженное мухами зеркало имело самый убогий вид и вполне гармонировало с часами в футляре из красного дерева, приобретенными, вероятно, с торгов на распродаже мебели какого-нибудь престарелого нотариуса; часы эти не радовали взгляда, и без того уже удрученного видом двух канделябров без свечей и густым слоем пыли, покрывавшей все вокруг. Закопченные обои мышино-серого цвета с розовым бордюром указывали на длительное пребывание в комнате заядлых курильщиков. Все здесь напоминало так называемые «редакционные комнаты» в газетах. Боясь быть нескромным, Бирото трижды постучался в дверь, противоположную той, в которую он вошел.

— Войдите! — крикнул Клапарон, и по звуку его голоса можно было судить о том, как далеко он находился и как пуста была соседняя комната, откуда до парфюмера доносилось потрескивание огня в камине, но где самого банкира, очевидно, не было. Комната эта служила Клапарону личным кабинетом. Между пышным кабинетом Келлера и удивительно запущенным жилищем этого мнимого крупного дельца была не меньшая разница, чем между Версалем и вигвамом вождя племени гуронов. Парфюмеру, уже видевшему величие банка, предстояло теперь познакомиться с шутовской на него пародией.

Клапарон лежал на кровати, которая поставлена была в продолговатой нише, устроенной в задней стене кабинета; комната эта была обставлена довольно изящной мебелью, но испорченной, разрозненной, изломанной, ободранной, загрязненной и приведенной в негодность безалаберными привычками хозяина; при виде Бирото Клапарон запахнул засаленный халат, положил трубку и так поспешно задернул полог кровати, что даже наивный парфюмер усомнился в его целомудрии.

— Присаживайтесь, сударь, — сказал мнимый банкир.

Без парика, с головой, криво повязанной каким-то фуляром, Клапарон показался Бирото особенно отвратительным: распахнувшийся на груди халат приоткрыл белую шерстяную фуфайку, ставшую темно-бурой от долгой носки.

— Не хотите ли позавтракать? — спросил Клапарон, вспомнив о бале у парфюмера и желая отблагодарить его этим приглашением за гостеприимство, а заодно и втереть ему очки.

Круглый стол, с которого были наскоро убраны бумаги, красноречиво говорил о недавней пирушке в приятной компании: на нем красовались устрицы, паштет, белое вино и застывшие в соусе почки в шампанском. Горящие в камине угли бросали золотистые блики на яичницу с трюфелями. Наконец два прибора и салфетки в жирных пятнах, оставленных вчерашним ужином, открыли бы глаза самой святой невинности. Несмотря на отказ Бирото, Клапарон продолжал настаивать, как человек, уверенный в своей ловкости.

— Я кое-кого ждал к себе, но гость мой куда-то пропал, —— умышленно громко воскликнул хитрый коммивояжер, чтобы его услышала особа, которая зарылась в постели под одеяла.

— Сударь, — сказал Бирото, — я пришел по делу и долго вас не задержу.

— Я завален работой, — отвечал Клапарон, указывая на секретер с задвижной крышкой и на стол с грудами бумаг, — у меня нет минутки свободной. Принимаю я только по субботам, но для вас, дорогой господин Бирото, я всегда дома. Никак не урву времени ни для любви, ни для прогулок по городу; я теряю всякий деловой нюх: чтобы сохранить его, ведь надобно же иногда и побездельничать. А мне не удается даже побродить по бульварам. Опротивели мне дела, и слышать о них больше не желаю; денег с меня хватит, а вот в счастье всегда нехватка. Хотелось бы мне, клянусь честью, поездить по свету, побывать в Италии! Ах, Италия! Вот благодатный край! Прекрасна, наперекор всем превратностям судьбы! Чудесная страна, где ждет меня величавая и томная итальянка! Всю жизнь обожал итальянок! Была у вас когда-нибудь любовница итальянка? Нет? Так поедем со мной в Италию! Мы увидим Венецию — резиденцию дожей; город этот, к несчастью, попал в руки невежественной Австрии, которая ничего не смыслит в искусствах! Баста! бросим все эти государственные дела, займы, каналы. Я — добрый малый, когда у меня туго набиты карманы. Едем же, черт побери, путешествовать!

— Одно слово, сударь, и я ухожу, — сказал Бирото. — Вы передали мои векселя господину Бидо?

— Вы хотите сказать — Жигонне, милейшему Жигонне? Вот человек, всегда готовый нежно обнять вас... как веревка шею висельника.

— Да, — продолжал Цезарь, — я хотел бы... и тут я рассчитываю на ваше благородство и деликатность...

Клапарон поклонился.

— Я хотел бы получить отсрочку...

— Невозможно, — прервал банкир, — дела я веду не один; нас целый совет, настоящая палата депутатов. Мы, правда, спелись и шипим в один голос, как сало на сковороде. Да, черт побери, мы обо всем совещаемся. Участки в районе церкви Мадлен — это пустяки! Мы орудуем во многих местах. Э, любезнейший, если бы мы не имели доли в участках на Елисейских полях, вокруг достраивающейся биржи, в квартале Сен-Лазар и около Тиволи, мы *«не форошали пы телами»*, как говорит толстяк Нусинген. Что для нас участки около Мадлен? Так, чепуха! Мы, любезнейший, крохоборничать не любим, — сказал он, похлопывая Бирото по животу и обнимая его за талию. — Ну, давайте же завтракать, потолкуем за едой, — прибавил Клапарон, чтобы смягчить отказ.

— Охотно, — ответил Бирото.

«Собутыльнику моему не поздоровится», — подумал парфюмер, надеясь подпоить Клапарона, чтобы выведать, кто же в действительности его компаньоны в деле с земельными участками, начинавшем казаться ему подозрительным.

— Вот и хорошо! Виктория! — крикнул банкир.

На зов явилась женщина, похожая на ведьму и одетая, как торговка рыбой.

— Скажите в конторе, что меня нет дома ни для кого — даже для Нусингена, Келлеров, Жигонне и всех прочих.

— Из конторщиков пока пришел только господин Ламперер.

— Ну что ж, ему ли не знать, как принимают знать, — сказал Клапарон. — А мелюзгу дальше первой комнаты не пускайте. Велите всем говорить, что я обдумываю, как опрокинуть... бокал шампанского.

Напоить бывшего коммивояжера — дело безнадежное. Пытаясь выведать правду у своего компаньона, Цезарь принял его пошлую болтливость за признаки опьянения.

— Вы все еще связаны с этим подлецом Рогеном, — сказал Бирото. — Написали бы вы ему, чтобы он помог пострадавшему из-за него другу, человеку, с которым он каждое воскресенье вместе обедал, которого знает вот уже двадцать лет.

— Роген?.. Он дуралей! Его доля в участках станет нашей! Не горюйте, дружище, все уладится. Расплатитесь пятнадцатого, а там видно будет. Я говорю «видно будет»... (еще стаканчик вина!), а собственно, я-то сам в деле не участвую. По мне хоть и вовсе не платите, я на вас в претензии не буду: мое участие в деле сводится к получению комиссионных за покупку да к доле в барышах, — ведь это я, знаете ли, обрабатываю владельцев участков... Ясно? Компаньоны у вас надежные, мне, милейший, опасаться нечего. Участвовать в делах по нынешним временам можно по-разному! Любое дело требует людей самых разнообразных способностей. Почему бы вам не принять участие в наших делах? Бросьте ваши баночки-скляночки, помаду да гребенки — это же вздор! Ничего не стоящее дело! Стригите публику, займитесь спекуляцией.

— Спекуляцией? — спросил парфюмер. — А это что за промысел?

— Это промысел отвлеченный, — отвечал Клапарон, — промысел, который еще лет десять для большинства останется тайной, так, по крайней мере, утверждает наш финансовый Наполеон — великий Нусинген. Финансист, занимающийся спекуляцией, охватывает всю совокупность цифр, снимает сливки с еще не полученных доходов, это — гениальное постижение, способ регулярно стричь надежду, словом — новая кабалистика! Нас пока всего лишь десять — двенадцать мудрых голов, посвященных в кабалистические тайны этих великолепных комбинаций.

Цезарь открыл глаза и уши, стараясь разобраться в столь сложной фразеологии.

— Послушайте-ка, — продолжал Клапарон, помолчав. — Для таких дел нужны люди. Нужен, например, человек с идеями, у которого гроша ломаного нет за душой, как и у всех людей с идеями. Пораскинув умом, они раскидывают направо и налево деньги, ни о чем не заботясь. Представьте себе свинью, которую пустили по лесу, где растет масса трюфелей. Следом за ней идет молодчик, человек денежный, который ждет, когда раздастся хрюканье, возвещающее о находке. Понятно? Как только человек с идеями напал на выгодное дельце, человек с деньгами, потрепав его по плечу, говорит: «Это еще что такое? Куда лезете, любезный, у вас кишка тонка; вот вам тысяча франков, а пустить дело в ход предоставьте уж мне». Ладно! Тут банкир созывает ловкачей: «За работу, приятели! Рекламу! Врите напропалую!» Ловкачи хватают охотничий рог и трубят что есть мочи: «Сто тысяч франков за пять су!» или «Пять су за сто тысяч франков!» — «Золотые россыпи, угольные копи!» Словом — обычная коммерческая шумиха. Покупаются отзывы людей науки или искусства, и балаган открыт: публика валом валит и получает что положено за свои денежки; а выручка попадает к нам в карман. Свинью загоняют в хлев и насыпают ей картошки, а дельцы загребают банковые билеты и блаженствуют. Так-то, сударь мой! Займитесь делами! Кем вам хочется быть? Свиньей, простофилей, ловкачом или миллионером? Поразмыслите над этим: я изложил вам теорию современных займов... Заходите ко мне почаще. Я весельчак и добрый малый. Наша французская жизнерадостность легкомысленна, но мы умеем быть серьезными; веселье делу не помеха, наоборот. За бутылочкой люди скорее столкуются. Ну-ка, еще бокал шампанского! Лучшая марка, поверьте! Один клиент прислал его мне прямо из Эперне; я распродал когда-то немало его вин, и по хорошей цене (я ведь работал по винной части). Он мне благодарен и шлет подарки даже и сейчас, когда я процветаю. А ведь это редкость.

Бирото, пораженный легкомыслием и беспечностью человека, которого все считали наделенным недюжинным умом и незаурядными коммерческими способностями, не решался его больше расспрашивать. Уже захмелев от шампанского, он все же вспомнил имя, упомянутое дю Тийе, и спросил, кто такой банкир Гобсек и где он проживает.

— Как! Вы уже до этого дошли, сударь? — воскликнул Клапарон. — Гобсек такой же банкир, как парижский палач — лекарь. Он с первого же слова требует пятьдесят процентов. Гобсек из школы Гарпагона: он вам предложит канареек, чучело удава, меха летом и кисею зимой. А какое обеспечение вы ему предложите? Чтобы он принял вексель за одной только вашей подписью, вам придется заложить ему жену и дочь, самого себя — словом, решительно все, вплоть до картонки для шляп, зонтика и калош (вы ведь, кажется, сели в калошу?), вплоть до каминных щипцов, совка для углей и дров из вашего сарая... Гобсек! Гобсек!.. Хорошенькое дело! Кто вас направил к этой финансовой гильотине?

— Господин дю Тийе!

— Вот плут! Узнаю его проделки. Мы ведь были когда-то друзьями, но так рассорились, что теперь даже не раскланиваемся; поверьте — мое отвращение к нему имеет достаточное основание: мне удалось заглянуть в самую глубь его грязной душонки; он мне испортил настроение на вашем чудесном балу. Не выношу его фатовского вида: он, видите ли, живет с женой нотариуса! Подумаешь! Да пожелай я только — у меня будут маркизы, а вот он моего уважения никогда не добьется. Не заслужить ему моего уважения, как не заполучить принцессу к себе в постель. А ведь вы, папаша, забавник: задаете такой бал и через два месяца просите отсрочить векселя! Вы далеко пойдете! Давайте-ка сообща ворочать делами. У вас хорошая репутация — она мне пригодится. Дю Тийе мошенник, ему на роду написано снюхаться с Гобсеком. Но на бирже он плохо кончит. Говорят, он соглядатай старика Гобсека, — значит, ему долго не продержаться. Гобсек притаился в углу своей паутины, точно старый паук, привыкший раскидывать свои тенета в разных странах света. Рано или поздно ростовщик — хлоп! — и проглотит своего подручного, как я — стакан вина. Так ему и надо, этому дю Тийе. Он сыграл со мной шутку... О, за такую шутку стоит повесить!..

Потратив полтора часа на бесплодную болтовню, Бирото решил уйти; бывший коммивояжер приступил в это время к рассказу о приключениях некоего депутата в Марселе: депутат был влюблен в актрису, выступавшую в роли прекрасной Арсены и освистанную сидевшими в партере роялистами.

— Он встает, — рассказывал Клапарон, — выпрямляется во весь рост в ложе и кричит: «Держите свистуна! Коли это женщина — начхать мне на нее; коли мужчина — будем драться; коли ни то ни се — бог ему судья». Знаете, чем кончился весь этот скандал?

— Прощайте, сударь, — сказал Бирото.

— Вам придется еще разок зайти ко мне, — заявил Клапарон. — Первый векселек Кейрона вернулся к нам опротестованный; передаточная надпись — моя, и я уплатил по нему. Я вам его пришлю, дела ведь на первом месте.

Бирото был до глубины души уязвлен этой кривляющейся, холодной любезностью; она поразила его не менее жестоко, чем черствость Келлера и немецкая издевка Нусингена. Развязность этого распутника, его подогретая шампанским циничная откровенность омрачили душу честного парфюмера, ему казалось, что он побывал в каком-то притоне. Сам не сознавая, куда он идет, Цезарь спустился по лестнице и, выбравшись на улицу, побрел по бульварам; дойдя до улицы Сен-Дени, он вспомнил о Молине и направился к Батавскому подворью. Он взобрался по грязной винтовой лестнице, по которой еще недавно поднимался с таким кичливым и высокомерным видом. При мысли о мелочной жадности Молине Цезарь ужаснулся, что придется обратиться к нему с просьбой. Как и при первом посещении парфюмера, домовладелец сидел у камелька, но на сей раз он уже позавтракал и предавался пищеварению. Бирото объяснил цель своего прихода.

— Отсрочить вексель в тысячу двести франков? — с недоверчивой усмешкой спросил Молине. — Ну, уж нет, сударь! Если пятнадцатого у вас не найдется тысячи двухсот франков, чтобы заплатить мне по векселю, значит, вы и за квартиру мне не заплатите? Я буду этим весьма недоволен, я не привык церемониться в денежных делах, квартирная плата — мой доход. Как бы я мог иначе расплачиваться сам? Вы ведь купец и не станете порицать меня за это. В денежных делах нет ни свата, ни брата. Зима нынче суровая, дрова вздорожали. Если вы пятнадцатого не заплатите, ждите в полдень шестнадцатого повесточку. О! Добрейший Митраль, ваш судебный пристав — равно как и мой — пошлет вам повестку в конверте, со всей почтительностью, подобающей вашему высокому положению.

— Сударь, мне никогда еще не приходилось получать судебных повесток! — воскликнул Бирото.

— Лиха беда начало, — ответил Молине.

Нескрываемая злоба старикашки потрясла парфюмера, он почувствовал, что все погибло; в его ушах зазвучал похоронный звон банкротства. Каждый удар колокола воскрешал в его памяти жестокие слова, которыми он, неумолимый законник, клеймил когда-то банкротов. Огненными знаками вспыхивали они теперь в его мозгу.

— Кстати, — сказал Молине, — вы забыли сделать пометку на векселе: «за наем помещения», а такая пометка даст мне преимущественное право на получение долга.

— Мое положение не дозволяет мне нанести в чем-либо ущерб своим кредиторам, — ответил парфюмер, потерявший голову при виде открывшейся перед ним бездны.

— Хорошо, сударь, превосходно! А я-то думал, что жильцы меня уже всему обучили по части их фокусов с квартирной платой. Теперь благодаря вам я буду знать, что нельзя принимать векселей в уплату за квартиру... О, я буду судиться, ибо ответ ваш ясно показывает, что вы не выполните своих обязательств. Случай этот представляет интерес для всех домовладельцев Парижа.

Бирото вышел от него полный отвращения к жизни. Получив отказ, люди со слабой и чувствительной душой тотчас впадают в уныние, а первый успех необычайно окрыляет их. У Цезаря оставалась теперь только одна надежда — на преданность Ансельма Попино, о котором он сразу же вспомнил, оказавшись около рынка Невинных.

«Бедный мальчик, кто бы это мог предвидеть; ведь только полтора месяца назад, в Тюильри, я помог ему стать на ноги!»

Было около четырех часов дня; судейские чиновники в это время покидают обычно здание суда. Старик Попино зашел проведать племянника. Старый служитель правосудия был знатоком человеческой души, глубоким прозорливцем; он угадывал тайные побуждения людей, улавливал скрытый смысл их самых невинных с виду поступков, зародыши преступлений, корни проступков; он испытующе посмотрел на Бирото, который этого даже и не заметил. Парфюмер досадовал, что застал у Ансельма его дядю, и, как показалось судье, был чем-то смущен, озабочен и задумчив. Маленький Попино, как всегда страшно занятый, с пером за ухом, лебезил, по обыкновению, перед отцом Цезарины. Судье почудилось, что избитые фразы, с которыми Цезарь обращался к своему компаньону, говорились просто для отвода глаз и что парфюмер пришел попросить о какой-то важной услуге. Хитрый старик продолжал сидеть в лавке, вопреки желанию племянника; он не уходил, рассчитывая, что парфюмер, чтобы избавиться от него, сам уйдет первым. Когда Бирото действительно удалился, следователь тоже вышел, но заметил, что парфюмер бродит в той части улицы Сенк-Диаман, которая ведет к улице Обри-ле-Буше. Это, казалось бы, незначительное обстоятельство вызвало у него подозрение относительно истинных намерений Бирото; выйдя на Ломбардскую улицу, он увидел, что парфюмер снова зашел к Ансельму, и поспешил туда же.

— Дорогой Попино, — сказал компаньону Цезарь. — Я пришел просить тебя об услуге.

— Что я должен сделать? — с пылкой готовностью воскликнул Ансельм.

— Ах, ты возвращаешь меня к жизни, — вскричал парфюмер, обрадованный этим сердечным жаром, согревшим его среди льдов, в которых он блуждал уже с месяц. — Выплати мне пятьдесят тысяч франков в счет моей доли прибыли; о порядке платежа мы договоримся.

Ансельм пристально поглядел на него, и Цезарь опустил глаза. В этот миг снова появился следователь.

— Дорогой мой... Ах, простите, господин Бирото! Дорогой мой, я забыл тебе сказать...

Властным жестом служитель правосудия подхватил племянника под руку, увлек его на улицу и, хотя тот был в одной куртке, с непокрытой головой, повел в сторону Ломбардской улицы и заставил себя выслушать.

— Дела твоего бывшего хозяина, племянник, настолько пошатнулись, что он, возможно, вынужден будет объявить себя несостоятельным. Прежде чем решиться на этот шаг, даже самые добродетельные люди, за плечами которых сорок лет незапятнанной жизни, стремясь спасти свое доброе имя, уподобляются обезумевшим игрокам. Они идут на все: продают жен, торгуют дочерьми, губят лучших друзей, закладывают то, что им не принадлежит; бегут с отчаяния в игорные дома, лгут, притворяются, рыдают... Словом, мне случалось наблюдать самые необычайные дела. Ты же видел, каким простодушным прикидывался Роген, — воплощенная невинность, хоть без исповеди к причастию допускай. Я не распространяю этих жестоких выводов на господина Бирото; я считаю его человеком порядочным; но если он попросит тебя сделать что-либо противное законам коммерции, подписать, скажем, дружеские векселя и пустить их в обращение, — а это, по-моему, уже первый шаг к мошенничеству, ибо это — векселя фальшивые, — обещай мне ничего не подписывать, не посоветовавшись предварительно со мной. Ты любишь его дочь и уж во имя одной этой любви не должен губить свою будущность. Если господину Бирото суждено разориться, зачем же разоряться еще и тебе? Тогда вы оба лишитесь всяких шансов на успех, связанный с твоим торговым делом, а ведь оно-то и может оказаться для него прибежищем.

— Благодарю вас, дядя, мне все ясно, — сказал Попино, которому стал теперь понятен горестный возглас парфюмера.

Торговец ароматическими и прочими маслами вернулся в свою темную лавку озабоченным. От Бирото не ускользнула эта перемена.

— Окажите мне честь пройти в мою комнату, там нам будет удобнее. Приказчики, хоть и очень заняты, могут нас все же услышать.

Бирото последовал за Попино, точно осужденный, терзаемый неизвестностью, — будет ли приговор отменен или оставлен в силе.

— Мой дорогой благодетель, — начал Ансельм, — не сомневайтесь в моей преданности — она безгранична. Позвольте мне только спросить вас: достанет ли этой суммы для вашего спасения или же эти деньги только отсрочат какую-то катастрофу? Вам нужны векселя сроком на три месяца. Но через три месяца я, конечно, не смогу заплатить по ним.

Бледный и торжественный, Бирото встал и в упор посмотрел на Ансельма.

Испуганный его видом, Попино воскликнул:

— Я подпишу векселя, если вы настаиваете.

— Неблагодарный! — сказал парфюмер, вложив в это слово всю силу негодования, чтобы заклеймить им Ансельма.

Повернувшись, он направился к двери и вышел. Придя в себя от потрясения, в которое повергло его это ужасное слово, Попино бросился вниз по лестнице и выбежал на улицу, но парфюмер уже куда-то исчез. С тех пор этот страшный приговор неумолчно звучал в ушах возлюбленного Цезарины. Перед взором его неотступно стояло искаженное лицо несчастного Цезаря; словом, Попино жил, как Гамлет, бок о бок с грозным призраком.

Бирото, точно пьяный, кружил по улицам квартала. В конце концов он очутился на набережной, пошел вдоль нее, добрался до Севра; здесь обезумевший от горя банкрот переночевал в какой-то харчевне; испуганная жена не решалась его разыскивать. Неосмотрительно поднятая тревога может оказаться в подобных случаях роковой. Благоразумная Констанс подавила свое беспокойство во имя коммерческой репутации мужа; в тревоге и молитвах она прождала его всю ночь. Не умер ли Цезарь? А может быть, увлекаемый последней надеждой, он направился куда-нибудь за пределы Парижа? Наутро она вела себя так, словно причины отсутствия мужа были ей известны; в пять часов пополудни, видя, что Бирото все еще нет, она вызвала дядю и попросила его пойти в морг. Все это время мужественная женщина сидела за конторкой кассы, а дочь вышивала возле нее. Обе сохраняли непроницаемый вид и без улыбки, но и без грусти отвечали покупателям.

Пильеро вернулся в сопровождении Цезаря. Поискав его на бирже, он столкнулся с ним в Пале-Рояле, где Бирото стоял в нерешительности у входа в игорный дом. Было 14 января. Цезарь за обедом ничего не ел. От нервных спазм, сжимавших горло, он не мог проглотить ни куска. Столь же ужасны были и послеобеденные часы. Купец переживал в сотый раз тот жестокий переход от надежды к отчаянию, который, опьяняя душу гаммой самых радостных чувств, ввергает ее затем в глубочайшую печаль и совсем подрывает силы у слабых людей. Дервиль, поверенный Бирото, вошел, запыхавшись, в роскошную гостиную, где жена парфюмера, пустив в ход все свое влияние, с трудом удерживала несчастного мужа, хотевшего отправиться спать на чердак, чтобы, как он говорил, «не видеть свидетельств своего безумия».

— Мы выиграли дело! — объявил Дервиль.

При этих словах искаженное мукой лицо Цезаря просияло, но радость его испугала Пильеро и Дервиля. Жена и дочь, глубоко потрясенные, поспешно вышли в комнату Цезарины, чтобы дать там волю слезам.

— Я, стало быть, могу получить ссуду? — воскликнул парфюмер.

— Нет, это было бы неосторожно, — ответил Дервиль. — Они подают апелляцию, решение суда еще может быть пересмотрено; но уже через месяц у нас будет окончательное постановление.

— Через месяц!

Цезарь впал в забытье, из которого его никто не пытался вывести. В этом странном столбняке, когда тело жило и страдало, а работа сознания приостановилась, в этой случайно полученной Цезарем передышке Констанс, Цезарина, Пильеро и Дервиль справедливо усмотрели милость всевышнего. Благодаря ей Бирото мог пережить жестокие волнения этой ночи. Он сидел в глубоком кресле у камина, напротив поместилась жена, внимательно наблюдавшая за ним; кроткая улыбка на ее устах свидетельствовала о том, что женщины ближе, чем мужчины, к ангельской природе, ибо умеют соединять бесконечную нежность с безграничным состраданием — секрет, известный одним лишь ангелам, посещающим изредка, по воле провидения, наши сны. Цезарина примостилась на скамеечке у ног матери. Время от времени она касалась слегка своими локонами руки отца, стараясь выразить этой лаской ту нежность, которая, высказанная словами, могла бы показаться назойливой в столь критические минуты.

Пильеро сидел в кресле, напоминая изваяние канцлера Лопиталя в перистиле палаты депутатов; этот готовый ко всему философ, на лице которого, казалось, была запечатлена мудрость египетских сфинксов, тихо беседовал с Дервилем. Констанс решила посоветоваться со стряпчим, на скромность которого вполне можно было положиться.

Зная наизусть баланс фирмы, она обрисовала ему шепотом положение вещей. После обсуждения, длившегося около часа и происходившего в присутствии совершенно отупевшего парфюмера, Дервиль, взглянув на Пильеро, покачал головой.

— Сударыня, — начал он со свойственным деловым людям убийственным хладнокровием, — вам придется объявить себя несостоятельными. Допустим даже, что с помощью какого-нибудь ловкого хода вам удастся заплатить завтра долги; но ведь вы должны выплатить по меньшей мере триста тысяч франков, прежде чем сможете заложить свои земельные участки. При пассиве в пятьсот пятьдесят тысяч франков вы располагаете прекрасным, очень доходным, но пока еще нереализуемым активом, и, значит, вам все равно не выдержать. Лучше уж, по-моему, сразу выпрыгнуть в окно, нежели скатиться по лестнице.

— Я того же мнения, дитя мое, — сказал Пильеро.

Госпожа Бирото и Пильеро вышли проводить Дервиля.

— Бедный папа, — сказала Цезарина, приподнимаясь тихонько, чтобы поцеловать отца в лоб. — Ансельму, значит, ничего не удалось сделать, — прибавила она, когда мать и дядя вернулись.

— Неблагодарный! — воскликнул Цезарь; это имя ударило по единственному еще живому месту в его сознании, как молоточек бьет по струне, когда коснешься клавиши рояля.

С того момента, как слово это прозвучало над ним подобно анафеме, Ансельм Попино не знал ни сна, ни покоя. Несчастный юноша проклинал вмешательство дяди и в конце концов отправился к нему. Чтобы заставить сдаться старого, многоопытного служителя правосудия, Ансельм пустил в ход все красноречие любви, надеясь уговорить следователя, человека, от которого слова людские отскакивают, как от стены горох.

— В коммерческой практике принято, — сказал ему Ансельм, — что компаньон-распорядитель выдает компаньону-вкладчику некоторую сумму в виде аванса в счет ожидаемой прибыли, а прибыль у нас несомненно будет. Тщательно разобравшись в своих делах, я вижу, что уже достаточно прочно стою на ногах, чтобы выплатить в течение трех месяцев сорок тысяч франков. Честность господина Бирото служит порукой, что эти сорок тысяч франков пойдут на уплату по его векселям. Поэтому, если он даже обанкротится, кредиторам не в чем будет упрекнуть нас! К тому же, дядя, я готов лучше потерять сорок тысяч франков, чем лишиться Цезарины. Она уже знает, вероятно, о моем отказе и перестанет уважать меня. Я обещался жизнью пожертвовать за своего благодетеля и нахожусь в положении матроса, который должен пойти ко дну вместе со своим капитаном, или солдата, долг которого погибнуть рядом со своим генералом!

— Купец ты плохой, но сердце у тебя золотое, и я тебя уважаю за это, — сказал следователь, пожав руку племяннику. — Я много думал о твоих делах, — продолжал он, — я знаю, ты безумно влюблен в Цезарину, и полагаю, что ты сможешь поступить так, чтобы не нарушить ни законов любви, ни законов коммерческих.

— Ах, дядя, если вы нашли такой способ, вы спасете мою честь!

— Выплати Бирото пятьдесят тысяч франков, и пусть он уступит тебе, с правом обратного выкупа, свою долю в вашем «Масле»; оно ведь представляет теперь имущественную ценность. Запродажную я тебе составлю.

Расцеловав дядю, Ансельм вернулся домой, заготовил векселя на сумму в пятьдесят тысяч франков и устремился с улицы Сенк-Диаман на Вандомскую площадь. В тот самый миг, когда Цезарина, Констанс и Пильеро с удивлением смотрели на парфюмера, пораженные замогильным голосом, которым он произнес слово «неблагодарный», дверь гостиной распахнулась, и появился Попино.

— Мой дорогой и горячо любимый хозяин, — сказал он, вытирая вспотевший лоб, — вот то, о чем вы просили. — И он протянул векселя. — Я хорошо обдумал свое положение, не тревожьтесь, я смогу заплатить. Спасайте, спасайте же ваше доброе имя!

— Я была в нем твердо уверена! — воскликнула Цезарина и, схватив руку Попино, сжала ее с судорожной силой.

Госпожа Бирото заключила Ансельма в объятия. Парфюмер поднялся, как праведник, услышавший трубы Страшного суда. Он словно восстал из гроба! Потом с жадностью протянул руку за пятьюдесятью листочками гербовой бумаги.

— Минуточку! — сказал безжалостный дядя Пильеро, вырвав у Попино векселя. — Одну минуту!

Все четверо членов этой семьи — Цезарь, его жена, Цезарина и Попино, — ошеломленные тоном, которым были произнесены эти слова, и поступком дяди, с ужасом смотрели, как Пильеро рвал и бросал векселя в горящий камин, где их пожирало пламя. Никто из них не успел остановить его.

— Дядя!

— Дядя!

— Дядя!

— Сударь!

Четыре возгласа — вопль четырех слившихся воедино сердец. Дядюшка Пильеро обнял маленького Попино, прижал его к груди и поцеловал в лоб.

— Ну, как не полюбить тебя, ведь сердце не камень, — заявил он. — Если бы ты любил мою дочь и у нее был бы миллион приданого, а у тебя ничего, кроме этого (он указал на черный пепел, оставшийся от векселей), и если бы она тебя тоже любила, — через две недели вы были бы обвенчаны. Твой хозяин, — сказал он, указывая на Цезаря, — сошел с ума. Племянник, — сурово сказал Пильеро, обращаясь к парфюмеру, — племянник, посмотри правде в лицо! В делах важны не чувства, а деньги. Все это — очень возвышенно, конечно, но совершенно бесполезно. Я два часа провел на бирже. У тебя нет ни на грош кредита. Все твердят о твоем разорении, о том, что тебе не удалось отсрочить векселя, о твоем обращении к банкирам и об их отказе, о сумасбродствах, которые ты натворил, забравшись на седьмой этаж к болтливому, как сорока, домохозяину, чтобы просить его переписать вексель на тысячу двести франков, о бале, который ты якобы дал, чтобы скрыть свои денежные затруднения. Дошли даже до утверждений, будто у Рогена никаких твоих денег и не было. Если послушать ваших врагов, — так Роген попросту предлог. Я поручил одному другу разузнать обо всем, и он подтвердил мои опасения. Ждут появления векселей Попино, которого ты для того только будто бы и выделил, чтобы пустить через него в обращение собственные векселя. Словом, на бирже гуляют сейчас клевета и злословие, которые неминуемо навлекает на себя человек, желающий подняться по социальной лестнице ступенькой выше. Ты понапрасну будешь ходить целую неделю из конторы в контору с пятьюдесятью векселями Попино — ничего, кроме унизительных отказов, ты не встретишь. Никто этих векселей брать не станет: ведь неизвестно, на сколько ты выдал вообще векселей, все считают, что ты ради собственного спасения приносишь в жертву бедного юношу. Ты только подорвешь кредит торгового дома Попино, ничего при этом не добившись. Знаешь, сколько рискнет тебе дать за эти пятьдесят тысяч франков самый снисходительный дисконтер? — Двадцать тысяч, только двадцать тысяч, понимаешь? В коммерческих делах бывают иной раз такие моменты, когда надо продержаться на глазах у всех без пищи три дня и делать вид, что ты объелся; тогда на четвертый день ты будешь допущен в закрома кредита. Тебе же трех дней не продержаться; этим все сказано. Соберись с духом, мой бедный племянник, придется тебе объявить себя несостоятельным. Как только приказчики пойдут спать, мы с Попино возьмемся за работу, чтобы избавить тебя от этой пытки.

— Дядя! — взмолился парфюмер, простирая к нему руки.

— Цезарь, ты, стало быть, хочешь дойти до позорного баланса, в котором не останется актива? Твое участие в деле Попино спасет твое доброе имя.

Этот последний роковой луч света заставил наконец Цезаря полностью прозреть и осознать истинные размеры постигшего его несчастья; он упал в кресло, затем опустился возле него на колени. В голове у него помутилось, он словно впал в детство; жена подумала, что он умирает. Став на колени, чтобы поднять мужа, Констанс, однако, увидела, что он сложил руки, возвел глаза к небу и с сердечным сокрушением, в присутствии дяди, дочери и Попино, начал торжественно читать молитву. Она присоединилась к нему: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь».

Слезы выступили на глазах у стоика Пильеро. Цезарина, плача, опустила в изнеможении голову на плечо бледного, неподвижного, как статуя, Попино.

— Сойдем вниз, — сказал бывший торговец скобяными товарами и взял юношу под руку.

В половине двенадцатого они ушли, оставив Цезаря на попечении жены и дочери. Тогда старший приказчик Селестен, распоряжавшийся в лавке в дни этой скрытой бури, поднялся наверх и вошел в гостиную. Заслышав шаги Селестена, Цезарина бросилась к нему навстречу, чтобы он не успел заметить, в каком подавленном состоянии находится его хозяин.

— Среди вечерней почты есть письмо из Тура, — сказал Селестен, — оно пришло с запозданием из-за неточности в адресе. Я решил, что оно от брата господина Бирото, и не стал его распечатывать.

— Отец, — крикнула Цезарина, — письмо от дяди из Тура.

— Ах, я спасен! — воскликнул Цезарь. — Брат мой, брат мой! — твердил он, целуя письмо.

*Ответ Франсуа Цезарю Бирото.*

Тур, 17-го сего месяца.

«Горячо любимый брат, письмо твое глубоко меня опечалило; прочитав его, я отслужил обедню, моля господа во имя крови, пролитой за нас его сыном, нашим божественным искупителем, обратить милосердный взор свой на твои горести. В тот миг, когда я произносил слова молитвы «Pro meo fratre Caesare»[[23]](#footnote-23), глаза мои увлажнились слезами при мысли о том, что я нахожусь, к несчастью, столь далеко от тебя в дни, когда ты нуждаешься в дружеской поддержке брата. Но, подумал я, высокочтимый, достойный господин Пильеро, несомненно, заменит меня. Дорогой Цезарь, не забывай среди горестей своих, что земная жизнь наша полна испытаний и преходяща, наступит день, когда по милосердию божию и предстательству святой церкви воздастся нам за наши страдания, и нас ждет награда за соблюдение евангельских заповедей, за добродетельную жизнь; иначе порядок мира сего был бы лишен смысла. Зная твое благочестие и кротость, я все же повторяю тебе эти истины, ибо случается, что люди, застигнутые, подобно тебе, житейской бурей и носящиеся по губительному морю мирской суеты, позволяют себе, ослепленные страданием, богохульствовать среди бедствий своих. Не проклинай же ни людей, уязвляющих тебя, ни бога, по воле которого к жизни твоей примешана горечь. Не опускай долу взора своего, но возведи очи свои горе, ибо небеса ниспосылают утешение слабым, ибо там богатство бедняков и кара богачам...»

— Да ну же, Бирото, — прервала его жена, — пропусти все это и посмотри, прислал ли он нам что-нибудь.

— Мы будем часто перечитывать это письмо, — сказал купец, вытирая слезы и разворачивая послание, откуда выпал чек казначейства. — Я был твердо уверен в моем милом брате, — прибавил он, поднимая чек.

— «...Я пошел к госпоже де Листомэр, — продолжал он читать прерывающимся от слез голосом, — и, умолчав о том, чем вызвана моя просьба, попросил ее дать мне взаймы все, что она сможет уделить для меня, дабы увеличить плоды моих сбережений. Щедрость ее позволила мне собрать сумму в тысячу франков; я посылаю тебе их ассигновкой главного управляющего окладными сборами города Тура на казначейство...»

— Хороша помощь! — сказала Констанс, взглянув на Цезарину.

— «...Обходясь без некоторых излишеств, я смогу за три года вернуть госпоже де Листомэр четыреста франков, которые она мне ссудила, так что не тревожься, дорогой Цезарь. Посылая все, чем я владею в этом мире, я желаю, чтобы эти деньги помогли тебе счастливо справиться с коммерческими затруднениями, которые, уповаю, окажутся лишь временными. Зная твою деликатность, спешу предупредить все возражения. Не помышляй ни о каких процентах, ни о возврате этой суммы в дни благоденствия — а они вскоре настанут для тебя, если господь услышит мои молитвы, которые я денно и нощно буду воссылать к нему. Основываясь на последнем твоем письме, полученном мною два года назад, я считал тебя человеком богатым и полагал, что могу тратить свои сбережения на бедных; теперь же все, что у меня есть, — твое. Когда утихнет налетевший на тебя шквал, сохрани эти деньги для моей племянницы Цезарины, пусть она, устраиваясь своим домом, приобретет на них какую-либо безделицу на память о старике дяде, который вечно будет молить господа ниспослать свое благословение на нее и на всех, кто ей дорог. Помни, дорогой Цезарь, что я — скромный пастырь, живущий, подобно полевому жаворонку, милостью божьей, смиренно следую своей стезей, стараясь исполнять покорно заповеди нашего божественного спасителя, и мне не много нужно. Так что оставь свою щепетильность и вспоминай обо мне в своем тяжелом положении, как о нежно любящем тебя брате. Его преподобие аббат Шаплу, — я не посвящал его в твои дела, но он знает, что я пишу тебе, — просит меня передать сердечный привет всем членам твоей семьи и желает тебе всяческого благополучия. Прощай, дорогой и возлюбленный брат мой; молю господа, чтобы в твоих тяжелых обстоятельствах он сохранил здоровье тебе, твоей жене и дочери. Желаю всем вам терпения и мужества в ваших испытаниях.

Франсуа Бирото.

Приходский священник и викарий

кафедрального собора святого Гатиана, в Туре».

— Тысяча франков! — в негодовании воскликнула г-жа Бирото.

— Сохрани их! — торжественно и строго произнес Цезарь. — Это все, что у него было. Они принадлежат к тому же нашей дочери и помогут нам прожить, ничего не прося у кредиторов.

— Кредиторы решат, что ты припрятал крупные деньги.

— Я покажу им письмо.

— Они скажут, что оно написано для отвода глаз.

— О господи! — в ужасе воскликнул Бирото. — Ведь и я так думал о несчастных людях, которым приходилось, вероятно, столь же тяжко, как и мне сейчас.

Встревоженные состоянием Цезаря, мать и дочь сидели возле него в глубоком молчании с шитьем в руках. В два часа ночи Попино приоткрыл осторожно дверь гостиной и знаками вызвал г-жу Бирото. Увидев племянницу, Пильеро снял очки.

— Не все потеряно, дитя мое, — сказал он, — есть еще кое-какая надежда; но мужу твоему не вынести волнений, связанных с попытками переговоров, и мы с Ансельмом возьмем эти переговоры на себя. Оставайся завтра в лавке и записывай адреса всех, кому следует по векселям. У нас есть время до четырех часов. Вот мой план: ни господина Рагона, ни меня опасаться не приходится. Предположим теперь, что ваши сто тысяч франков, находившиеся у Рогена, пошли бы действительно на приобретение земельных участков — у вас их так же не было бы, как нет и сейчас. Вы должны уплатить сто сорок тысяч франков по векселям, выданным Клапарону, — платить по ним вам пришлось бы во всяком случае. Разоряет вас, стало быть, не банкротство Рогена. Для уплаты по обязательствам у вас имеются сорок тысяч франков, которые вы рано или поздно сможете получить под свою фабрику, и на шестьдесят тысяч векселей Попино. Так что можно еще бороться, ибо потом вы сможете заложить ваши земельные участки в районе церкви Мадлен. Если ваш главный кредитор согласится пойти вам навстречу, я не пожалею своего состояния, продам ренту, пожертвую последним куском хлеба; и Попино все поставит на карту; вы будете, правда, всецело зависеть от малейшей случайности в торговле. Но от «Масла» можно ждать больших прибылей. Мы совещались с Попино и твердо решили поддержать вас в этой борьбе. О, я с радостью готов питаться черствым хлебом, если только на горизонте забрезжит успех. Но все зависит от Жигонне и компаньонов Клапарона. Мы с Попино часов в семь-восемь утра пойдем к Жигонне и, выяснив его намерения, будем знать, как нам держаться дальше.

Глубоко взволнованная Констанс бросилась в объятия дяди. Ее слезы и рыдания были красноречивее всяких слов. Ни Попино, ни Пильеро не подозревали, что Бидо, по прозвищу Жигонне, и Клапарон были, в сущности, все тем же дю Тийе, который жаждал прочесть в «Ведомостях» нижеследующее ужасное сообщение:

«Решение коммерческого суда об объявлении господина Цезаря Бирото, торговца парфюмерными товарами, проживающего в Париже, улица Сент-Оноре, дом № 397, несостоятельным должником, входит в силу впредь до изменения, с 16 января 1819 года. Присяжный попечитель Гобенхейм-Келлер, агент Молине».

Ансельм и Пильеро просидели над делами Цезаря до рассвета. В восемь часов утра оба самоотверженных друга, один — старый солдат, другой — новоиспеченный подпоручик, — которым лишь по доверенности предстояло познакомиться с жестокими терзаниями тех, кому приходилось подниматься по лестнице Бидо, по прозвищу Жигонне, — в глубоком молчании направились на улицу Гренета. Оба они страдали. Пильеро то и дело проводил рукой по лбу.

Улица Гренета — одна из тех парижских улиц, где множество лавчонок и где дома имеют самый отталкивающий вид. Здесь отвратительно грязно, как бывает обычно в кварталах, изобилующих ремесленными мастерскими, здания поражают своим убожеством. Старик Жигонне жил на четвертом этаже, в доме с окнами в мелких переплетах и с давно не мытыми стеклами. Лестница вела прямо на улицу. Привратница помещалась на антресолях, в каморке, куда свет проникал только из лестничной клетки. Все жильцы, кроме Жигонне, занимались каким-либо ремеслом; беспрестанно сновали туда и сюда рабочие. Ступеньки лестницы — вечно в грязи, жидкой или успевшей уже затвердеть, в зависимости от состояния погоды — завалены были всякими отбросами и сором. На каждой площадке этой зловонной лестницы бросалась в глаза какая-нибудь вывеска — железная табличка, покрытая красным лаком, на которой была выведена золотом фамилия владельца мастерской и изображены образцы его искусства. За дверьми, по большей части открытыми настежь, виднелись помещения — странное сочетание мастерской и жилья, и оттуда доносились дикие крики, свист и рычание — точно в зоологическом саду в четыре часа пополудни, во время кормежки зверей. В мерзкой конуре второго этажа изготовлялись дорогие подтяжки для модных магазинов Парижа, а на третьем, среди омерзительных отбросов, — изящнейшие картонные коробки, украшающие витрины лавок в день Нового года. Жигонне, обладая состоянием в миллион восемьсот тысяч франков, умер на четвертом этаже этого дома, покинуть который его не могли заставить ни уговоры, ни соблазнительные предложения племянницы, г-жи Сайяр, предоставлявшей в его распоряжение квартиру в особняке на площади Рояль.

— Ну, смелее, — сказал Пильеро, дернув ручку звонка в виде козьей ножки, висевшей у серой опрятной двери Жигонне.

Жигонне сам открыл им дверь. Два добровольных опекуна парфюмера, боровшегося с надвигающимся банкротством, прошли через первую комнату — холодную и чинную, с окнами без занавесей. Они уселись втроем во второй комнате; дисконтер расположился у камина с тлеющими под пеплом дровами. Зеленые папки с бумагами ростовщика и почти монашеская строгость затхлого, как погреб, кабинета леденящим холодом наполнили душу Попино. Он рассеянно посмотрел на дешевенькие голубоватые обои с пестрыми цветочками, уже лет двадцать пять покрывавшие стены, и перевел опечаленный взгляд на камин, украшенный часами в форме лиры и высокими синими севрскими вазами, богато оправленными позолоченной медью. Эти обломки крушения, подобранные Жигонне в разгромленном Версале, попали к нему из будуара королевы; но рядом с такими великолепными вещами стояли два жалких подсвечника из кованого железа, и этот чудовищный контраст напоминал об обстоятельствах, вследствие которых здесь очутились столь дорогие вазы.

— Я знаю, что вы пришли говорить не о себе, — сказал Жигонне, — а о великом Бирото. Так в чем же дело, друзья?

— Я знаю, что ничего нового вам не скажешь, — ответил Пильеро. — Мы будем поэтому кратки. У вас имеются векселя, выданные приказу Клапарона?

— Да.

— Не согласитесь ли вы обменять первые пятьдесят тысяч на векселя господина Попино, здесь присутствующего? С процентами за учет, разумеется.

Жигонне снял свой ужасный зеленый картуз, в котором, казалось, родился на свет, обнажил огромную лысину цвета свежего сливочного масла и, скорчив вольтеровскую гримасу, сказал:

— Вы мне хотите уплатить маслом для волос, а на что оно мне?

— Ну, раз вы шутите, остается только повернуть оглобли, — сказал Пильеро.

— Вы говорите, как истый мудрец, каковым вас по справедливости и считают, — льстиво улыбаясь, сказал Жигонне.

— Хорошо, а если я сделаю на векселях господина Попино передаточную надпись? — в качестве последней попытки предложил Пильеро.

— Вы — чистое золото, господин Пильеро, но мне не нужно золота, верните мне мое серебро.

Пильеро и Попино откланялись и вышли. Уже спустившись с лестницы, Попино все еще чувствовал, как дрожат у него ноги.

— И это человек? — спросил он Пильеро.

— Говорят, что да, — отвечал старик. — Запомни на всю жизнь эту короткую встречу, Ансельм! Ты только что наблюдал банк в его неприкрашенном виде. Непредвиденные обстоятельства — это винт давильного пресса, мы — виноград, а банкиры — винные бочки. Спекуляция с земельными участками, видимо, выгодное дело. Жигонне, или кто-то стоящий за ним, хочет задушить Цезаря, чтобы завладеть его долей: этим все сказано, и ничем тут не поможешь. Вот что такое банк: никогда не имей с ним дела!

Это мучительное утро началось с того, что г-жа Бирото первый раз в жизни записала адреса людей, приходивших к ней за своими деньгами, а рассыльного из банка отослала, не уплатив ему; в одиннадцать часов стойкая женщина, довольная уж тем, что ей удалось избавить мужа от этой муки, увидела возвращавшихся Ансельма и Пильеро, которых давно уже ждала со все возраставшей тревогой; Констанс прочла приговор на их лицах: банкротство было неминуемо.

— Он умрет с горя, — вырвалось у несчастной женщины.

— Я ему от души этого желаю, — сурово ответил Пильеро. — Но Цезарь так набожен, что единственный, кто может его сейчас спасти, — это аббат Лоро.

Пильеро, Попино и Констанс не решались дать Цезарю подписать подготовленный Селестеном баланс: они дожидались прихода его духовника, аббата Лоро, за которым пошел один из приказчиков. Приказчики были в отчаянии: они любили хозяина. К четырем часам почтенный пастырь явился, Констанс рассказала ему об обрушившемся на них несчастье, и аббат решительно направился к Цезарю наверх, как солдат, идущий на приступ.

— Я знаю, почему вы пришли! — вскричал Бирото.

— Сын мой, — сказал священник, — ваша покорность воле божьей мне давно известна; но теперь надо доказать ее на деле; устремите же ваши взоры на распятие, не спускайте с него глаз, думая об унижениях, которые претерпел спаситель рода человеческого, о том, как жестоки были его крестные муки, и тогда вы сможете перенести ниспосланные вам богом испытания.

— Мой брат — священник, и он уже подготовил меня, — сказал Цезарь, подавая духовнику письмо, которое как раз перед этим перечитывал.

— У вас достойный брат, — сказал г-н Лоро, — добродетельная и кроткая жена, нежная дочь, два истинных друга — ваш дядя и милый Ансельм, два снисходительных кредитора — Рагоны; все эти добрые души будут лить бальзам на ваши раны и помогут вам нести свой крест. Обещайте же мне проявить стойкость мученика и встретить удар судьбы мужественно.

Аббат кашлянул, чтобы предупредить находившегося в гостиной Пильеро.

— Моя покорность безгранична, — спокойно проговорил Цезарь. — Перед лицом бесчестья я должен думать лишь о том, как смыть его.

Голос несчастного парфюмера и весь его вид удивили Цезарину и священника. Между тем это было вполне естественно. Люди легче переносят несчастье уже случившееся, явное, чем жестокую неуверенность в судьбе, когда каждое мгновение приносит величайшую радость или бесконечное страдание.

— Двадцать два года я спал, а сегодня проснулся со своим дорожным посохом в руке, — сказал Цезарь, становясь снова туренским крестьянином.

При этих словах Пильеро заключил племянника в объятия. Цезарь увидел жену, Ансельма и Селестена. Бумаги, которые держал старший приказчик, были достаточно красноречивы. Цезарь спокойно посмотрел на окружающих; в их опечаленных взорах читалось дружеское участие.

— Одну минуту, — сказал он, снимая свой орден и протягивая его аббату Лоро. — Вы мне вернете этот крест обратно, когда я смогу носить его не стыдясь. Селестен, — прибавил он, обращаясь к приказчику, — приготовьте прошение о снятии с меня обязанностей помощника мэра. Господин аббат продиктует вам письмо, пометьте его четырнадцатым числом и велите Раге отнести господину де ла Биллардиеру.

Селестен и аббат Лоро спустились вниз. Около четверти часа в кабинете Цезаря царило глубокое молчание. Семья была поражена подобной твердостью. Наконец Селестен и аббат вернулись, и Цезарь подписал прошение об отставке. Когда Пильеро подал ему баланс, бедняга не мог подавить нервной дрожи.

— Господи, сжалься надо мной! — проговорил он и, подписав роковой документ, протянул его Селестену.

— Сударь, — сказал тогда Ансельм Попино, омраченное лицо которого озарилось внезапно лучом света, — сударыня, я имею честь просить у вас руки мадмуазель Цезарины.

При этих словах у всех, кроме Цезаря, выступили на глазах слезы; Бирото встал, взял Ансельма за руку и сказал ему глухим голосом:

— Дитя мое, ты не женишься на дочери банкрота.

Пристально посмотрев на парфюмера, Ансельм сказал:

— Если только мадмуазель Цезарина не отказывается выйти за меня замуж, — обещайте, сударь, в присутствии вашей семьи, дать согласие на наш брак в тот день, когда вы будете восстановлены в правах.

Наступило короткое молчание, все с волнением следили за сменой чувств, отражавшихся на измученном лице парфюмера.

— Обещаю, — произнес он наконец.

Ансельм с невыразимой нежностью взял руку Цезарины, которую она ему подала, и запечатлел на ней поцелуй.

— Вы тоже согласны? — спросил он.

— Да, — ответила Цезарина.

— Я, значит, стал наконец членом семьи и по праву могу заняться вашими делами, — с загадочным видом сказал он.

Ансельм поспешил уйти, чтобы не проявить радости, которая шла слишком вразрез с горем его патрона. Он, разумеется, не радовался банкротству Бирото, но любовь так всепоглощающа, так эгоистична! Даже Цезарина в глубине души испытывала волнение, противоречившее горечи, которой было переполнено ее сердце.

— Ну, раз мы уж так далеко зашли, — шепнул Пильеро на ухо Цезарине, — доведем дело до конца.

Госпожа Бирото сделала непроизвольное движение, выражавшее скорее муку, чем одобрение.

— Что ты собираешься дальше делать, племянник? — спросил Пильеро у Цезаря.

— Продолжать торговлю.

— Я бы не советовал, — сказал Пильеро. — Ликвидируй дело, раздай все кредиторам и не показывайся больше на бирже. Я нередко представлял себя в подобном положении. Ведь, занимаясь торговлей, нужно все предвидеть. Купец, не задумывающийся над возможностью банкротства, подобен полководцу, полагающему, что он не может потерпеть когда-нибудь поражения. Такой купец лишь наполовину коммерсант. Нет, я ни за что бы не стал продолжать торговлю. Зачем? Придется постоянно краснеть перед людьми, которых ты ввел в большие убытки, сносить их недоверчивые взгляды и молчаливые упреки! Я понимаю — гильотина!.. Секунда — и все кончено! Но чтобы голова у тебя отрастала и ее каждый день снова рубили — нет, я постарался бы избежать подобной пытки. Многие, обанкротившись, продолжают как ни в чем не бывало вести свои дела. Тем лучше для них! Они, значит, сильнее Клода Жозефа Пильеро. Если поведешь дело на наличные, — а именно так его и приходится вести, — скажут, что ты сумел припрятать денежки; если же ты остался без гроша, тебе никогда больше не оправиться. Нет уж! Отдай свой актив кредиторам, предоставь им продать дело и займись чем-либо другим.

— Но чем же? — спросил Цезарь.

— Ну, поищи какую-нибудь службу, — ответил Пильеро. — Мало ли у тебя влиятельных знакомых? Герцог и герцогиня де Ленонкур, госпожа де Морсоф, господин де Ванденес! Напиши им, пойди к ним; они пристроят тебя в штат королевского двора с окладом в тысячу экю, столько же заработает твоя жена, да и дочь, пожалуй, не меньше Положение не столь уж безнадежное! У вас втроем соберется до десяти тысяч франков в год. За десять лет ты сможешь выплатить сто тысяч франков, так как из заработка вам ничего не придется тратить: твоя жена и дочь будут получать у меня на расходы полторы тысячи франков, а что касается тебя самого — там видно будет.

Над этими мудрыми словами задумалась Констанс, а не Цезарь. Пильеро направился на биржу; она помещалась тогда в деревянной ротонде, вход в которую был с улицы Фейдо. Весть о банкротстве парфюмера Бирото, человека видного и возбуждавшего зависть, успела уже распространиться и вызвала немало толков среди крупных коммерсантов, настроенных в те времена конституционно. Коммерсанты-либералы смотрели на бал Бирото как на дерзкое посягательство на их права. Сторонники оппозиции считали патриотизм своей монополией. Роялистам разрешалось любить короля, но любовь к Франции была привилегией «левых»: народ принадлежал им. Власть была виновна в том, что ее представители праздновали событие, которым либералы желали воспользоваться исключительно в своих интересах. Падение человека, пользовавшегося покровительством двора, сторонника правительства, неисправимого роялиста, 13 вандемьера оскорбившего свободу, восставшего против славной Французской революции, вызвало сплетни и было встречено на бирже с шумной радостью. Пильеро хотел разузнать, каково общественное мнение, разобраться в нем. В одной из самых оживленных групп он увидел дю Тийе, Гобенхейма-Келлера, Нусингена, старика Гильома и его зятя Жозефа Леба, Клапарона, Жигонне, Монжено, Камюзо, Гобсека, Адольфа Келлера, Пальма, Шифревиля, Матифа, Грендо и Лурдуа.

— Вот как надо быть осмотрительным! — сказал Гобенхейм дю Тийе. — Ведь мои родственники едва не открыли кредита Бирото!

— Я попался на десять тысяч франков. Две недели тому назад я дал ему эту сумму под простую расписку, — сказал дю Тийе. — Но он оказал мне когда-то услугу, и я не стану жалеть об этой потере.

— Он поступал не лучше других, ваш племянник, — обратился Лурдуа к Пильеро. — Балы задавал! Я еще понимаю, когда мошенник старается пустить пыль в глаза, дабы внушить доверие; но чтобы человек, слывший образцом порядочности, прибегал к таким заведомо шарлатанским приемам, на которые мы неизменно попадаемся!..

— Вернее, набрасываемся, как пиявки! — пробормотал Гобсек.

— Доверяйте только тем, кто живет в конуре, подобно Клапарону, — заметил Жигонне.

— *Ну*, — обратился толстяк Нусинген к дю Тийе, — *фы хотели сыкрать со мной шутку, посылая ко мне фашефо Пирото. Не понимаю, пошему*, — сказал он, поворачиваясь к мануфактуристу Гобенхейму, — *этот Пирото не прислал ко мне са пятьютесятью тысяшами франкоф. Я пы их ему тал.*

— О нет, барон, — возразил Жозеф Леба. — Вам ведь было хорошо известно, что государственный банк его векселей не принял. Разве вы не направили их в учетный комитет? В деле этого несчастного Бирото, к которому я и сейчас питаю глубокое уважение, есть нечто крайне подозрительное...

Пильеро незаметно пожал руку Жозефа Леба.

— Действительно, все это совершенно необъяснимо, — сказал Монжено, — если только не предположить, что за спиной Жигонне скрываются банкиры, которые хотят задушить дело с участками в районе церкви Мадлен.

— С ним случилось то, что бывает неизменно, когда люди берутся не за свое дело, — заявил Клапарон, перебивая Монжено. — Займись Бирото распространением «Кефалического масла», вместо того чтобы скупать земельные участки в Париже и набивать на них цену, он только потерял бы свои сто тысяч у Рогена, но не обанкротился. Теперь он будет, наверно, работать под фирмой Попино.

— Остерегайтесь Попино, — изрек Жигонне.

Для всех этих негоциантов Роген был «несчастным» Рогеном, а парфюмер — «жалким» Бирото. Одного как бы оправдывала всепоглощающая страсть, вина другого усугублялась его чрезмерными притязаниями. Покинув биржу, Жигонне, по дороге на улицу Гренета, завернул на улицу Перрен-Гасслен и зашел к торговке орехами, г-же Маду.

— Ну как, толстуха? — со свойственным ему напускным добродушием сказал он. — Хорошо идет торговля?

— Помаленьку, — почтительно ответила г-жа Маду, подвигая ростовщику единственное кресло с той раболепной угодливостью, какую она проявляла некогда лишь по отношению к своему «дорогому покойнику».

Тетка Маду могла свалить с ног строптивого или чересчур нахального ломового извозчика, не побоялась бы пойти на приступ Тюильри 10 октября, она подтрунивала над своими лучшими покупателями и способна была бесстрашно обратиться к королю от имени торговок Центрального рынка; но Жигонне Анжелика Маду принимала с глубочайшим почтением. Она робела в его присутствии, дрожала под его сверлящим взглядом. Простые люди долго еще будут трепетать перед палачом, а Жигонне был палачом мелкой торговли. Ничья власть не почитается на Центральном рынке так, как власть человека, дающего деньги в рост. По сравнению с ним люди иных профессий — ничто! Даже правосудие в глазах рынка воплощается в полицейском комиссаре, человеке, с которым можно поладить. Но вид ростовщика, засевшего за своими зелеными папками, заимодавца, которого молят с замиранием сердца, пресекает всякую попытку шутить, сжимает горло, смиряет самый гордый взгляд и внушает почтительность простому люду.

— Вам что-нибудь от меня угодно? — спросила она.

— Ерунда, мелочь; приготовьтесь заплатить по векселям Бирото, куманек обанкротился, все его векселя предъявляются ко взысканию. Я пришлю вам завтра утром счет.

Глаза г-жи Маду сперва сузились, как у кошки, а затем вспыхнули огнем.

— Ах, негодяй! Ах, прощелыга! Явился сюда собственной персоной разводить турусы на колесах: я-де помощник мэра! Ах, мошенник! Так вот как теперь ведут дела! Нет больше у мэров совести! Правительство надувает нас! Ну, погоди же, он у меня заплатит!..

— Что ж, голубушка, каждый выкручивается в таких случаях, как может, — сказал Жигонне, легонько дрыгнув ногой, точно кошка, собирающаяся перескочить через лужицу, — привычка, которой он обязан был своим прозвищем. — Кое-кто из важных шишек тоже прикидывает, как бы половчее выпутаться из этого дела.

— Ладно, ладно, я уж постараюсь выудить свои орешки. Мари-Жанна! Башмаки и шаль! Да поживее! Не то получишь хорошую затрещину.

«Ну, заварится теперь каша в том конце улицы, — подумал Жигонне, потирая руки. — Скандал будет на весь квартал. Дю Тийе будет доволен. Не знаю, чем ему насолил этот бедняга парфюмер? Мне его жаль, как собаку с перебитой лапой. Что это за мужчина, ведь в нем силы — ни на грош!»

В семь часов вечера тетка Маду, словно восставшее Сент-Антуанское предместье, обрушилась на дверь несчастного Бирото и с яростью распахнула ее, ибо быстрая ходьба еще больше распалила торговку.

— Мерзавцы! Подавайте мои деньги! Сейчас же отдайте! Верните мне деньги, а не то я заберу у вас разных товаров на свои тысячу двести франков, — вееров, саше и всякой атласной дребедени! Где это видано, чтобы мэры обкрадывали население! Если вы мне не заплатите, я его на каторгу упеку: пойду к прокурору, весь суд на ноги поставлю! Отдавайте долг. С места не сойду, пока не получу своих денег!

Она сделала вид, что собирается поднять стекло одной из витрин, где разложены были дорогие безделушки.

— Ну и разобрало же тетку Маду, — тихо сказал Селестен стоявшему с ним рядом приказчику.

Торговка услыхала эти слова, — в пылу страсти восприятия наши притупляются или обостряются, в зависимости от строения организма, — и наградила Селестена самой увесистой пощечиной, отпущенной когда-либо в парфюмерной лавке.

— Научись, ангел мой, уважать женщин, — сказала она, — и не задевать людей, которых обкрадываешь.

— Сударыня, — сказала г-жа Бирото, выходя из комнаты за лавкой, где случайно находился ее муж: дядя Пильеро хотел было увести его, но Цезарь дошел в своем самоуничижении до того, что не стал бы противиться, если бы его, согласно закону, посадили в тюрьму. — Сударыня, не кричите ради бога. Прохожие соберутся.

— Пусть их собираются, — закричала торговка, — я им все начистоту выложу. Да вы что, смеетесь? Прикарманиваете мои потом заработанные деньги, мой товар и задаете балы! Вон вы как разодеты, точно французская королева, а шерсть-то на платья стрижете с бедных ягнят вроде меня! Господи Иисусе! Мне бы плечи жгло краденое добро. На мне простая, дешевенькая шаль, да зато она моя! Воры, грабители, верните мне деньги, а не то...

Она бросилась к красивой мозаичной шкатулке с дорогими туалетными принадлежностями.

— Не трогайте этого, сударыня, — сказал, появляясь, Цезарь. — Здесь уже ничего моего нет, все принадлежит кредиторам. Единственная моя собственность — это я сам, и если вы предъявляете на меня права, хотите засадить меня в тюрьму, даю вам честное слово (на глазах у него выступили слезы), что буду ждать здесь судебного пристава с понятыми...

Тон и жесты Бирото, в сочетании с его словами, утихомирили г-жу Маду.

— Мой капитал похитил сбежавший нотариус, и я неповинен в том, что разоряю людей, — продолжал Цезарь, — но я все полностью уплачу вам со временем, хотя бы мне пришлось для этого уморить себя на работе, стать чернорабочим или носильщиком на рынке...

— Ну, вы, видно, честный человек, — заявила торговка. — Простите меня за мои слова, сударыня. Но мне хоть утопиться впору, ведь Жигонне меня изведет, а для расплаты по этим вашим проклятым распискам у меня нет ничего, кроме векселей, срок которым не раньше чем через десять месяцев.

— Зайдите ко мне завтра утром, — сказал, входя в лавку, Пильеро, — я устрою вам учет этих векселей по пяти процентов у одного из моих приятелей.

— Стойте! Да это почтенный папаша Пильеро! Он ведь и впрямь ваш дядя, — обратилась г-жа Маду к Констанс — Ну, значит, вы люди честные, мое добро за вами не пропадет, правда? До завтра, старый Брут, — сказала она бывшему торговцу скобяными товарами.

Цезарь непременно хотел остаться среди развалин своего благополучия: он заявил, что так же будет объясняться со всеми кредиторами. Невзирая на мольбы племянницы, дядюшка Пильеро, хитрый старик, одобрил его решение, а потом заставил парфюмера подняться наверх. Поспешив к г-ну Одри, он объяснил доктору положение вещей, получил рецепт на снотворное, заказал его и вернулся к племяннику, чтобы провести с ним вечер. С помощью Цезарины он уговорил Цезаря выпить с ними вина. Под действием снотворного Бирото уснул; он очнулся через четырнадцать часов на улице Бурдонне, в спальне дядюшки Пильеро, в плену у старика, который сам лег спать на складной кровати в гостиной. Когда застучали колеса фиакра, увозившего Пильеро и Цезаря, мужество покинуло Констанс. Наши силы часто поддерживает лишь сознание, что мы должны служить опорой для существа более слабого, чем мы. Оставшись одна с дочерью, несчастная женщина рыдала так горько, словно оплакивала смерть мужа.

— Мама, — сказала Цезарина, усевшись на колени к матери и ласкаясь к ней, словно котенок, с той милой непосредственностью, которая проявляется лишь в отношениях женщин друг к другу. — Ты говорила, что если я мужественно встречу перемену в своей судьбе, то и ты найдешь силы перенести несчастье. Не плачь же, дорогая мамочка. Я готова пойти служить в какую-нибудь лавку и не буду вспоминать, кем мы были раньше, я стану, как и ты в молодости, старшей продавщицей, и ты никогда не услышишь от меня ни жалоб, ни сожалений о прошлом. Я буду жить надеждой. Разве ты не слыхала, что сказал господин Попино?

— Милый мальчик, он не будет мне зятем...

— Ах, мама!..

— Он будет для меня родным сыном.

— Ну, вот видишь, даже в беде есть кое-что хорошее, — сказала Цезарина, целуя мать, — она помогает нам узнать истинных друзей.

Цезарине удалось в конце концов смягчить горе несчастной женщины, окружив ее нежностью, в которой было теперь что-то материнское. На другой день Констанс отправилась с утра к герцогу де Ленонкуру, одному из камергеров короля, и оставила ему письмо: она просила назначить час, когда он сможет ее принять. Затем она зашла к г-ну де ла Биллардиеру, рассказала ему, в какое положение попал Бирото из-за бегства нотариуса, умоляя поддержать ее просьбу перед герцогом и похлопотать за нее, ибо она опасалась, что сама плохо изложит дело. Она хотела получить место для Бирото, — он был бы самым честным кассиром, если можно говорить о степени честности.

— Король только что поручил графу де Фонтэну одну из важных должностей в управлении министерством двора, времени терять нельзя.

В два часа дня ла Биллардиер и жена парфюмера поднялись по парадной лестнице особняка де Ленонкура на улице Сен-Доминик; они были введены к камергеру, пользовавшемуся особым благоволением Людовика XVIII, — если только верно, что король выказывал кому-либо предпочтение. Любезный прием со стороны вельможи, принадлежавшего к горсточке истинных аристократов, завещанных прошлым веком нынешнему веку, обнадежил г-жу Бирото. Жена парфюмера проявила в своей скорби простоту и душевное величие. Горе облагораживает даже самых заурядных людей, ибо в нем заключено нечто возвышенное, и достаточно быть просто искренним, чтобы отразить на себе его отблеск; а Констанс была женщиной глубоко правдивой. Решено было как можно скорее обратиться с ходатайством к королю.

Во время разговора доложили о приходе г-на де Ванденеса, и герцог воскликнул:

— Вот ваш спаситель!

Господин де Ванденес знал немного г-жу Бирото, ибо раза два заходил к ней в лавку за какими-то безделицами, которые иной раз бывают не менее необходимы, чем вещи самые важные. Герцог сообщил ему о намерении де ла Биллардиера. Узнав о несчастье, постигшем крестника маркизы д'Юкзель, Ванденес тотчас же направился вместе с ла Биллардиером к графу де Фонтэну, попросив г-жу Бирото дождаться их возвращения.

Граф де Фонтэн, как и ла Биллардиер, принадлежал к числу храбрых провинциальных дворян, почти безвестных участников восстания в Вандее. Бирото был ему немного знаком, он встречал его когда-то в «Королеве роз». Люди, проливавшие свою кровь за дело короля, пользовались в те времена привилегиями, которые монарх предпочитал не предавать огласке, чтобы не отпугнуть либералов. Г-н де Фонтэн, один из любимцев Людовика XVIII, был удостоен, по слухам, полного доверия короля. Граф не только твердо пообещал дать Бирото какое-нибудь место, но даже сам направился к герцогу де Ленонкуру, дежурившему в тот вечер во дворце, чтобы испросить для себя короткую аудиенцию у короля, а для ла Биллардиера — аудиенцию у брата короля, который очень любил этого бывшего вандейского дипломата.

В тот же вечер граф де Фонтэн прямо из Тюильри заехал к г-же Бирото сообщить, что муж ее, после соглашения с кредиторами, будет официально зачислен на службу в комиссию погашения государственного долга с окладом в две тысячи пятьсот франков. Все вакантные должности в министерстве двора были уже заняты сверхштатными служащими из дворян, которым места эти были заранее обещаны.

Успех этот разрешал лишь часть задачи, взятой на себя г-жой Бирото. Бедная женщина направилась на улицу Сен-Дени в «Дом кошки, играющей в мяч» — повидать Жозефа Леба. По дороге она повстречала г-жу Роген, ехавшую в великолепном экипаже, по-видимому за покупками. Их взгляды скрестились. Чувство стыда, которое женщина, живущая в роскоши, не могла скрыть при виде женщины разоренной, придало Констанс мужества.

«Нет, никогда я не стану разъезжать на чужой счет в карете», — подумала она.

Жозеф Леба приветливо принял ее, и Констанс попросила его подыскать для Цезарины место в какой-нибудь солидной коммерческой фирме. Леба ничего не обещал; но уже через неделю Цезарина получила место, дававшее ей стол, квартиру и тысячу экю жалованья, — в богатой парижской фирме модных новинок, незадолго перед тем открывшей отделение в районе Итальянского бульвара. Дочери парфюмера была доверена касса и надзор за магазином; Цезарина, в подчинении у которой находилась старшая продавщица, замещала в отделении владельцев фирмы.

Госпожа Бирото посетила в тот же день и Попино; она просила его поручить ей кассу и ведение торговых книг, а также наблюдение за хозяйством. Ансельм понял, что его лавка — единственное место, где жена парфюмера будет окружена подобающим ей уважением и займет достойное ее положение. Великодушный юноша назначил ей три тысячи франков жалованья в год со столом и квартирой — он уступил Констанс свою комнату, которую специально для нее обставил, а сам перебрался в мансарду, где жил до тех пор один из его приказчиков. Прекрасной парфюмерше, только один месяц прожившей в своей роскошной квартире, пришлось поселиться в той отвратительной, выходившей на темный и сырой двор конурке, где Годиссар, Ансельм и Фино положили начало «Кефалическому маслу».

Когда Молине, которого коммерческий суд назначил агентом, пришел принять актив Цезаря Бирото, Констанс, с помощью Селестена, проверила вместе с ним инвентарную опись. Затем мать и дочь, скромно одетые, вышли из лавки и пешком направились к дяде Пильеро, даже не оглянувшись на дом, где прошла значительная часть их жизни. Они молча дошли до улицы Бурдонне и впервые после отъезда Цезаря вместе с ним там пообедали. Обед был невеселый. Каждый успел уже поразмыслить, взвесить тяжесть взятых на себя обязательств, испытать свое мужество. Подобно матросам, глядящим в глаза опасности, все трое готовы были вступить в борьбу с ненастьем. Бирото воспрянул духом, узнав, какое внимание проявили к нему сильные мира сего, устраивая его судьбу; но, услышав о том, что ожидает его дочь, Цезарь заплакал; потом пожал руку Констанс, оценив мужество, с которым жена его снова взялась за работу.

Дядюшка Пильеро, быть может в последний раз в своей жизни, прослезился при виде трогательного зрелища, которое являли собой эти три существа: они крепко обняли друг друга, и Цезарь, самый слабый и самый удрученный из них, подняв руку, воскликнул:

— Будем надеяться!

— Для экономии, — сказал племяннику Пильеро, — ты поселишься у меня; оставайся в моей комнате, и я разделю с тобой кусок хлеба. Одиночество давно тяготит меня, ты мне заменишь бедное дитя, которое я потерял. До твоей Комиссии на улице Оратуар отсюда рукой подать.

— Боже милостивый, — воскликнул Бирото, — вот моя путеводная звезда во мраке непогоды!

Покорившись своей участи, несчастный уже испил до дна чашу горечи. Падение Бирото в этот миг завершилось, и он, приняв его, почувствовал прилив сил.

Объявив о своей несостоятельности, купец, казалось бы, должен заботиться лишь о том, чтобы отыскать во Франции или за границей какой-нибудь тихий уголок, где он мог бы жить, ни во что не вмешиваясь, подобно ребенку, каковым он и является с точки зрения закона, приравнивающего его к несовершеннолетним и воспрещающего ему совершать какие бы то ни было юридические акты как в области гражданского, так и публичного права. На деле же это не так. Прежде чем рискнуть появиться на улице, банкрот ждет охранной грамоты, в которой ему никогда не отказывают ни присяжный попечитель, ни кредиторы, ибо его посадили бы за решетку, встретив без этой охранной грамоты; получив спасительный пропуск, несостоятельный должник расхаживает, как парламентер по вражескому стану — и не любопытства ради, а чтобы помешать осуществлению направленного против него безжалостного закона о банкротах. Любой закон, касающийся частной собственности, порождает множество мошеннических уловок. Как и всякий, чьи интересы находятся в противоречии с каким-либо законом, банкрот стремится обойти этот закон. Состояние гражданской смерти, во время которой банкрот уподобляется куколке бабочки, длится около трех месяцев — время, потребное для совершения формальностей, предшествующих собранию кредиторов, где между ними и должником подписывается мирный договор, полюбовная сделка, называемая соглашением. Уже само это название указывает, что после бури, вызванной столкновением резко противоречащих друг другу интересов, водворяется согласие.

Рассмотрев баланс несостоятельного должника, коммерческий суд назначает присяжного попечителя, который должен блюсти интересы кредиторов как известных, так и еще не объявившихся и охранять в то же время банкрота от притеснений разъяренных заимодавцев; эта двойная роль была бы великолепной, если бы только у присяжных попечителей хватало на нее времени. Присяжный попечитель облекает агента правом налагать арест на капиталы, ценности, товары должника, проверив показанный в балансе актив; затем канцелярия коммерческого суда назначает общее собрание кредиторов, о чем и доводится до сведения публики трубным гласом газетных объявлений. Кредиторам — подставным и настоящим — предлагают собраться и избрать сообща временных синдиков, которые заменяют агента и, в силу допускаемой законом фикции, как бы влезают в шкуру банкрота и становятся им самим: они могут ликвидировать, продавать, вступать в сделки — словом, делать все что угодно в интересах кредиторов, если только несостоятельный должник этому не воспротивится. В большинстве парижских банкротств дело не заходит дальше назначения временных синдиков, и вот почему.

Назначение одного или нескольких постоянных синдиков — самый жестокий акт мести, к которому могут прибегнуть обманутые, осмеянные, одураченные, попавшиеся на удочку, околпаченные, обворованные, облапошенные кредиторы. Хотя кредиторы и бывают обычно облапошены, обворованы, околпачены, пойманы на удочку, одурачены, осмеяны и обмануты, все же в коммерческом мире Парижа нет таких страстей, которые не улеглись бы за три месяца. Только подлежащие оплате торговые векселя могут находиться в обороте столь длительный срок. Через три месяца все кредиторы, измучившись от хлопот и волнений, связанных с банкротством их должника, мирно спят возле своих добрейших женушек. Все это может помочь иностранцу понять, почему в Париже временное часто становится постоянным: из тысячи временных синдиков не наберется и пяти, которые фактически не оказались бы постоянными. Отчего стихает ненависть, вызванная банкротством, станет ясным из дальнейшего. Но необходимо объяснить людям, не имеющим удовольствия быть купцами, как протекает в Париже драма банкротства, дабы им стало понятно, каким образом драма эта превращается в чудовищное издевательство над законом и почему банкротству Цезаря суждено было сделаться поразительным исключением из правила.

В этой захватывающей коммерческой драме три акта: акт первый — агент; акт второй — синдики; акт третий — соглашение. Подобно любому театральному представлению, она являет собой двойное зрелище: постановку, рассчитанную на публику, и скрытые от зрителей технические средства; представление, видимое из партера, и представление, наблюдаемое из-за кулис. За кулисами — банкрот и его поверенный, адвокат кредиторов, синдики, агент и, наконец, присяжный попечитель.

Вне Парижа никто не знает, а в Париже ни для кого не тайна, что член коммерческого суда — самое диковинное из должностных лиц, когда-либо созданных обществом. Такой судья должен опасаться, что в любой момент меч правосудия может обернуться против него самого. Парижу уже довелось видеть, как председатель коммерческого суда вынужден был объявить самого себя несостоятельным. Вместо того чтобы доверить эту почетную должность пожилому, удалившемуся от дел коммерсанту, для которого она являлась бы наградой за честно прожитую жизнь, ее поручают купцу, ворочающему огромными делами, главе какой-нибудь крупной фирмы. На должность судьи, которому надлежит разбираться в бесчисленных коммерческих процессах, лавиной обрушивающихся на столицу, почему-то всегда избирают человека, перегруженного собственными делами. Вместо того чтобы служить переходной ступенью, с помощью которой купец, не возбуждая насмешек, мог бы проникнуть в ряды знати, коммерческий суд составляется из коммерсантов, не удалившихся еще от дел, а потому рискующих пострадать от мести за вынесенный приговор, столкнувшись на деловой почве с недовольной стороной; так Бирото пострадал от мести дю Тийе.

Присяжный попечитель по необходимости оказывается, таким образом, персонажем, к которому обращено множество слов; он их едва выслушивает, думая при этом о собственных делах и передоверяя свои полномочия в делах общественных синдикам и поверенному, за исключением тех интересных случаев, когда надувательство приняло особо любопытную форму и кредиторы или должник, как говорится, «настоящие ловкачи». Персонаж этот, играющий в драме ту же роль, что бюст короля в зале судебных заседаний, бывает между пятью и семью часами утра на своем лесном складе, если торгует лесом; в лавке — если он парфюмер, как был когда-то Бирото; его можно застать еще дома, после обеда, за десертом; но он вечно при этом куда-то торопится. Как правило, это — действующее лицо без слов. Воздадим должное закону: законодательство но этому вопросу создано наспех и связывает руки присяжному попечителю, так что в ряде случаев он вынужден покрывать мошеннические проделки, помешать которым, как это станет ясно из дальнейшего, он не в силах.

Вместо того чтобы блюсти интересы кредиторов, агент может держать руку должника. Каждый кредитор надеется увеличить свою долю, добившись предпочтения у банкрота, который — как все подозревают — припрятал кучу денег. Агент может быть полезен обеим сторонам: банкроту — не топя его окончательно, кредиторам — урвав кое-что для влиятельнейших из них; он, стало быть, старается, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Ловкий агент нередко добивается отмены судебного решения и, скупив векселя, помогает встать на ноги несостоятельному должнику, который подскакивает тогда вверх, как резиновый мяч. Агент переходит на ту сторону, где кормушка лучше, и либо ограждает интересы кредиторов в ущерб должнику, либо жертвует их интересами во имя будущности банкрота. Таким образом, первый акт, где на сцену выступает агент, — уже предопределяет развязку пьесы. Агент и поверенный коммерческого суда могут сыграть в пьесе важнейшую роль, и оба они берутся за исполнение ее, лишь будучи уверены в гонораре. Из тысячи банкротств в девятистах пятидесяти случаях агент держит руку банкрота. В те времена, к которым относится наш рассказ, поверенные являлись обычно к присяжному попечителю и предлагали ему назначить агентом их ставленника, который якобы хорошо знаком с делами банкрота и может примирить интересы заимодавцев с интересами попавшего в беду почтенного человека. И вот уже несколько лет, как опытные присяжные попечители просят указать им желательного кандидата в агенты, с тем чтобы отвести его кандидатуру и самим назначить человека, кажущегося им порядочным.

Во втором акте появляются на сцене кредиторы — подставные и настоящие, — чтобы избрать временных синдиков, которые, как уже было сказано, фактически оказываются постоянными. На собрании кредиторов право голоса имеют и те, кому следует пятьдесят тысяч франков, и те, кому причитается пятьдесят су: голоса там подсчитываются, но не взвешиваются. Собрание это, где присутствуют и подобранные банкротом подставные кредиторы, — они-то уж наверняка никогда не пропускают выборов, — намечает кандидатов, из числа которых присяжный попечитель, председатель, не имеющий никакой власти, *обязан* выбрать синдиков. Таким образом, присяжный попечитель почти всегда получает синдиков, удобных банкроту, — второе злоупотребление, обращающее трагедию банкротства в одну из наиболее шутовских комедий, пользующихся покровительством закона. «Попавший в беду почтенный человек», становясь хозяином положения, облекает в законную форму заранее обдуманную им кражу. Впрочем, мелкие парижские торговцы обычно не заслуживают подобных упреков. Если какой-нибудь лавочник прекращает платежи, то, поверьте, бедняга продал уже шаль жены, заложил столовое серебро, сделал все, что мог, и разорился дотла, так что не имеет даже возможности уплатить поверенному коммерческого суда, который, кстати сказать, очень мало о нем тревожится.

По закону, соглашение, снимающее с купца часть его долга и возвращающее ему право вести дела, должно быть принято при голосовании большинством кредиторов, которым принадлежит большая часть суммы претензий. Достигнуть такого решения — задача нелегкая, так как тут сталкиваются противоположные интересы; поэтому должнику, синдикам и поверенному приходится проявлять немалые дипломатические таланты. Самое заурядное, обычное ухищрение состоит в том, что должник предлагает части кредиторов, образующей требуемое законом большинство, некую добавочную мзду, помимо полагающегося им по соглашению дивиденда. Бороться с этим грандиозным жульничеством невозможно: тридцать сменивших друг друга коммерческих судов убедились в этом на собственном опыте и, наученные им, решились в конце концов признавать недействительными дутые векселя. Банкроты жалуются на это «насилие», но судьи надеются оздоровить таким образом нравственную атмосферу конкурсных управлений; однако они сделают ее еще хуже: кредиторы изобретут какой-нибудь еще более жульнический прием, который члены коммерческого суда заклеймят как судьи и будут пользоваться им в своих интересах как купцы.

Другой, весьма распространенный способ, которому мы обязаны выражением *солидный* и *законный кредитор*, состоит в создании фиктивных кредиторов, подобно тому как дю Тийе создал фиктивный банкирский дом; в конкурс вводится в таких случаях определенное количество Клапаронов, за которыми скрывается банкрот; уменьшив, таким образом, долю настоящих кредиторов, он сколачивает себе средства на будущее и в то же время обеспечивает необходимое для соглашения количество голосов и требуемую по закону сумму претензий.

*Дутые* и *незаконные кредиторы* — это то же, что подставные избиратели на выборах. Что может поделать *солидный* и *законный кредитор* с *дутыми* и *незаконными* ? Вывести их на чистую воду и избавиться от них? Хорошо. Но чтобы изгнать незаконно втершегося *дутого кредитора*, кредитор *солидный* и *законный* должен забросить свои дела и обратиться к поверенному коммерческого суда; вышеуказанный же поверенный, почти ничего на этом деле не зарабатывая, предпочитает «руководить» конкурсами, а порученную ему тяжбу ведет в высшей степени небрежно. Чтобы изгнать *дутых кредиторов*, приходится вникать в запутанные операции, обращаться к событиям давно минувшим, рыться в торговых книгах, добиваться через суд, чтобы мнимый кредитор представил свои книги, выявлять неправдоподобие фиктивной сделки и доказать это перед судьями, выступать в суде, бегать, суетиться, подогревать немало холодных сердец; такую донкихотскую борьбу приходится вести с каждым *дутым* и *незаконным* кредитором, который, будучи уличен в том, что он дутый, удаляется, раскланявшись с судьями и заявив им: «Простите, но вы ошибаетесь, я очень *солидный* кредитор». И все это нисколько не нарушает прав несостоятельного должника, который может подать на Дон-Кихота жалобу в суд. Тем временем собственные дела Дон-Кихота приходят в расстройство, и ему самому чуть ли не угрожает банкротство.

Вывод: несостоятельный должник сам назначает синдиков, сам проверяет свои долговые обязательства, сам устраивает соглашение.

Приняв все это во внимание, каждый поймет, какие возможности открывает банкротство для всяческих интриг, фокусов Сганареля, выдумок Фронтена, врак Маскариля и плутней Скапена. Сочинителю, пожелавшему описать их, любое банкротство может дать материал, которого хватило бы на четырнадцать томов новой «Клариссы Гарлоу»[[24]](#footnote-24). Достаточно привести хотя бы один пример.

Знаменитый Гобсек, наставник всех этих Пальма, Жигонне, Вербрустов, Келлеров и Нусингенов, участвуя однажды в конкурсном управлении и намереваясь круто разделаться с надувшим его купцом, получил от него векселя, подлежавшие оплате после соглашения; векселя эти вместе с приходившейся на долю ростовщика частью дивиденда полностью покрывали его претензии к банкроту. Стараниями Гобсека было достигнуто соглашение о снятии с несостоятельного должника семидесяти пяти процентов его долга. Остальных кредиторов, таким образом, обошли в пользу Гобсека. Но так как купец подписал выданные Гобсеку векселя уже будучи банкротом, то есть незаконно, то ему удалось распространить и на них установленную соглашением семидесятипятипроцентную скидку, и Гобсек — сам великий Гобсек! — лишь с трудом получил пятьдесят процентов. С тех пор он при встрече неизменно отвешивал своему должнику иронически почтительный поклон.

Все сделки, заключенные несостоятельным должником в последние десять дней до банкротства, могут быть опорочены; и вот предусмотрительные люди заблаговременно договариваются с теми из кредиторов, которые, так же как и банкрот, заинтересованы в том, чтобы поскорее достичь соглашения. Кредиторы-хитрецы отправляются к кредиторам-простакам или кредиторам, чрезмерно загруженным делами, описывают им предстоящее соглашение в самых мрачных красках и скупают у них векселя банкрота за полцены против того, что они будут стоить при окончательной ликвидации. Таким путем они умудряются вернуть свои денежки, получая, кроме дивиденда, причитающегося им по их собственным претензиям, еще и половину, треть или четверть дивиденда по скупленным ими обязательствам.

Банкротство захлопывает более или менее плотно все входы в дом, где после грабежа все еще остается несколько мешков с деньгами. Благо купцу, который, изловчившись, проникнет туда через окно, крышу, погреб или пролезет в какую-нибудь щель и, захватив один из мешков, увеличит таким образом свою долю! Среди разгрома, когда кричат, как при переправе через Березину[[25]](#footnote-25): «Спасайся, кто может!» — нет больше разницы между законным и незаконным, истинным и ложным, честным и бесчестным. Человеком восторгаются, если он сумел себя *обеспечить*. А «обеспечить» себя — значит захватить какие-нибудь ценности в ущерб прочим кредиторам. Вся Франция полна была шумных споров по поводу грандиозного банкротства, разразившегося в одном из провинциальных городов; дело это поступило в королевский суд; судьи, имевшие текущие счета у банкротов, запаслись непромокаемыми плащами такой прочности, что от мантии правосудия не осталось ничего, кроме лохмотьев. Ввиду сомнения в беспристрастии судей пришлось передать разбирательство дела в другой судебный округ, ибо в городе, где произошло банкротство, не оказалось ни одного неподкупного члена суда, ни одного беспристрастного присяжного попечителя или агента.

Эта ужасающая коммерческая неразбериха прекрасно известна всему парижскому торговому миру, и любой купец, если только он не пострадал на слишком уж значительную сумму, как бы мало он ни был загружен делами, принимает чужое банкротство, как несчастный случай, от которого никто не застрахован; списав свои потери со счета прибылей и убытков, он, не тратя времени даром, продолжает обделывать свои дела. А мелкие торговцы, которые в последних числах каждого месяца не знают, как свести концы с концами, и упорно гонятся за удачей, страшатся одной мысли о долгом и разорительном судебном процессе; не пытаясь разобраться в этом процессе, они, по примеру крупных коммерсантов, покорно склоняют голову и подсчитывают свои убытки.

Крупные коммерсанты больше уже не прибегают к банкротству, они полюбовно ликвидируют дело: кредиторы берут то, что им соблаговолят предложить, и выдают расписки. Таким путем удается избегнуть бесчестия, судебной волокиты, расходов на поверенных коммерческого суда и обесценения товаров. Каждый считает, что банкротство должника дало бы ему меньше, чем ликвидация. В Париже поэтому больше ликвидации, нежели банкротств.

Второй акт драмы, где действуют синдики, призван доказать их неподкупность и убедить всех в том, что не может быть и речи о каком-либо мошенническом сговоре между ними и банкротом. Но зрителям, почти каждый из которых был синдиком, известно, что синдик — это *обеспечивший себя кредитор*. Зрители в партере слушают, верят лишь тому, что им выгодно, и после трех месяцев, затраченных на проверку актива и пассива, приходят подписывать соглашение. Временные синдики делают тогда собранию кредиторов небольшой доклад, составленный приблизительно в таких выражениях:

«Господа, всем нам в общей сложности следует миллион. Мы разобрали нашего должника на части, как потерпевший крушение фрегат. Гвозди, железо, дерево, медь дали в общей сложности триста тысяч франков, то есть тридцать процентов того, что он нам должен. Мы счастливы, что налицо оказалась такая сумма, ибо должник мог нам оставить и не более сотни тысяч франков. Мы объявляем его поэтому новым Аристидом, присуждаем ему поощрительную премию, венчаем его лаврами и предлагаем оставить ему его актив, рассрочив на десять — двенадцать лет уплату тех пятидесяти процентов долга, которые он соблаговолил нам обещать. Вот соглашение; подходите к столу и подписывайтесь».

Выслушав это сообщение, ликующие негоцианты обнимаются и поздравляют друг друга. По утверждении соглашения судом должник вновь становится таким же негоциантом, каким был до банкротства: ему возвращается его актив, он продолжает вести свои дела, не лишаясь при этом права вновь объявить себя несостоятельным, чтобы не заплатить обещанных пятидесяти процентов долга; это, так сказать «внучатное», банкротство наблюдается не реже, чем рождение ребенка матерью, за девять месяцев до того выдавшей свою дочь замуж.

Если не удалось прийти к соглашению, кредиторы назначают постоянных синдиков и прибегают к чрезвычайным мерам: объединившись, они приступают сообща к извлечению дохода из имущества и торгового дела должника, присваивая себе и то, что ему предстоит получить в будущем — наследство от отца, матери, тетки и прочее. Эта суровая мера осуществляется с помощью договора о товариществе.

Существуют, таким образом, два вида банкротства: банкротство купца, желающего вернуться к делам, и банкротство купца, который, потерпев крушение, покорно идет ко дну. Разница между ними была хорошо известна Пильеро: он считал — и Рагон разделял его мнение, — что из банкротства первого рода так же трудно выйти незапятнанным, как из банкротства второго рода — богатым.

Посоветовав Цезарю отказаться полностью от своих имущественных прав, Пильеро обратился к самому честному из имевшихся на бирже поверенных коммерческого суда с просьбой описать имущество банкрота, ликвидировать его и передать все ценности в распоряжение кредиторов. Закон обязывает кредиторов в течение всей драмы банкротства содержать несостоятельного должника и его семью. Пильеро довел, однако, до сведения присяжного попечителя, что сам берет на себя заботы о нуждах своего племянника и племянницы.

Дю Тийе подготовил все таким образом, чтобы банкротство обратилось для его бывшего хозяина в длительную агонию. Вот на что он рассчитывал.

В Париже время дорого, и из двух синдиков обычно лишь один занимается делами несостоятельного должника. Другой существует для проформы: он только подписывает документы, подобно второму нотариусу при совершении нотариальных актов. А синдик, занимающийся делами банкрота, сплошь да рядом всецело полагается на поверенного при коммерческом суде. Благодаря этому в Париже при банкротстве первого рода конкурс проводится так быстро, что в установленный законом срок все бывает устроено, улажено, увязано и приведено в порядок! Через три месяца присяжный попечитель уже может повторить жестокие слова некоего министра: «В Варшаве царит порядок!»

Дю Тийе добивался коммерческой смерти парфюмера. Одни уж имена синдиков, назначенных происками дю Тийе, были для Пильеро достаточно показательны. Главный кредитор, г-н Бидо, по прозвищу Жигонне, ни во что не должен был вмешиваться. Вершить же все дела предстояло плюгавому, въедливому старикашке Молине, ничего не терявшему на банкротстве. Дю Тийе бросил труп достойного купца на растерзанье и на съеденье этому маленькому шакалу. После собрания, на котором кредиторы назначили синдиков, маленький Молине вернулся домой, *облеченный*, как он выразился, *доверием своих сограждан*; он был в восторге от того, что будет теперь командовать Бирото, словно ребенок, радующийся возможности помучить пойманного кузнечика. Оседлав своего любимого конька — законность, домовладелец попросил дю Тийе не оставлять его своими советами и запасся Торговым уставом. Жозеф Леба, предупрежденный Пильеро, успел, к счастью, своевременно добиться у председателя коммерческого суда назначения присяжным попечителем человека проницательного, известного своей доброжелательностью. И Гобенхейм-Келлер, на назначение которого рассчитывал дю Тийе, был заменен членом коммерческого суда Камюзо, богатым торговцем шелками, либералом, владельцем дома, где проживал Пильеро, и, по слухам, человеком почтенным.

Едва ли не самой мучительной сценой в жизни Цезаря был его вынужденный разговор со старикашкой Молине, казавшимся ему полным ничтожеством; теперь же, в силу юридической фикции, человек этот олицетворял его самого, Цезаря Бирото.

Парфюмеру пришлось отправиться вместе с дядей в Батавское подворье, взобраться на седьмой этаж и снова войти в ужасное жилище Молине, своего опекуна, представителя всех кредиторов, получившего право судить его.

— Что с тобой? — спросил Пильеро, услышав вырвавшееся у Цезаря восклицание.

— Ах, дядя! Вы и не представляете себе, что за человек этот Молине!

— Я уже лет пятнадцать встречаю его иногда в кафе «Давид», он там играет по вечерам в домино; потому-то я и пошел с тобой.

Господин Молине был необычайно любезен с Пильеро, а к банкроту отнесся со снисходительным пренебрежением. Старикашка наметил себе заранее линию поведения, обдумал тон, в котором будет вести разговор, и соображения, которые выскажет.

— Какие вы желаете получить сведения? — спросил Пильеро. — Ведь по претензиям кредиторов никаких спорных вопросов не возникло?

— О! — отвечал Молине. — Долговые обязательства в порядке, все проверено. Все кредиторы — солидные и законные. Но закон, сударь, закон!.. Траты несостоятельного должника не соответствовали его капиталу... Установлено, что бал...

— На котором вы присутствовали, — прервал его Пильеро.

— ...обошелся приблизительно в шестьдесят тысяч франков, во всяком случае, такая сумма была израсходована в связи с балом, актив же несостоятельного должника едва превышал в то время сто тысяч франков... Есть основание передать дело несостоятельного должника в особое присутствие уголовного суда с обвинением в банкротстве по неосторожности.

— Вы полагаете? — спросил Пильеро, заметив, в какое уныние повергли Бирото эти слова.

— Сударь, я имею в виду, что ведь господин Бирото был должностным лицом...

— Вы все же, вероятно, не для того пригласили нас, чтобы сообщить, что мы будем привлечены к уголовной ответственности? — спросил Пильеро. — Нынче вечером в кафе «Давид» все смеялись бы над вашим поведением.

Ссылка на мнение кафе «Давид», казалось, сильно припугнула старикашку, и он растерянно посмотрел на Пильеро. Синдик полагал, что Бирото придет один, и собирался разыграть из себя верховного судью, Юпитера-громовержца. Он рассчитывал запугать Бирото приготовленной заранее грозной обвинительной речью и, потрясая над его головой карающим мечом закона, насладиться смятением и ужасом парфюмера, а затем позволить себя разжалобить, смягчиться и преисполнить душу своей жертвы вечной признательностью. Но вместо беззащитной букашки Молине столкнулся со старым коммерческим сфинксом.

— Сударь, — сказал он Пильеро, — тут нет ничего смешного.

— Позвольте, — возразил Пильеро. — Вы проявляете чрезмерную уступчивость, договариваясь с господином Клапароном; в ущерб интересам остальных кредиторов добиваетесь преимущественного удовлетворения собственных претензий. Но я, в качестве кредитора, могу тоже вмешаться в дело. Ведь существует присяжный попечитель.

— Я неподкупен, сударь, — возразил Молине.

— Знаю, — сказал Пильеро, — вы постарались только, что называется, выйти сухим из воды. Вы хитрец, вы поступили тут точно так же, как в деле с одним из ваших жильцов...

— О сударь! — воскликнул синдик, становясь снова домовладельцем, подобно тому как в сказке кошка, обращенная в женщину, бросается на мышь. — Моя жалоба на жильца с улицы Монторгей еще не разбиралась. Там неожиданно возникло одно, так сказать, привходящее обстоятельство. Мой жилец — главный квартиронаниматель. Сейчас интриган этот утверждает, что, так как он уплатил за двенадцать месяцев вперед и прожил в квартире всего лишь год... (тут Пильеро бросил взгляд на Цезаря, словно призывая его быть внимательнее) — то он якобы имеет право вывезти из квартиры свою обстановку. Основание для нового судебного дела. Должен же я, в самом деле, сохранить гарантии до окончательного расчета — возможно, с него потребуется взыскать стоимость ремонта.

— Но, — заметил Пильеро, — по закону мебель квартиронанимателя может служить гарантией для одной лишь квартирной платы.

— И побочных расходов, — воскликнул задетый за живое Молине. — Эта статья закона нашла себе истолкование в уже состоявшихся по этому вопросу судебных решениях. Закон нуждается, однако, в поправках. Я составляю сейчас для его превосходительства министра юстиции докладную записку об этом пробеле в законодательстве. Правительству следовало бы позаботиться об интересах владельцев недвижимости. Мы нужны государству, ведь мы главные плательщики налогов.

— Вы, несомненно, способны просветить правительство, — сказал Пильеро, — но чем мы-то можем просветить вас относительно наших дел?

— Мне желательно знать, — высокопарно и с важностью заявил Молине, — получал ли господин Бирото какие-либо суммы от господина Попино?

— Нет, сударь, — ответил Бирото.

За этим последовало обсуждение вопроса об участии Бирото в «Торговом доме Попино», причем выяснилось, что Попино имел право, не вступая в конкурс, полностью получить с Бирото половину суммы, затраченной на оборудование лавки.

Умело направляемый Пильеро, синдик Молине становился постепенно все мягче в обращении, свидетельствуя тем самым, как дорожит он мнением завсегдатаев кафе «Давид». В конце концов он даже принялся утешать Бирото и пригласил обоих своих посетителей разделить с ним его скромный обед. Если бы бывший парфюмер явился один, он, быть может, обозлил бы Молине, и дело могло принять неблагоприятный оборот. И тут, как во многих других случаях, старик Пильеро оказался для Цезаря ангелом-хранителем.

Торговый устав обрекает несостоятельного должника на жестокую муку; вместе с временными синдиками и присяжным попечителем он обязан присутствовать на собрании, где кредиторы решают его участь. Для человека, способного стать выше обстоятельств, и для купца, стремящегося вернуться к делам, эта тягостная процедура не слишком страшна. Но для людей, подобных Цезарю Бирото, — это пытка, с которой может сравниться лишь последний день приговоренного к смерти. Пильеро приложил все усилия, чтобы облегчить племяннику этот ужасный день.

Вот коммерческие операции, которые с согласия несостоятельного должника произвел Молине. Тяжба о земельных участках на улице Фобур-дю-Тампль была выиграна в королевском суде. Синдики постановили продать эту недвижимость; Цезарь не возражал. Дю Тийе, зная о намерениях правительства соорудить канал, который должен был пройти через предместье Тампль и соединить Сен-Дени с верхним течением Сены, купил участки Бирото за семьдесят тысяч франков. Права Цезаря на его долю земельных участков в районе церкви Мадлен были уступлены Клапарону с условием, что тот не будет требовать от Бирото возмещения половины издержек на заключение договора и суммы уплаченной пошлины, а также оплатит прежним владельцам разницу между полной стоимостью их участков и дивидендом, который они получат по конкурсу. Доля парфюмера в фирме «А. Попино и К°» была продана вышеуказанному Попино за сорок восемь тысяч франков. Лавку «Королева роз» приобрел Селестен Кревель за пятьдесят семь тысяч франков — вместе с контрактом на помещение, обстановкой, товарами, патентами на «Крем султанши» и «Жидкий кармин» и арендой на двенадцать лет фабрики, оборудование которой было ему также продано. Актив составил сумму в сто девяносто пять тысяч франков, к которым синдики прибавили семьдесят тысяч франков, причитавшихся Бирото в результате ликвидации конторы «несчастного» Рогена. Общая сумма актива достигла, таким образом, двухсот пятидесяти пяти тысяч франков. Так как пассив равнялся четыремстам сорока тысячам франков, то кредиторам предстояло получить больше пятидесяти процентов. Банкротство — нечто вроде химического опыта, и ловкий купец старается выйти из него, сохранив свой жирок. Бирото после выпаривания в реторте банкротства вышел из нее с результатом, разъярившим дю Тийе. Вместо банкротства бесчестного, на которое он рассчитывал, дю Тийе увидел банкротство добродетельное. Равнодушный к полученной прибыли — участки в районе церкви Мадлен должны были достаться ему за гроши, — он жаждал увидеть злополучного торговца обесчещенным, уничтоженным, смешанным с грязью. А вместо того кредиторы на общем собрании устроят еще, чего доброго, овацию парфюмеру. По мере того как к Бирото возвращалось мужество, дядя, словно мудрый врач, увеличивая постепенно дозы, знакомил его с действиями синдиков. Каждая из этих безжалостных мер была для Цезаря новым ударом. Купец не может видеть без боли, как обесценивается все, на что он затратил столько усилий и денег. Новости, сообщаемые дядей, повергали Бирото в отчаяние.

— Пятьдесят семь тысяч франков за «Королеву роз»! Но ведь одна только лавка стоила десять тысяч; квартира обошлась мне в сорок тысяч франков, на оборудование фабрики — инструменты, формы, котлы — пошло тридцать тысяч. Да в лавке, даже со скидкой в пятьдесят процентов, на десять тысяч франков товара. А «Крем» и «Кармин»? Да ведь это капитал, не хуже любой доходной фермы!

Горькие сетования несчастного разоренного Цезаря ничуть не пугали Пильеро. Бывший торговец относился к ним, как лошадь относится к ливню, застигнувшему ее у ворот конюшни; пугало его мрачное молчание парфюмера, когда речь заходила о собрании кредиторов. Всякому, кто понимает тщеславие и слабости, свойственные людям любого социального слоя, должно быть ясно, какой жестокой пыткой была для несчастного необходимость появиться в качестве банкрота в здании коммерческого суда, куда он некогда входил в качестве судьи. Подвергаться оскорблениям там, где он привык выслушивать благодарность за оказанную услугу, ему, Бирото, чьи непреклонные взгляды на банкротство известны были всему парижскому торговому миру, ему, провозгласившему: «Купец, объявляющий себя несостоятельным, еще честный человек, но с собрания кредиторов он уже выходит мошенником!» Дядя выбирал подходящие моменты, чтобы приучить Цезаря к мысли, что, согласно требованиям закона, ему придется предстать перед собранием своих кредиторов. Эта необходимость убивала Бирото. Его молчаливая покорность сильно тревожила Пильеро; старик нередко слышал сквозь перегородку, как Цезарь вскрикивал по ночам:

— Ни за что, ни за что! Лучше умереть!

Пильеро, человек сильный простотой своей жизни, понимал чужие слабости. Он решил избавить Бирото от терзаний, которых тот, быть может, не вынес бы, — от неизбежной сцены появления перед кредиторами. Закон в этом вопросе точен, ясен и непреложен. Купец, отказывающийся предстать перед кредиторами, может в силу одного этого быть передан в руки исправительной полиции по обвинению в банкротстве по неосторожности. Однако, требуя обязательной явки несостоятельного должника, закон не может принудить кредиторов явиться. Собрание кредиторов приобретает значение лишь в определенных случаях: если необходимо, например, лишить мошенника-банкрота прав на имущество и подписать договор об учреждении товарищества по делам несостоятельного должника, если имеются разногласия между кредиторами, получившими преимущество, и кредиторами, которых обошли, если соглашение архижульническое и несостоятельный должник нуждается в поддержке сомнительного большинства кредиторов. Но общее собрание кредиторов превращается в простую формальность, если актив несостоятельного должника уже полностью реализован или если мошенник-банкрот уже заранее сговорился с кредиторами. Пильеро обошел всех кредиторов, прося каждого из них уполномочить вместо себя поверенного для участия в собрании. Кредиторы, за исключением дю Тийе, свалив Цезаря, искренне его теперь жалели. Каждый знал, как достойно держал себя парфюмер, в каком порядке нашли его книги, как честно он вел свои дела. Кредиторы были довольны, что среди них не оказалось ни одного «дутого». Молине — сперва агент, потом синдик — нашел в доме Цезаря все, чем владел бедняга, вплоть до гравюры «Геро и Леандр», подаренной Попино, и личных драгоценностей парфюмера: булавки для галстука, золотых пряжек, карманных часов; самый добросовестный человек унес бы их, не боясь погрешить против честности. Констанс также оставила свой скромный ларчик с драгоценностями. Купечество было глубоко поражено столь трогательной покорностью закону. Враги Бирото утверждали, что это — доказательство его глупости, но люди рассудительные справедливо видели в поведении парфюмера проявление безупречной его честности. За два месяца биржа полностью изменила свое мнение о Бирото. Самые равнодушные люди не могли не признать, что это банкротство — одна из редчайших коммерческих диковинок в парижском торговом мире. Кредиторы, зная уже, что им предстоит получать около шестидесяти процентов, согласились выполнить просьбу Пильеро. Поверенных при коммерческом суде немного, и у нескольких кредиторов оказался один и тот же уполномоченный. Стараниями Пильеро число участников этого страшного для Бирото собрания сведено было к минимуму; присутствовать на нем должны были лишь сам Пильеро, Рагон, трое поверенных, двое синдиков и присяжный попечитель.

Утром этого знаменательного дня Пильеро сказал племяннику:

— Цезарь, ты можешь спокойно идти на сегодняшнее собрание, там никого не будет.

Господин Рагон пожелал сопровождать своего должника. Заслышав дребезжащий голосок бывшего владельца «Королевы роз», его бывший преемник побледнел; но добряк раскрыл объятия, Бирото бросился к нему, как дитя бросается в объятия отца, и оба залились слезами. Снисходительность Рагона придала мужество несостоятельному должнику, и он вместе с дядей сел в фиакр. Ровно в половине одиннадцатого все трое прибыли в монастырь Сен-Мерри, в котором помещался тогда коммерческий суд. Зал, где разбирались дела банкротов, был в это время пуст. День и час выбраны были по соглашению с синдиками и присяжным попечителем. Уполномоченные, представлявшие своих клиентов, были уже на месте, и Цезарю Бирото пугаться, казалось, было нечего. Но все же он с трепетом сердечным переступил порог кабинета г-на Камюзо, который оказался случайно его бывшим кабинетом; бедняга с ужасом думал о том, что придется перейти отсюда в зал банкротов.

— Нынче что-то холодновато, — сказал Цезарю Камюзо, — надеюсь, господа, никто не будет возражать против того, чтобы остаться здесь и не мерзнуть в зале? (Он опустил слово «банкротов».) Садитесь, господа.

Все сели, и судья предложил свое кресло смущенному Бирото. Поверенные и синдики расписались.

— Ввиду того что вы полностью отказались от своих имущественных прав, — обратился Камюзо к Бирото, — кредиторы единодушно слагают с вас остаток долга. Соглашение составлено в таких выражениях, что может смягчить вашу скорбь; поверенный ваш не замедлит утвердить соглашение в суде — и вы свободны. Все члены коммерческого суда, дорогой господин Бирото, — продолжал Камюзо, взяв парфюмера за руки, — тронуты вашим положением; проявленное вами мужество не было для них неожиданностью; все до единого отдали должное вашей честности. В несчастье вы показали себя достойным того положения, какое занимали здесь. Я двадцать лет веду коммерческие дела и только второй раз мне приходится видеть разорившегося купца, всеобщее уважение к которому лишь возросло.

Слезы выступили на глазах Бирото; он сжал руки судьи; Камюзо спросил его, что он намерен делать дальше. Цезарь ответил, что будет работать, чтобы полностью расплатиться с кредиторами.

— Если для достижения этой благородной цели вам понадобится несколько тысяч франков, вы их всегда у меня найдете, — сказал Камюзо, — я с радостью предоставлю их в ваше распоряжение, чтоб стать свидетелем столь редкого в Париже явления.

Пильеро, Рагон и Бирото удалились.

— Ну что ж, не так страшен черт, как его малюют, — сказал Пильеро племяннику, выходя из здания суда.

— Это я вас должен благодарить, дядя, — ответил растроганный Бирото.

— Ну вот вы и восстановлены в правах. Зайдем к моему племяннику, — предложил Рагон. — Мы в двух шагах от улицы Сенк-Диаман.

Для Цезаря было жестоким ударом увидеть Констанс в крохотной конторе на низких и темных антресолях над лавкой, где окно на треть было загорожено заслонявшей свет вывеской, на которой значилось:

А. ПОПИНО

— Один из сподвижников Александра Македонского, — с горьким смехом сказал Бирото, указывая на вывеску.

От этого деланного веселья, сквозь которое наивно проглядывало присущее Бирото неистребимое чувство собственного превосходства, семидесятилетний старик Рагон вздрогнул.

Когда Цезарь увидел, как жена его спустилась вниз, чтобы дать Попино на подпись бумаги, он побледнел и не мог удержаться от слез.

— Здравствуй, друг мой, — радостно приветствовала она мужа.

— Я не стану спрашивать, хорошо ли тебе здесь живется, — обратился Цезарь к жене, взглянув на Попино.

— Как у родного сына, — отвечала она таким растроганным голосом, что бывший купец был потрясен.

Бирото обнял Ансельма, расцеловал его и с грустью сказал:

— А я навсегда утратил право назвать его сыном.

— Не будем терять надежды, — сказал Попино. — *Ваше* масло пошло в ход; я постарался создать ему рекламу с помощью газет, а Годиссар исколесил всю Францию, — наводнил ее объявлениями и проспектами; теперь он в Страсбурге печатает проспекты на немецком языке и собирается совершить набег на Германию. Нам уже удалось продать три тысячи гроссов.

— Три тысячи гроссов! — воскликнул Цезарь.

— Я приобрел по сходной цене участок в предместье Сен-Марсо, там строится фабрика. А ту, что в предместье Тампль, я тоже сохраню за собой.

— Жена, — шепнул Бирото на ухо Констанс, — будь у нас хоть небольшая поддержка — мы бы выпутались.

После этого знаменательного дня Цезарь, его жена и дочь словно сговорились. Несчастный чиновник поставил перед собою цель если и не совсем недостижимую, то требовавшую затраты гигантских усилий, — полное погашение своего долга! Три существа, связанные присущей им всем фанатической честностью, стали скрягами, во всем себе отказывали и дрожали над каждым грошом. Цезарина с юным пылом относилась к порученным ей обязанностям. Она не досыпала ночей, всячески изощряясь, чтобы способствовать процветанию дела, подбирала рисунки для тканей и проявляла при этом врожденный коммерческий талант. Хозяевам приходилось сдерживать ее рвение; они старались отблагодарить ее подарками, но она отказывалась от нарядов и драгоценностей, которые ей предлагали. «Денег!» — упорно твердила она. Все свое жалованье и скромные сбережения она приносила каждый месяц дяде Пильеро. Цезарь и Констанс поступали так же. Все трое не считали себя достаточно умелыми финансистами и не хотели брать на себя ответственность за помещение денег; верховную власть по распоряжению их сбережениями они вручили дяде. Снова став коммерсантом, Пильеро пускал их деньги в оборот, играя на бирже. Как выяснилось впоследствии, старику помогали в этом Жюль Демаре и Жозеф Леба, наперебой спешившие указать ему верное дело.

Живя у дяди, бывший парфюмер не решался его спрашивать, как он распоряжается деньгами, заработанными самим Цезарем, его женой и дочерью. Бирото ходил по улицам опустив голову, стараясь скрыть от посторонних взглядов свое удрученное, осунувшееся, отупевшее лицо. Он упрекал себя даже в том, что носит одежду из тонкого сукна.

— Я, по крайней мере, не ем хлеба своих кредиторов, — говорил он с кротостью дяде. — Ваш хлеб — милостыня, вы мне даете его из жалости, и все же он мне сладок: благодаря вашему милосердию я могу ничего себе не присваивать из жалованья.

Встречая Бирото-чиновника, знакомые купцы не могли обнаружить в нем и следа бывшего парфюмера. Даже люди беспечные должны были задуматься над превратностями судьбы при виде этого человека, на лице которого лежала печать беспросветного горя и в котором, видимо, произвела полный переворот неведомая ему дотоле работа *мысли!* Беда сломит не всякого. Люди легкомысленные, пустые, ко всему равнодушные никогда не кажутся раздавленными разразившейся над ними катастрофой. Только религия отмечает особой печатью людей, сраженных несчастьем: они верят в будущую жизнь, в провидение, в них есть какая-то, им одним свойственная, умиляющая просветленность — сочетание благочестивой покорности с надеждой; они знают цену того, что ими утрачено, подобно падшему ангелу, плачущему у врат рая. Для несостоятельных должников доступ на биржу закрыт. Цезарь, изгнанный из обители честности, напоминал падшего ангела, молящего о прощении.

Погруженный в благочестивые размышления, которым он предавался под влиянием своего несчастья, Бирото больше года отказывался от всяких развлечений. Хотя он и не сомневался в дружбе Рагонов, его невозможно было уговорить пойти пообедать к ним или к Леба, Матифа, Протесам и Шифревилям, ни даже к самому г-ну Воклену: все они старались принести дань уважения высокой добросовестности Цезаря. Избегая встреч с кредиторами, Бирото предпочитал сидеть в одиночестве у себя в комнате. Сердечная заботливость друзей была для него лишь горьким напоминанием о его положении. Констанс и Цезарина все это время также нигде не показывались. По воскресеньям и в праздники — только в эти дни они и бывали свободны — жена и дочь заходили перед обедней за Цезарем, а потом, выполнив свои религиозные обязанности, оставались с ним у дяди. Пильеро приглашал аббата Лора, в беседах с которым Цезарь черпал силы для выпавших на его долю испытаний, и они проводили время в тесном семейном кругу. Бывший торговец скобяными товарами, сам величайший поборник честности, не мог не одобрить щепетильности Цезаря. Он стремился поэтому расширить круг лиц, среди которых несостоятельный должник мог показаться не краснея и не опуская глаз.

В мае 1821 года семья эта, упорно боровшаяся с постигшей ее бедой, была вознаграждена первым праздником, устроенным для нее властителем ее судеб. Последнее воскресенье мая месяца было годовщиной того дня, когда Констанс дала согласие на брак с Цезарем. Пильеро снял вместе с Рагонами деревенский домик в Со и хотел там весело отпраздновать новоселье.

— Цезарь, — сказал он племяннику в субботу вечером, — завтра мы едем за город, и ты с нами.

Цезарь, у которого был превосходный почерк, переписывал по вечерам бумаги для Дервиля и еще нескольких стряпчих. По воскресеньям, с разрешения духовника, он также работал, как каторжник.

— Нет, — ответил он, — господин Дервиль ждет отчета по опеке.

— Твоя жена и дочь заслуживают награды. Ты встретишь там только друзей — аббата Лоро, Рагонов, Попино с дядей. Пожалуйста, прошу тебя.

Закружившись в вихре дел, Цезарь с женой так ни разу и не собрались съездить в Со, хотя время от времени оба мечтали снова повидать дерево, под которым когда-то едва не лишился чувств старший приказчик «Королевы роз». Цезарь ехал с женой и дочерью в фиакре, которым правил Ансельм Попино; дорогой Констанс бросала на мужа выразительные взгляды, но не могла заставить его улыбнуться. Она шепнула ему на ухо несколько слов, но он в ответ лишь молча кивнул головой. Проявления неизменной и настойчивой нежности жены не разгладили морщин на лице Цезаря; наоборот, оно стало еще угрюмее, и на глазах его выступили слезы, которые он поспешил скрыть. Двадцать лет назад бедняга уже проезжал по этой дороге, но тогда он был богат, молод, полон надежд, влюблен в молодую девушку, столь же прелестную, как Цезарина; тогда он мечтал о счастье, а ныне видел в глубине фиакра свою побледневшую от бессонных ночей самоотверженную дочь, свою мужественную жену, сохранившую лишь следы былой красоты, как сохраняет ее город, залитый лавой во время извержения вулкана. Уцелела одна лишь любовь! Угрюмый вид Цезаря гасил радость в сердцах его дочери и Ансельма, воскрешавших перед его взором очаровательную сцену прошлого.

— Будьте счастливы, дети мои, у вас есть на то право, — страдальческим голосом сказал им отец. — Вы можете любить друг друга со спокойной совестью, — прибавил он.

При этих словах Бирото схватил руки Констанс и покрыл их поцелуями с восторженной и благоговейной нежностью, тронувшей ее больше, чем могли бы тронуть проявления самой бурной радости. Когда они подъехали к домику, где их уже ожидали Пильеро, Рагоны, аббат Лоро и следователь Попино, Цезарь сразу успокоился, ибо слова, взгляды, все обхождение этих пятерых друзей — людей, исключительных по своим душевным качествам, — показывали, что они растроганы, видя, как глубоко Бирото переживает свое несчастье, словно оно случилось с ним только вчера.

— Подите-ка прогуляйтесь по лесу, — сказал дядя Пильеро, соединив руки Цезаря и Констанс, — и возьмите с собой Ансельма и Цезарину; возвращайтесь домой к четырем часам.

— Бедные люди! Наше присутствие их только бы стеснило, — заметила г-жа Рагон, тронутая неподдельным горем своего должника. — Но какая радость ожидает его!

— Это раскаяние без греха, — вставил аббат Лоро.

— Несчастье помогло ему духовно вырасти, — сказал следователь.

Способность забывать — великий дар, отличающий натуры творческие и сильные; забывать — подобно тому как забывает природа, не ведающая прошлого, ежечасно возобновляющая вечное таинство нового рождения. Натуры слабые, как Бирото, продолжают терзаться своими страданиями, вместо того чтобы извлечь из них уроки житейской мудрости; они упиваются своими муками и с каждым днем все больше изводят себя, вновь и вновь переживая былые горести.

Когда обе пары шли тропинкой, ведущей в лес Онэ, увенчивающий один из красивейших холмов в окрестностях Парижа, и перед ними во всем своем очаровании предстала Волчья долина, — чудесная погода, прелесть окружающей картины, первая зелень и сладостные воспоминания о счастливейшем дне его молодости ослабили скорбные струны в душе Цезаря; он прижал руку жены к трепетно бьющемуся сердцу, и в глазах его, утративших стеклянную неподвижность, вспыхнула радость.

— Наконец-то я узнаю тебя, мой бедный Цезарь, — сказала Констанс — Мы, кажется, достаточно скромно живем и можем позволить себе время от времени небольшое удовольствие.

— Имею ли я на это право! — воскликнул бедняга. — Ах, Констанс, твоя любовь — единственное еще оставшееся у меня сокровище... Да, я все потерял, вплоть до веры в себя, у меня нет больше сил, у меня одно только желание — дожить до того дня, когда я расплачусь с земными долгами. Но ты, дорогая жена, ты всегда была моим благоразумием и моей осторожностью, ты все предвидела, и тебе не в чем упрекнуть себя, — ты можешь быть веселой; из нас троих во всем виноват один лишь я. Полтора года назад, на нашем злосчастном балу, ты, моя Констанс, единственная женщина, которую я любил за всю свою жизнь, была, пожалуй, еще красивее, чем тогда, когда юной девушкой прогуливалась со мной по этой тропинке, где сейчас гуляют наши дети... И в полтора года я погубил эту красоту, которой с полным правом гордился. Чем больше я узнаю тебя, тем сильнее люблю... О дорогая! — воскликнул Цезарь с такой мукой в голосе, что Констанс была потрясена до глубины души. — Мне, кажется, было бы легче, если бы ты бранила меня, а не старалась смягчить мое горе!

— Никогда бы не поверила, — отвечала Констанс, — что после двадцатилетнего супружества жена может еще крепче полюбить своего мужа.

Слова эти заставили Цезаря позабыть на мгновение обо всех горестях и преисполнили счастьем его чувствительное сердце. Он почти радостно направился к *их* дереву, которое случайно уцелело. Супруги уселись под этим деревом, глядя на Ансельма и Цезарину; влюбленные кружили все время по одной лужайке и, видимо, этого не замечали, воображая, что идут вперед.

— Мадмуазель, — говорил Ансельм, — надеюсь, вы не считаете меня таким жадным и низким, что я воспользуюсь долей вашего отца в доходах от «Кефалического масла»! Я, правда, откупил ее, но с любовью сохраняю ее для него же и стараюсь приумножить. Я пользуюсь деньгами господина Бирото для учета векселей; а если попадаются иной раз векселя сомнительные, я их учитываю на свой риск. Мы можем принадлежать друг другу лишь после реабилитации вашего отца, и со всей силой любви я стараюсь приблизить этот день.

Ансельм остерегался посвящать в свою тайну даже будущую тещу. И самые простодушные влюбленные жаждут порисоваться перед любимым существом.

— А скоро этот день настанет? — спросила Цезарина.

— Скоро, — отвечал Попино. Он сказал это таким проникновенным тоном, что целомудренная, чистая Цезарина подставила лоб своему милому, и Ансельм запечатлел на нем жадный, но почтительный поцелуй — столько душевного благородства было в ее порыве.

— Папа, все идет как по маслу, — с лукавым видом шепнула она Цезарю. — Будь поприветливей, поговори с нами, перестань грустить.

Когда дружная семья вернулась в домик Пильеро, даже ненаблюдательный Цезарь заметил в обращении Рагонов какую-то перемену: что-то, очевидно, случилось. Г-жа Рагон встретила их с особенно умильным видом, взгляд ее и самый тон, казалось, говорили Цезарю: «Мы получили долг сполна».

К концу обеда явился нотариус из Со; пригласив его за стол, дядюшка Пильеро взглянул на Бирото, и тот почувствовал, что ему готовят какой-то сюрприз, хотя всей важности этого сюрприза угадать он не мог.

— Племянник, ты, твоя жена и дочь скопили за полтора года двадцать тысяч франков; тридцать тысяч я получил на конкурсе по моим претензиям; для расплаты с кредиторами у нас имеется, стало быть, пятьдесят тысяч франков. Господин Рагон получил на конкурсе тридцать тысяч франков, теперь господин нотариус принес тебе расписку в том, что ты полностью, с процентами, погасил свой долг друзьям. Остальные деньги находятся у Кротта и пойдут на уплату Лурдуа, тетке Маду, каменщику, плотнику и другим наиболее нетерпеливым кредиторам. Что принесет нам будущий год — видно будет. Терпенье и труд все перетрут.

Радость Бирото не поддается описанию; он со слезами бросился в объятия дяди.

— Пусть Цезарь наденет сегодня свой орден, — сказал аббату Лоро Рагон.

Духовник вдел красную орденскую ленточку в петлицу Цезаря, и тот раз двадцать в течение вечера подходил к зеркалу, чтобы полюбоваться собой; удовольствие, написанное на лице его, могло бы насмешить людей высокомерных, но невзыскательным буржуа оно казалось вполне естественным. На следующий день Бирото пошел к г-же Маду.

— А-а! это вы, почтеннейший! — сказала она. — До чего ж вы поседели! Я вас было и не узнала. Вашему брату, однако, особенно горевать не приходится: для вас всегда найдется теплое местечко. Не то что я, грешная, верчусь день-деньской как белка в колесе.

— Но, сударыня...

— Ну, это не в упрек вам сказано, — перебила она, — ведь мы в расчете.

— Я пришел сказать вам, что нынче у нотариуса Кротта я уплачу вам остаток долга, с процентами.

— Вы это всерьез?

— Будьте у нотариуса в половине двенадцатого...

— Вот это честность! все до гроша, да еще по четыре на сто! — воскликнула тетка Маду, с наивным восхищением глядя на Бирото. — Слушайте, папаша, я неплохо зарабатываю у этого вашего рыженького, он — славный малый, не торгуется, чтобы я могла покрыть свои убытки. Давайте-ка я выдам вам расписку, а деньги, старина, оставьте себе. Тетка Маду — горласта, тетка Маду — порох, но в груди у нее кое-что бьется! — воскликнула она, ударяя себя по самым пышным мясистым подушкам, когда-либо известным Центральному рынку.

— Ни за что! — ответил Цезарь. — В законе есть прямые на то указания, и я желаю уплатить вам сполна.

— Что ж, я не заставлю себя упрашивать, — сказала тетка Маду, — но завтра уж я протрублю на весь наш Центральный рынок о вашей честности. Днем с огнем такой не сыщешь!

Подобная же сцена, лишь с небольшим вариантом, произошла и у подрядчика малярных работ, тестя Кротта. Шел дождь; Цезарь поставил мокрый зонт в углу, возле двери. Разбогатевший подрядчик, видя, как по полу его красивой столовой, где он завтракал с женой, растекается лужа, не проявил особой любезности.

— Ну, что вам еще от меня нужно, папаша Бирото? — сказал он резким тоном, словно обращаясь к назойливому нищему.

— Разве ваш зять не говорил вам, сударь?..

— О чем? — нетерпеливо перебил Лурдуа, думая, что речь идет о какой-то просьбе.

— Чтобы вы пришли к нему нынче утром в половине двенадцатого, получили сполна все, что я оставался вам должен, и выдали мне расписку?..

— Ах, это другое дело... Присаживайтесь, господин Бирото. Не закусите ли с нами?..

— Доставьте нам удовольствие, — прибавила г-жа Лурдуа.

— Дела, стало быть, идут на лад? — спросил толстяк Лурдуа.

— Нет, сударь, чтобы скопить немного денег, мне приходилось завтракать одним лишь хлебцем; зато, надеюсь, со временем я возмещу ущерб, причиненный мною людям.

— Да вы и впрямь человек порядочный, — сказал подрядчик, отправляя в рот кусок хлеба с паштетом из гусиной печенки.

— А что поделывает ваша супруга? — спросила г-жа Лурдуа.

— Она ведает кассой и торговыми книгами у господина Ансельма Попино.

— Бедные люди! — тихо сказала мужу г-жа Лурдуа.

— Если я вам понадоблюсь, дорогой господин Бирото, — сказал Лурдуа, — милости просим, заходите, постараюсь помочь вам...

— Вы мне понадобитесь сегодня в одиннадцать часов, сударь, — сказал Бирото, уходя.

Такое начало придало банкроту мужества, но не вернуло ему покоя: слишком много треволнений вносило в его жизнь желание восстановить свое доброе имя. С лица его совсем сбежал прежний румянец, глаза потускнели, щеки ввалились. Старые знакомые встречали иногда Бирото в восемь часов утра, когда он шел на улицу Оратуар, или в четыре часа пополудни, когда он возвращался домой, — бледный, боязливый, совершенно седой, в сюртуке, который он носил со времени своего падения и берег, как бедный подпоручик бережет свой мундир; случалось, что кто-либо его останавливал, и он бывал этим явно недоволен: беспокойно оглядываясь, норовил, словно вор, проскользнуть вдоль стен незамеченным.

— Все знают, как вы живете, — говорили ему. — И все жалеют, что вы, ваша жена и дочь так себя изводите.

— Дайте же себе передышку, — уговаривали его другие, — ведь денежные раны не смертельны.

— Но душевная рана иной раз убивает, — ответил однажды старику Матифа несчастный обессилевший Цезарь.

В начале 1823 года был окончательно решен вопрос о сооружении канала Сен-Мартен. Цены на земельные участки в предместье Тамиль бешено взлетели. Канал по проекту должен был пройти как раз посредине участка дю Тийе, принадлежавшего ранее Цезарю Бирото. Компания, получившая концессию на прорытие канала, готова была заплатить огромную сумму, если бы банкир мог предоставить свой участок в ее распоряжение к определенному сроку. Но помехой делу был арендный договор, заключенный некогда Цезарем с Попино. Банкир явился на улицу Сенк-Диаман к торговцу парфюмерными и аптекарскими товарами. Дю Тийе относился к Попино с полным равнодушием, но жених Цезарины питал к нему безотчетную ненависть. Он ничего не знал ни о краже, когда-то совершенной удачливым банкиром, ни о гнусных его комбинациях, но какой-то внутренний голос твердил ему; «Этот человек — непойманный вор». Попино не стал бы вести с ним никаких дел, одно уж его присутствие было ненавистно Ансельму, особенно в ту пору, ибо он видел, как дю Тийе наживается на разорении своего бывшего хозяина: цены на участки в квартале Мадлен так поднялись, что можно было предвидеть их неслыханный рост, последовавший в 1827 году. Когда банкир изложил цель своего посещения, Попино посмотрел на него со сдержанным негодованием.

— Я не отказываюсь расторгнуть арендный договор, но вам придется уплатить мне шестьдесят тысяч франков; я не уступлю ни гроша.

— Шестьдесят тысяч франков! — воскликнул, отшатнувшись, дю Тийе.

— У меня арендный договор еще на пятнадцать лет, а замена фабрики другой ежегодно обойдется мне в лишних три тысячи франков. Итак, шестьдесят тысяч франков, или прекратим этот разговор, — заявил Попино, возвращаясь в лавку; дю Тийе последовал за ним.

Разгорелся спор. Упомянуто было имя Цезаря, и, услышав его, г-жа Бирото спустилась вниз. После пресловутого бала она впервые увидела дю Тийе. Банкир невольным жестом выдал свое изумление, заметив, как изменилась его бывшая хозяйка; он потупил глаза, ужаснувшись делу рук своих.

— Господин дю Тийе наживает на *ваших* участках триста тысяч франков, — сказал Попино парфюмерше, — а *нам* отказывается уплатить шестьдесят тысяч отступного за расторжение *нашего* арендного договора...

— Да ведь это три тысячи франков годового дохода! — с пафосом воскликнул дю Тийе.

— Три тысячи франков!.. — просто, но выразительно повторила г-жа Бирото.

Дю Тийе побледнел, Попино взглянул на г-жу Бирото. Наступившее гробовое молчание сделало эту сцену еще более непонятной для Ансельма.

— Вот отказ от аренды, составленный по моему поручению Кротта, — сказал дю Тийе, вынимая из бокового кармана гербовую бумагу, — подпишите его, я выдам чек в шестьдесят тысяч франков на Французский банк.

Попино с нескрываемым изумлением посмотрел на жену парфюмера, ему казалось, что он грезит. Пока дю Тийе за высокой конторкой выписывал чек, Констанс поднялась обратно на антресоли. Банкир и Попино обменялись документами. Дю Тийе ушел, холодно простившись с Попино.

«Благодаря этой необычайной сделке Цезарина через несколько месяцев будет наконец моей женой, — подумал Ансельм, глядя вслед дю Тийе, направившемуся к Ломбардской улице, где его поджидал кабриолет. — Моя бедная Цезарина перестанет надрываться на работе. Подумать только! Стоило г-же Бирото посмотреть на него! Что может быть общего у нее с этим разбойником? Все это в высшей степени странно».

Послав в банк получить деньги по чеку, Попино поднялся наверх, чтобы поговорить с г-жой Бирото; за кассой ее не оказалось; она, очевидно, ушла в свою комнату. Ансельм и Констанс жили в добром согласии, как зять и теща, которые сошлись характерами. И Попино направился в комнату г-жи Бирото с поспешностью, естественной для влюбленного, мечты которого вот-вот осуществятся. Когда молодой купец бесшумно, точно кошка, подошел к своей будущей теще, он был несказанно удивлен, застав ее за чтением письма дю Тийе: Ансельм узнал почерк бывшего приказчика Бирото. При виде зажженной свечи и черного пепла, разлетавшегося по каменным плиткам пола, Попино вздрогнул; он обладал острым зрением и невольно прочел первую фразу письма, которое держала Констанс: *«Я обожаю вас, и вы это знаете, радость жизни моей... Так отчего же...»*

— Каким, однако, влиянием вы пользуетесь на дю Тийе, если он сразу же пошел на подобную сделку! — сказал Ансельм с судорожным смешком, который вызывается обычно невысказанным и не слишком лестным подозрением.

— Не будем говорить об этом, — ответила Констанс, не сумев скрыть жестокого смущения.

— Хорошо, — сказал совершенно растерявшийся Попино, — давайте поговорим о близком конце ваших страданий. — Повернувшись на каблуках, Ансельм отошел к окну и, глядя во двор, стал барабанить пальцами по стеклу.

«Ну что ж, — подумал он, — если она и любила дю Тийе, разве не должен я вести себя как порядочный человек?»

— Что с вами, мой мальчик? — спросила бедная женщина.

— Чистая прибыль от «Кефалического масла» достигает двухсот сорока двух тысяч франков, — сказал вдруг Попино. — Половина, стало быть, составляет сто двадцать одну тысячу. Если из этой суммы удержать сорок восемь тысяч франков, которые я ссудил господину Бирото, останется семьдесят три тысячи; прибавим к ним шестьдесят тысяч франков за расторжение арендного договора, и *у вас* будет сто тридцать три тысячи франков.

Госпожа Бирото слушала его в радостном волнении, не смея верить своему счастью. Попино казалось, что он слышит, как сильно бьется ее сердце.

— Я всегда рассматривал господина Бирото как своего компаньона, — продолжал он, — эту сумму мы можем употребить на расплату с его кредиторами. Вместе же с двадцатью восемью тысячами франков ваших сбережений, пущенных в оборот дядей Пильеро, мы будем иметь сто шестьдесят одну тысячу франков. Дядюшка Пильеро не откажется, конечно, дать нам расписку в получении своих двадцати пяти тысяч франков. И нет таких сил человеческих, которые могут помешать мне ссудить своему тестю деньги в счет прибылей будущего года. Тогда составится сумма, необходимая для окончательной расплаты с кредиторами... И... его доброе имя будет восстановлено.

— Восстановлено! — воскликнула г-жа Бирото, падая на колени. Она выронила письмо и, набожно сложив руки, начала шептать слова молитвы.

— Дорогой Ансельм! Дорогой сын мой! — воскликнула она, перекрестившись. Вне себя от радости, она обняла руками его голову, покрыла лоб поцелуями и горячо прижала юношу к своему сердцу. — Цезарина теперь твоя! Дочь моя будет счастлива! Она бросит службу в лавке, где работает до изнеможения.

— Во имя любви, — сказал Попино.

— О да! — ответила мать, улыбаясь.

— Я открою вам маленькую тайну, — продолжал Попино, искоса поглядывая на роковое письмо. — Я ссудил Селестена деньгами, чтобы помочь ему приобрести вашу лавку, но поставил одно условие. Ваша квартира сохранена в том виде, в каком вы ее оставили. Я давно уже лелею одну заветную мечту, но не ожидал, что нам так повезет: Селестен обязался сдать нам вашу бывшую квартиру, он туда даже не заглядывал; вся обстановка — ваша. Для нас с Цезариной я хочу оставить третий этаж, — она никогда с вами не расстанется. После свадьбы я буду приходить сюда работать с восьми утра до шести вечера. А чтобы обеспечить вас, я приобрету за сто тысяч франков долю господина Бирото в нашей фирме; вместе с его жалованьем вы будете иметь таким образом около десяти тысяч франков годового дохода. Неужели вы не будете чувствовать себя счастливой?

— Замолчите, Ансельм, я с ума сойду от радости!

Ангельская кротость г-жи Бирото, ясный взгляд, чистота линий прекрасного лба убедительно опровергали тысячи мыслей, вихрем проносившихся в голове Ансельма, и он решил разом покончить со своими чудовищными подозрениями. Грех казался несовместимым со всей жизнью и чувствами племянницы Пильеро.

— Моя дорогая, обожаемая матушка, — сказал Ансельм, — ужасное подозрение закралось мне в душу. Если вы хотите, чтобы я был счастлив, вы сейчас же разрушите его. — И, протянув руку, Попино поднял с полу упавшее письмо.

— Я прочел невольно, — продолжал он, пораженный ужасом, отразившимся на лице Констанс, — первые слова этого письма дю Тийе. Они столь странно совпадают с вашим влиянием на него, — ведь вы заставили сейчас этого человека сразу же согласиться на мои непомерные требования, — что каждый дал бы всему этому такое же толкование, какое, против моей воли, нашептывает мне злой дух. Одного вашего взгляда, нескольких слов было достаточно...

— Перестаньте, — воскликнула г-жа Бирото и, отняв у него письмо, сожгла листки на глазах у Ансельма. — Дитя мое, я жестоко наказана за ничтожный проступок. Вы все должны узнать, Ансельм! Я не хочу, чтобы подозрение, внушаемое матерью, могло повредить дочери. Краснеть мне не приходится: то, в чем я собираюсь признаться вам, я могла бы рассказать и мужу. Дю Тийе пытался обольстить меня, я тотчас же предупредила господина Бирото, и он решил уволить Фердинанда. В тот самый день, когда Цезарь должен был отказать ему от места, дю Тийе украл у нас три тысячи франков!

— Я так и думал, — сказал Попино тоном, в котором сквозила вся его ненависть к дю Тийе.

— Ансельм, это признание необходимо было для вашего счастья, для вашего будущего; но пусть оно так же умрет в вашем сердце, как умерло в сердце Цезаря и в моем. Вы не забыли, конечно, какой шум поднял однажды мой муж из-за кассовой ошибки, якобы обнаруженной им! Чтобы не доводить дела до суда и не губить этого человека, он подложил тогда в кассу три тысячи франков, на которые хотел купить мне кашемировую шаль — подарок, который я получила только три года спустя. Этим-то и объясняется мое восклицание. Но, дитя мое, я должна вам признаться в непростительном ребячестве. Дю Тийе написал мне три любовных письма, и чувство было в них выражено так красноречиво, — со вздохом сказала она потупясь, — что я сохранила эти письма просто так... любопытства ради. Я перечла их только раз, не больше. Однако дальше хранить эти письма было бы неосторожно. При виде дю Тийе я вспомнила о них и поднялась к себе, чтобы их сжечь; в тот момент, когда вы вошли, я пробегала последнее письмо. Вот и все, друг мой.

Ансельм опустился на одно колено и поцеловал руку г-жи Бирото; лицо его выражало глубокое чувство, и на глазах у обоих показались слезы. Подняв будущего зятя, Констанс раскрыла объятия и прижала его к своему сердцу.

То был счастливый день для Цезаря. Личный секретарь короля, г-н де Ванденес, зашел к Бирото в канцелярию, чтобы поговорить с ним. Они вышли вместе в маленький дворик кассы погашения государственных долгов.

— Господин Бирото, — сказал виконт де Ванденес, — король узнал случайно о ваших стараниях полностью расплатиться с кредиторами. Его величество тронут столь редкостным поведением и, зная, что вы из самоуничижения перестали носить орден Почетного легиона, поручил мне передать вам его повеление надеть снова орденский знак. Желая, кроме того, помочь вам уплатить долги, король повелел мне вручить вам эту сумму из его личной шкатулки, сожалея о том, что не может оказать вам более существенной помощи. Но пусть все это останется в строжайшей тайне. Его величество полагает, что монарху не следует предавать свои добрые дела огласке, — добавил личный секретарь короля, вручая шесть тысяч франков Бирото, охваченному невыразимым волнением.

Бирото пробормотал в ответ лишь несколько бессвязных слов, и улыбающийся Ванденес удалился, помахав ему на прощанье рукой. Чувство, руководившее бедным Цезарем, столь редко можно встретить в Париже, что жизнь Бирото стала мало-помалу предметом всеобщего восхищения. Жозеф Леба, судья Попино, Камюзо, аббат Лоро, Рагон, глава крупной торговой фирмы, где служила Цезарина, подрядчик Лурдуа, г-н де ла Биллардиер — все заговорили о нем. Общественное мнение переменилось, и теперь Цезаря превозносили до небес.

«Вот воплощенная честность!» — слова эти неоднократно достигали ушей Цезаря когда он проходил по улице, и бывший парфюмер испытывал такое же радостное волнение, как писатель, услышавший за своей спиной: *«Вот он!»* Для банкира дю Тийе добрая слава Цезаря была что нож острый. Когда в кармане у Бирото оказались пожалованные ему королем деньги, первой же его мыслью было употребить эти деньги на уплату долга своему бывшему приказчику. Он поспешил на улицу Шоссе д'Антен; банкир, возвращавшийся в это время домой, столкнулся на лестнице с бывшим хозяином.

— Ну что, *мой бедный Бирото* ? — с притворным участием спросил дю Тийе.

— Бедный? — гордо переспросил должник. — Напротив, я очень богат. Нынче вечером я лягу спать с чувством удовлетворения, сознавая, что полностью расплатился с вами.

Безупречная честность, прозвучавшая в этих словах, жестоко уязвила дю Тийе. Несмотря на всеобщее почтение, сам он не уважал себя, а неумолчный внутренний голос твердил ему о Цезаре: «Вот человек добродетельный!»

— Расплатиться со мной? Вы, стало быть, снова занялись делами?

Не сомневаясь, что дю Тийе никому не станет рассказывать о его признании, бывший парфюмер ответил:

— Никаких дел, сударь, я больше вести не буду. Разве в человеческих силах было предвидеть то, что со мной случилось? Кто знает, не стал ли бы я опять жертвой какого-нибудь другого Рогена? Но о моей жизни, о поступках моих было доложено королю, он удостоил меня своим сочувствием и, желая поощрить мои усилия, прислал мне только что довольно крупную сумму, которая...

— Вам потребуется расписка? — перебил его дю Тийе. — Вы хотите заплатить...

— Полностью и с процентами; так что я попрошу вас зайти со мной к господину Кротта, отсюда это рукой подать.

— Вы хотите платить в присутствии нотариуса?!

— Но ведь мне не возбраняется, сударь, думать о восстановлении своей репутации, — сказал Цезарь, — а бесспорными считаются только документы, засвидетельствованные у нотариуса...

— Идемте, — сказал дю Тийе, выходя вместе с Бирото. — Идемте, до нотариуса отсюда и впрямь рукой подать. Но где вы только деньги берете? — снова спросил он.

— Я нигде их не беру, а зарабатываю в поте лица своего.

— Вы должны громадную сумму банкирскому дому Клапарона.

— Да, это мой самый крупный долг: боюсь, как бы мне не надорваться на работе, прежде чем удастся заплатить его.

— Никогда вам не заплатить его, — злорадно сказал дю Тийе.

«Он прав», — подумал Бирото.

Возвращаясь домой, Цезарь попал нечаянно на улицу Сент-Оноре; обычно он делал крюк, чтобы не видеть ни своей лавки, ни окон своей прежней квартиры. Впервые после своего падения он вновь увидел дом, в котором прошло восемнадцать счастливых лет его жизни, бесследно сметенных терзаниями последних трех месяцев.

«А я-то был уверен, что проживу здесь до конца дней своих», — подумал он, ускоряя шаги. В глаза ему бросилась новая вывеска:

СЕЛЕСТЕН КРЕВЕЛЬ

Преемник Цезаря Бирото

— Что это мне почудилось? Неужто Цезарина? — воскликнул Бирото, вспомнив, что видел в окне белокурую головку.

Но он действительно видел свою дочь. Влюбленные и Констанс знали, что Бирото никогда не проходит мимо своего бывшего дома. Не имея представления о том, что случилось с Цезарем, они пришли туда, чтобы подготовить квартиру к торжеству, которое собирались устроить в его честь. Пораженный этим странным видением, Бирото остановился как вкопанный.

— Вот господин Бирото смотрит на свою бывшую квартиру, — сказал Молине хозяину лавки, помещавшейся напротив «Королевы роз».

— Бедняга, — ответил бывший сосед парфюмера. — Он задал там бал на славу... Было сотни две карет...

— Я присутствовал на этом балу. А три месяца спустя он обанкротился, и меня избрали синдиком, — сказал Молине.

Бирото кинулся прочь, ноги у него дрожали, но он почти бегом добрался до жилища дядюшки Пильеро. Старик был уже осведомлен о том, что произошло на улице Сенк-Диаман, и опасался, что племянник не выдержит радостного потрясения, связанного с его реабилитацией. Пильеро был ежедневным свидетелем мучений несчастного Цезаря, который не изменил своих незыблемых теорий о несостоятельных должниках и жил в непрестанном напряжении душевных сил. Утраченная честь была для Цезаря Бирото покойником, который мог еще воскреснуть. И эта надежда лишь обостряла его страдания. Пильеро взялся сам подготовить племянника к счастливой вести; когда Бирото вошел к дяде, тот как раз размышлял над тем, как бы это лучше сделать. Радость, с которой Цезарь рассказал об участии к нему короля, показалась Пильеро хорошим предзнаменованием, а удивление Бирото, увидевшего свою дочь в «Королеве роз», помогло старику приступить к разговору.

— А знаешь, Цезарь, чем это объясняется? — начал Пильеро. — Попино решил поскорее жениться на Цезарине. Он не согласен больше ждать и не обязан вовсе из-за твоих преувеличенных понятий о честности растрачивать свою молодость и грызть сухую корку, когда так соблазнительно пахнет вкусным обедом. Попино хочет предоставить тебе средства для окончательной расплаты с кредиторами.

— Он покупает себе жену, — сказал Бирото.

— Разве не похвально желание помочь тестю восстановить свое доброе имя?

— Это дало бы возможность оспаривать... К тому же...

— К тому же, — подхватил дядя, притворяясь рассерженным, — ты можешь губить самого себя, но не имеешь права губить свою дочь.

Завязался горячий спор, причем Пильеро умышленно подливал масла в огонь.

— А если Попино дает тебе эти деньги не в долг, — воскликнул Пильеро, — если он рассматривает тебя как своего компаньона и, не желая обирать, считает, что сумма, которую он выплатит кредиторам, — это твоя часть в доходах от «Кефалического масла», аванс, выданный в счет будущих прибылей...

— Тогда подумают, что я вместе с ним обманул своих кредиторов.

Пильеро сделал вид, что сражен этим доводом. Он достаточно знал человеческое сердце и не сомневался, что ночью достойный человек сам вступит с собой в пререкания, и эта душевная борьба подготовит его к мысли о реабилитации.

— Но почему, — спросил за обедом Цезарь, — Констанс и Цезарина очутились в нашей прежней квартире?

— Ансельм собирается снять ее для себя и Цезарины. Жена твоя вполне одобряет этот план. Чтобы получить твое согласие, они, не предупредив тебя, уже договорились насчет церковного оглашения. Попино утверждает, что если он женится на Цезарине после твоей реабилитации, никакой заслуги с его стороны не будет. Ты принимаешь шесть тысяч франков от короля, а у своих родных ничего брать не желаешь! Я охотно выдал бы тебе расписку в получении всего, что мне следует, — неужели ты мне в этом откажешь?

— Нет, — сказал Цезарь, — но, несмотря на расписку, я продолжал бы беречь каждый грош, чтобы сполна расплатиться с вами.

— Ну, это уж мудрствование, — заявил Пильеро, — в вопросах честности я и сам кое-что смыслю. Что за глупость ты сейчас сказал? Ты что ж, обманешь своих кредиторов, если полностью с ними расплатишься?

Цезарь испытующе посмотрел на Пильеро, и старик с волнением увидел, как широкая улыбка впервые за три года озарила удрученное лицо его несчастного племянника.

— Правда, — сказал Цезарь, — долги будут уплачены... Но ведь это значит продать свою дочь!

— А я хочу, чтобы меня купили! — воскликнула Цезарина, появляясь вместе с Попино в дверях.

Влюбленные услышали последние слова Цезаря, когда в сопровождении г-жи Бирото вошли на цыпочках в переднюю маленькой квартиры дяди. Они объездили в фиакре кредиторов, которым еще не было полностью уплачено, приглашая их явиться вечером в контору Александра Кротта, где заготовлялись тем временем расписки. Неотразимая логика влюбленного Попино одержала верх над чрезмерной щепетильностью Цезаря, упорно продолжавшего называть себя должником и утверждавшего, что, заменяя одни обязательства другими, он просто обходит закон. Но возглас Попино положил конец препирательствам парфюмера со своей совестью:

— Вы, значит, хотите убить собственную дочь?

— Убить собственную дочь!.. — растерянно повторил Цезарь.

— Ну, хорошо, — сказал Попино, — имею я право подарить вам деньги, которые, по совести, считаю вашими? Или вы мне в этом откажете?

— Нет, — отвечал Цезарь.

— Ну, тогда отправимся сегодня вечером к Александру Кротта, и делу конец; мы там подпишем и наш брачный контракт.

Ходатайство о реабилитации с приложением всех необходимых документов было подано Дервилем генеральному прокурору парижского королевского суда.

Весь месяц, пока выполнялись различные формальности по ходатайству Цезаря, — время, потребовавшееся также и для церковного оглашения брака Цезарины и Ансельма, — Бирото был в лихорадочном волнении. Он трепетал, он боялся, что не доживет до великого дня, когда состоится постановление суда. У него, по его словам, без всякой причины начиналось вдруг сильное сердцебиение. Он жаловался на тупые боли в сердце, ослабленном уже горестными переживаниями и изнемогавшем теперь под бременем непомерной радости. Постановление о реабилитации редко встречается в практике парижского королевского суда; такие решения выносятся не чаще одного раза в десять лет. Для людей, относящихся с подобающей серьезностью к современному им общественному порядку, в аппарате правосудия заключено нечто внушительное и величественное. Значение общественных установлений всецело зависит от человеческих чувств, с ними связанных, и от величия, в которое их облекает человеческая мысль. Поэтому, когда народ утрачивает не только религию, но и самую способность верить, когда образование с первых шагов подрывает все устои, приучая ребенка к беспощадному анализу, — наступает упадок нации; ибо она еще являет собой нечто целое лишь в силу низменных материальных интересов и заповедей расчетливого эгоизма. Для Бирото, человека верующего, правосудие было тем, чем оно и должно быть в глазах людей: воплощением самого общества, величественным символом всеми признаваемого закона, независимо от облика, который этот закон принимает, ибо чем старше и дряхлее убеленный сединами судья, тем торжественнее его служение делу, которое требует столь глубокого изучения людей и обстоятельств, что убивает жалость в сердце жрецов правосудия и делает их непреклонными перед лицом животрепещущих человеческих интересов. Все реже встречаются теперь люди, испытывающие глубокое волнение, поднимаясь по лестнице королевского суда в старинном здании парижского Дворца правосудия; бывший купец был как раз из их числа. Мало кто замечал, как величественна эта лестница, расположенная для наибольшего эффекта над наружным перистилем, украшающим Дворец правосудия; она ведет к середине галереи, примыкающей с одной стороны к огромному залу «Потерянных шагов», с другой — к часовне Сент-Шапель, — двум историческим памятникам, по сравнению с которыми все вокруг может показаться убогим и жалким. Часовня Людовика Святого — одно из самых величественных зданий Парижа; вход в нее, находящийся в глубине галереи, романтически мрачен. А вход в огромный зал «Потерянных шагов» весь залит светом; трудно забыть, что с этим залом связана история Франции. Как монументальна лестница королевского суда, если даже на фоне этих великолепных сооружений она кажется внушительной. Сквозь роскошную ограду Дворца правосудия с лестницы видно то место, где приводятся в исполнение судебные приговоры, — что, быть может, и рождает трепет в сердцах посетителей. Лестница эта ведет в обширное помещение, за которым находится зал заседаний первой судебной палаты королевского суда. Представьте же себе волнение Бирото, на которого не могла не подействовать эта величественная обстановка, когда он направлялся в суд в сопровождении своих друзей: Леба, в то время уже председателя коммерческого суда; бывшего своего присяжного попечителя Камюзо; своего прежнего хозяина Рагона и своего духовника — аббата Лоро. Священник подчеркнул своими рассуждениями великолепие сооруженного людьми храма правосудия, придав ему еще больше внушительности в глазах Цезаря.

Философ-практик Пильеро решил заблаговременно усилить радость Цезаря, чтобы застраховать племянника от опасных для него потрясений и неожиданностей этого знаменательного дня. Когда бывший купец заканчивал свой туалет, к нему явились испытанные друзья, считавшие долгом чести сопровождать его в зал суда. При виде этой свиты Цезарь почувствовал удовлетворение и впал в восторженное состояние, которое помогло ему перенести внушительную церемонию судебной процедуры. В зале торжественных заседаний, где собралось двенадцать членов суда, Бирото увидел и других своих друзей.

По оглашении списка дел поверенный Бирото в нескольких словах изложил его ходатайство. Затем, по предложению председателя, поднялся генеральный прокурор, чтобы дать свое заключение. Генеральный прокурор, человек, олицетворяющий общественное обвинение, сам потребовал от имени прокуратуры восстановления чести негоцианта, которой тот, в сущности, и не утрачивал, но как бы отдал на время в залог: исключительный случай в судебной практике, ибо обычно осужденный может быть только помилован. Люди с чуткой душой легко представят себе, с каким волнением слушал Бирото речь г-на де Гранвиля, сводившуюся вкратце к следующему:

— Господа, — сказал прославленный судейский чиновник, — шестнадцатого января 1820 года постановлением коммерческого суда округа Сены Бирото был объявлен несостоятельным должником. Прекращение платежей не было вызвано ни неосторожностью этого купца, ни сомнительными спекуляциями, ни чем-либо иным, что могло бы опорочить его честь. Мы считаем нужным заявить во всеуслышанье, что несчастье это было вызвано одной из тех катастроф, которые, к величайшему прискорбию правосудия и населения города Парижа, участились за последнее время. Нашему веку, в котором долго еще будет происходить брожение пагубных революционных идей, суждено видеть, как парижские нотариусы, отступив от славных традиций прошлого, вызвали за несколько лет такое количество банкротств, какого не было при старой монархии и за два столетия. Погоня за легкой наживой обуяла нотариусов — этих опекунов общественного благосостояния, этих посредников в судейском звании!

За сим последовала длинная тирада, в которой генеральный прокурор, выполняя возложенную на него роль, обрушился на либералов, бонапартистов и прочих врагов престола. События показали впоследствии, что прокурор был прав в своих опасениях.

— Бегство одного из парижских нотариусов, похитившего доверенные ему Бирото деньги, повлекло за собой разорение просителя, — продолжал граф де Гранвиль. — Приговор суда по делу Рогена свидетельствует о том, как недостойно нотариус обманул доверие своих клиентов. Между несостоятельным должником и его кредиторами было достигнуто соглашение. Нужно отметить к чести просителя, что все его коммерческие операции отличались такой безупречной честностью, с какой не приходилось встречаться ни в одном из скандальных банкротств, ежедневно подрывающих деловую жизнь Парижа. Кредиторы Бирото нашли на месте все, что принадлежало несчастному купцу, вплоть до последней мелочи. Они нашли, господа, его одежду, его драгоценности, предметы его личного обихода, и не только его собственные, но также и его жены, отказавшейся полностью от своих прав, дабы увеличить актив. В этих тяжелых для него обстоятельствах Бирото показал себя вполне достойным того уважения, которому он был обязан избранием на муниципальную должность; ибо он состоял тогда помощником мэра второго округа и получил незадолго перед тем орден Почетного легиона; он удостоился этой награды и как преданный роялист, сражавшийся в вандемьере на ступенях церкви святого Роха, которые он обагрил своею кровью, и как член коммерческого суда, уважаемый за свои познания, любимый за дух миролюбия, и, наконец, как скромный муниципальный чиновник, отказавшийся от чести быть мэром, чтобы предоставить эту почетную должность более достойному — высокочтимому барону де ла Биллардиеру, одному из благородных вандейцев, уважать которого Бирото научился еще в дни тяжких испытаний.

— Эта фраза будет еще похлеще моей, — сказал Цезарь на ухо дяде.

А потому кредиторы, получившие по обязательствам Бирото шестьдесят процентов за сто, — ибо этот честный купец, его жена и дочь отказались от всего, чем владели, — выразили свое уважение к нему в соглашении, сложив с него остаток долга. Самая форма соглашения свидетельствует об этом их уважении к должнику и заслуживает внимания суда.

Тут генеральный прокурор прочел мотивировочную часть соглашения.

— При наличии столь благоприятного постановления, господа, многие купцы сочли бы себя свободными от всяких обязательств и гордо расхаживали бы по городу. Но Бирото был далек от этого; не падая духом, он твердо решил подготовить славный день, который ныне для него наступил. Он согласен был на любую жертву. Наш возлюбленный монарх, чтобы дать человеку, раненному на ступенях церкви святого Роха, кусок хлеба, предоставил ему должность; несостоятельный должник откладывал все свое жалованье для удовлетворения кредиторов, ничего не оставляя для собственных нужд, ибо родственники не отказали ему в необходимой поддержке...

Бирото со слезами пожал руку дяде.

— Жена и дочь увеличили сумму его сбережений плодами своих трудов; они всецело присоединились к Бирото в его благородном намерении. Обе они сменили свое прежнее независимое положение на положение подчиненное. Подобные жертвы, господа, заслуживают высокой похвалы, ибо решиться на них особенно трудно. Вот какую задачу поставил перед собой Бирото.

Здесь генеральный прокурор прочел итоги баланса парфюмера, указав, кому и сколько тот оставался еще должен.

— Каждая из этих сумм, господа, была уплачена с процентами, что подтверждается не простыми расписками частных лиц, а документами, заверенными нотариусом, вполне заслуживающими доверия суда; но это не помешало, однако, судебным чинам исполнить свой долг, произведя предписанное законом расследование. Вы вернете Бирото не честь, которой он, в сущности, и не лишался, а лишь утраченные им права, и этим только восстановите справедливость. В нашей судебной практике подобные случаи такая редкость, что мы не можем не выразить просителю нашего восхищения его образом действий, уже заслужившим высочайшее одобрение и поддержку.

Затем прокурор прочел свое заключение, составленное по всем правилам судопроизводства.

Суд, не удаляясь, вынес свое решение, и председатель встал, чтобы огласить его.

— Суд поручает мне, — сказал он в заключение, — выразить господину Бирото чувство удовлетворения, с которым он выносит подобное решение. Секретарь, огласите следующее дело.

Бирото уже почувствовал себя как бы облеченным в парадный мундир, слушая речь прославленного генерального прокурора; но теперь он не мог опомниться от радости: ведь торжественная фраза старшего председателя королевского суда свидетельствовала о том, что даже сердца бесстрастных служителей закона дрогнули от волнения. Цезарь не в силах был шевельнуться; он словно прирос к месту и растерянно смотрел на судей, как на ангелов, вновь распахнувших перед ним врата общественной жизни; дядя взял его под руку и увел в соседний зал. Цезарь, не выполнявший до тех пор желания Людовика XVIII, машинально вдел теперь в петлицу орденскую ленточку Почетного легиона; друзья тотчас же окружили его и с триумфом понесли к карете.

— Куда вы меня везете, друзья мои? — обратился он к Жозефу Леба, Пильеро и Рагону.

— Домой.

— Нет, сейчас три часа; я хочу воспользоваться своим правом и показаться на бирже.

— На биржу, — приказал кучеру Пильеро, сделав при этом выразительный знак Леба, так как заметил у реабилитированного купца встревожившие его симптомы и опасался, как бы тот не сошел с ума.

Бывший парфюмер появился на бирже об руку со своим дядей и Леба — двумя уважаемыми негоциантами. Там уже знали о его реабилитации. Первый, кто увидел трех купцов и следовавшего за ними старика Рагона, был дю Тийе.

— Ах, дорогой патрон, я в восторге, что вам удалось выпутаться из беды. Ведь и я, может быть, немного способствовал этой счастливой развязке, когда безропотно позволил маленькому Попино пощипать себя. Я радуюсь вашему счастью, словно своему собственному.

— Для вас это единственная возможность испытать подобную радость, — сказал Пильеро. — Ведь с вами ничего подобного случиться не может.

— Как прикажете вас понимать, сударь? — спросил дю Тийе.

— Черт побери! Разумеется, в самом лучшем смысле! — вмешался Леба, улыбаясь мстительной насмешливости Пильеро, который хотя и не знал ничего, но угадывал в дю Тийе мерзавца.

Матифа увидел Цезаря. И тотчас же наиболее почтенные купцы окружили бывшего парфюмера и устроили ему настоящую биржевую овацию; Бирото выслушивал самые лестные поздравления, ему жали руку: во многих это возбуждало зависть, а у некоторых — угрызения совести, ибо из ста прогуливавшихся на бирже купцов более пятидесяти прибегали к ликвидации дел. Жигонне и Гобсек, беседовавшие в углу, разглядывали добродетельного парфюмера, вероятно, с не меньшим интересом, чем физики разглядывали первого привезенного им *электрического ската*. Эта рыба, наделенная свойствами лейденской банки, — любопытнейший представитель животного мира. Вдохнув фимиам своего торжества, Цезарь снова сел в фиакр и поехал домой, где предстояло подписание брачного контракта его дочери Цезарины и преданного Ансельма. Нервный смех Бирото встревожил трех его верных друзей.

Одно из свойственных юности заблуждений — считать всех такими же сильными, как она сама; заблуждение это объясняется, впрочем, ее особенностями: вместо того чтобы рассматривать людей и вещи сквозь очки, юность окрашивает их отблеском собственного огня и готова даже стариков наделять избытком жизненной силы. Попино, подобно Цезарю и Констанс, хранил воспоминание о роскошном бале, устроенном Бирото. Как часто среди тяжелых испытаний последних трех лет Цезарь и Констанс, не признаваясь в том друг другу, вновь слышали оркестр Коллине, видели нарядных гостей и вкушали радость, за которую столь жестоко потом поплатились; так вспоминали, должно быть, Адам и Ева о запретном плоде, принесшем их потомству и жизнь и смерть, ибо как размножаются ангелы, остается, по-видимому, небесной тайной. Попино мог, впрочем, предаваться своим воспоминаниям без всяких угрызений совести и даже с отрадой: ведь в тот вечер Цезарина, еще богатая и завидная невеста, пообещала ему, бедняку, стать его женой. В тот вечер он получил уверенность в ее бескорыстной любви. Вот почему он купил у Селестена перестроенную и отделанную Грендо квартиру, с условием, что преемник Цезаря оставит ее в неприкосновенности. Благоговейно сохранив в этой квартире всю обстановку, вплоть до последних мелочей, принадлежавших Цезарю и Констанс, Ансельм мечтал о том, чтобы и самому задать там бал — отпраздновать свою свадьбу. Он любовно готовился к этому торжеству, но подражал своему прежнему хозяину лишь в необходимых тратах, а не в безумствах: достаточно безумств было уже совершено прежде. Обед и на этот раз был заказан у Шеве, и приглашенные были приблизительно те же. Только канцлера ордена Почетного легиона заменил аббат Лоро, и в числе гостей должен был быть председатель коммерческого суда — Леба; Попино позвал также г-на Камюзо, чтобы отблагодарить его за доброе отношение к Цезарю; а вместо Рогенов приглашен был г-н де Ванденес. Цезарина и Попино рассылали приглашения на свой бал с большим разбором. Обоим им не хотелось устраивать многолюдную свадьбу, и, чтобы не быть задетыми в своих интимных чувствах, как это нередко случается с людьми, обладающими чистым и нежным сердцем, они решили дать бал не в день венчания, а в день заключения брачного контракта. Констанс вновь надела свое вишневое бархатное платье, в котором она блистала всего один лишь вечер. Цезарине же захотелось сделать Попино сюрприз — появиться в том самом бальном туалете, о котором он так часто вспоминал. Словом, квартира Бирото должна была предстать перед ним в том же волшебном виде, которым он упивался когда-то один только вечер. Ни Констанс, ни Цезарина, ни Ансельм не подумали о том, как опасен для Цезаря столь ошеломляющий сюрприз, и, поджидая его к четырем часам, они веселились, точно дети.

После сильного волнения, пережитого Бирото на бирже, этому подвижнику коммерческой честности предстояло испытать еще внезапное потрясение на улице Сент-Оноре. Войдя в свой бывший дом, Цезарь увидел внизу, у лестницы, сохранившейся в полной неприкосновенности, жену в вишневом бархатном платье, Цезарину, графа де Фонтэна, виконта де Ванденеса, барона де ла Биллардиера, знаменитого Воклена, — и в эту минуту какая-то тонкая пелена заволокла глаза парфюмера; дядюшка Пильеро, державший его под руку, почувствовал, как весь он содрогнулся.

— Это слишком, — сказал старик философ влюбленному Ансельму. — Ты наливаешь чересчур много вина — ему столько не выпить.

Сердца всех собравшихся были, однако, преисполнены такой бурной радости, что волнение Цезаря и его спотыкающуюся походку каждый объяснил себе вполне естественным восторженным опьянением — нередко, увы, смертельным.

Когда Цезарь вновь очутился у себя дома и увидел опять свою гостиную, гостей и среди них женщин в бальных платьях — в мозгу его внезапно зазвучал героический финал великой симфонии Бетховена. Эта возвышенно-прекрасная музыка заискрилась и засверкала, запела трубными звуками в его усталом мозгу, для которого ей суждено было стать трагическим финалом.

Изнемогая под бременем захлестнувшей его внутренней гармонии, Цезарь оперся на руку жены и, задыхаясь от прилива крови, шепнул ей на ухо:

— Мне худо!

Испуганная Констанс отвела мужа в свою комнату, куда он добрался с большим трудом; упав там в кресло, он прошептал:

— Господина Одри! Господина Лоро!

Аббат Лоро вошел в сопровождении группы приглашенных — мужчин и нарядных женщин. Пораженные гости молча застыли в дверях. И на глазах всего этого разряженного общества Цезарь сжал руку своего духовника, голова его упала на плечо жены, опустившейся возле него на колени. В груди у него лопнул кровеносный сосуд, и аневризма стеснила его последний вздох.

— Вот смерть праведника, — торжественно провозгласил аббат Лоро, указывая на Цезаря тем неподражаемым жестом, который Рембрандт запечатлел в своей картине «Христос, воскрешающий Лазаря».

Иисус приказывал земле вернуть свою добычу; священнослужитель же указывал небесам на мученика торговой честности, заслужившего вечное блаженство.

*Париж, ноябрь 1837 г.*

1. *...в вандемьере я был ранен у церкви святого Роха...* — 13 вандемьера IV года Республики, то есть 5 октября 1795 г., роялисты подняли в Париже восстание против буржуазного термидорианского Конвента. Восстание было в тот же день разгромлено правительственными войсками, которыми командовал Наполеон Бонапарт. Заключительным эпизодом восстания было столкновение в районе церкви св. Роха, где находились резервные силы мятежников. [↑](#footnote-ref-1)
2. *В сражении у Требии.* — Требия — река в Италии; здесь в 1799 г. русско‑австрийские войска под командованием А. В. Суворова нанесли поражение французским войскам, которыми командовал генерал Макдональд. [↑](#footnote-ref-2)
3. *...набор II года Республики...* — II год Республики во Франции продолжался с 22 сентября 1793 г. по 21 сентября 1794 г. Декрет о массовом наборе в армию был принят Конвентом 23 августа 1793 г. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Режим «максимума».* — Бальзак имеет в виду декреты, принятые в сентябре 1793 г. Конвентом, о введении твердых цен на продукты питания, промышленные товары и сырье. Эти декреты были направлены против спекулянтов, взвинчивавших цены. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Воклен* Луи‑Никола (1763—1829) — французский ученый‑химик. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Потье* Шарль (1775—1838) — французский комический актер. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Тальма* Франсуа‑Жозеф (1763—1826) — знаменитый французский трагический актер. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Марс* Анна‑Франсуаза (1779—1847) — известная французская актриса. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Оргон* и *Тартюф* — действующие лица комедии Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1669). [↑](#footnote-ref-9)
10. *Тюркаре* — бывший лакей, разбогатевший путем спекуляции; действующее лицо одноименной комедии французского писателя Алена‑Рене Лесажа (1668—1747). [↑](#footnote-ref-10)
11. *Сто дней.* — Так в истории Франции называется период вторичного правления Наполеона I, бежавшего с острова Эльбы и вступившего в Париж 20 марта 1815 г. Этот период продолжался с 20 марта по 22 июня 1815 г. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Мелье* Жан (1664—1729) — французский материалист и атеист, утопический коммунист. Мелье был сельским священником; в произведении «Завещание», обнаруженном после его смерти, Мелье выразил протест против всего современного ему феодального строя. У Бальзака речь идет о произведении французского материалиста и атеиста XVIII века Поля‑Анри Гольбаха (1723—1789), в котором автор разъяснял смысл «Завещания» Мелье. [↑](#footnote-ref-12)
13. На месте, тотчас же (*лат.*). [↑](#footnote-ref-13)
14. *Манюэль Фуа, Казимир Перье, Лафайет, Курье* — французские политические деятели, принадлежавшие в период Реставрации к различным группам либеральной оппозиции. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ко мне, цирюльники, торговцы, парфюмеры! — закричал Годиссар, подражая Лафону в роли Сида.* — Годиссар пародирует известные слова из трагедии Корнеля «Сид» (1636): «Ко мне, наварцы, мавры и кастильцы!» *Лафон* Пьер — французский трагический актер. [↑](#footnote-ref-15)
16. Существующее положение (*лат.*). [↑](#footnote-ref-16)
17. *Кризаль* — буржуа, носитель «здравого смысла», действующее лицо комедии Мольера «Ученые женщины» (1672). [↑](#footnote-ref-17)
18. *Домициан* — римский император (I в. н. э.); отличался деспотизмом и жестокостью. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Момус* , или Мом — в греческой мифологии бог шутки и насмешки. [↑](#footnote-ref-19)
20. *...редут у Москвы...* — Речь идет, видимо, о Шевардинском редуте (вблизи села Бородино), который русские солдаты героически защищали против превосходящих сил французов в августе 1812 г. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Лоу* Джон (1671—1729) — финансист, виновник разорения множества мелких вкладчиков во Франции. [↑](#footnote-ref-21)
22. «Боюсь данайцев и дары приносящих» (*лат.*). [↑](#footnote-ref-22)
23. О моем брате Цезаре (*лат.*). [↑](#footnote-ref-23)
24. *«Кларисса Гарлоу»* (точнее — «Кларисса, или История молодой леди») — роман в письмах английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689—1761). [↑](#footnote-ref-24)
25. *...кричат, как при переправе через Березину...* — Переправа через реку Березину — один из последних военных эпизодов разгрома наполеоновской армии в России в 1812 г. [↑](#footnote-ref-25)